



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

1(3)' 2012

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Редколлегия:

Евгения КРАСНОЯРОВА	зав. отделом поэзии
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ	зав. отделом прозы и драматургии
Алексей ТОРХОВ	зав. отделом критики
Алёна ЯВОРСКАЯ	зав. отделом литературоведения и краеведения

Людмила ШАРГА	отдел поэзии
Александр ЛЕОНТЬЕВ	отдел прозы и драматургии

Общественный совет:

Валерий Басыров (Симферополь), Евгения Бильченко (Киев),
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск), Кирилл Ковальджи (Москва),
Александр Корж (Киев), Татьяна Липгута (Одесса),
Виктор Петров (Ростов-на-Дону), Александр Петрушкин (Кыштым),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стреминская (Одесса),
Евгений Черноиваненко (Одесса).

Издание журнала осуществляется при поддержке Одесского городского совета

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2012

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Александр Хинт. Карусель ДНК. <i>Стихи</i>	4
Одесса: Ксения Александрова. Рассвет в трюме. <i>Стихи</i>	9
Одесса: Валерий Сухарев. Человек человеку – случай. <i>Стихи</i>	14
Одесса: Мария Савченко. Непрошенное окно. <i>Стихи</i>	19
Одесса: Владимир Кац. «Как следует поэту...». <i>Стихи</i>	24
Одесса: Елена Миленти. «Как лампы, что размножил Аладдин...». <i>Стихи</i>	28

ПРОЗА

Одесса: Татьяна Орбатова. Меня зовут Калиго Мемнон. <i>Взрослая сказка</i>	32
Евпатория: Николай Столицын. Направление – Ленинград. <i>Кино-проза</i>	48

ПОЭЗИЯ

Москва: Елена Кацюба. Ветка. <i>Стихи</i>	56
Москва: Игорь Панин. Спускаемся в андерграунд. <i>Стихи</i>	61
Кыштым: Александр Петрушкин. «Взлетев с Кыштымского вокзала...». <i>Стихи</i>	66
Ростов-на-Дону – Москва: Надя Делаланд. У тумана внутри ничего. <i>Стихи</i>	71
Киев – Днепропетровск: Ольга Брагина. Месту сему. <i>Стихи</i>	75
Москва: Андрей Пустогаров. Дачное лето. <i>Стихи</i>	78
Минск: Олег Зайцев. Ребус небес. <i>Стихи</i>	81

«МЕГАФОН»

«В Ширазе, на родине роз...» (<i>интервью с Михаилом Синельниковым</i>).....	84
Ленинград – Москва: Михаил Синельников. <i>Стихи</i>	87

ПРОЗА

Одесса: Элла Леус. Обратный отсчёт. <i>Рассказ</i>	92
Одесса – Сизьгл: Элана. Крекс-Фекс-Пекс. <i>Рассказ</i>	97

ПОЭЗИЯ

Одесса: Галина Маркелова. «Где Эхо девочка таится...». <i>Стихи</i>	103
Одесса: Илья Рейдерман. Разговор с Платоном. <i>Стихи</i>	107
Одесса: Ирина Дубровская. «В твоей бескрайней кладовой...». <i>Стихи</i>	111
Измаил: Кристина Корнеева. «Как тетива, натянут грозный мир...». <i>Стихи</i>	116

ПРОЗА

Одесса: Александр Леонтьев. «Крепость». <i>Повесть. Окончание</i>	120
--	-----

ПЕРЕВОДЫ

Ростов-на-Дону – Краков: **Из современной польской поэзии**
(в переводах Владимира Штокмана).....142

ДРАМАТУРГИЯ

Одесса: Сергей Главацкий, Евгения Красноярова. **Templa non grata** (окончание).....148

«ШКАФ»

Одесса – Москва: Станислав Айдинян. **О творчестве Евгения Чигрина**
(к 50-летию со дня рождения).....178

«ФОНОГРАФ»

Одесса: Сергей Полищук. **«Купель на площади»**. Главы из романа.....180

Николаев: Александр Шенн. *Стихи*.....189

«ЛИТМУЗЕЙ»

Одесса: Валентина Силантьева. **Одесский художник Пётр Нилус**
(в контексте жизни и творчества Бунина и Чехова).....193

Одесса: Галина Мещерякова. **Как времени пойти наперекор**. Очерк.....197

Письма П.А. Нилуса – Е.О. Буковецкому.....199

«ПЛАХА»

Острог: Дара Мельник. **«Гидрология рассказывания»**.....202

Обсуждение статьи Дары Мельник «Гидрология рассказывания».....204

АЛЕКСАНДР ХИНТ

КАРУСЕЛЬ ДНК

Я буду проросшим гербарием, сном серебра
в зелёной монете непостижимого времени,
движением омуля — вся наша жизнь икра
в утробе течения, буду замедленным зрением
молекулы зодчества, гранулой карандаша
на ватмане доисторического рейхстага,
хромой санитаркой, опаздывающей на шаг
в укрытие, буду тем самым последним шагом.

Очнусь в безымянной пустыне запретом глотка,
мозолью узла обернусь на верёвочной лестнице,
опомнюсь проклятьем Дездемоны, тенью платка,
и всеми воскресшими единорогами девственниц —
вбирая гарпунное эхо кита-первогодка,
ожоги бинга ампутации, вопли ваты...

На гребне волны всю команду меняет лодка,
но снова до края небесного не доплывает —
а там из щелей горизонта сочится, ползёт
сиреневый фронт, мельтеша по периметру спицей.
Опять бесконечно играет себя небосвод,
и медленно пьёт. Чтобы вновь не уметь напитокся.

Так завершается эра тепла:
через ушко пролезает игла,
следом усталость пространства,
зодчество, картезианство —
и невозможно поддерживать жизнь
у механизмов эпохи пружин.
И продолжаться не хочет
время избыточных точек.

Вещи меняют привычную суть.
Если уснуть означает «забудь»
прошлое пахнет корицей
чтобы повторно родиться.

В рамочку вставив свой окоём,
не различаешь и солнечным днём
первого счастья частицы,
не попадаешь в петлицы



ветхой рубахи железных основ —
даже слова остаются без слов,
дверь зависает без петель.
Так начинается ветер.

Так уменьшаются старые сны —
вроде река, но не видно блесны,
так изменяется скорость
бледного и голубого,

свет замыкает свои полюса,
и без воды остаётся слеза.
Так исчезает движение
между стрелой и мишенью,
и завершается эра тепла:
в белом огне остывает зола
льда... И не тает лампада
этого полураспада.

РАХМАНИНОВ

В эбонитовом льду отражений живой инструмент
растворяет ручное тепло, выводя на стаккато,
невесомый разбег молоточка кивает струне
в предвкушении бравады

нарастанием перечня клавиш — и насквозь пройдён,
подгоняемый эхом созвездий в развилке акации
выбегающий прочь, ускользящий призрак времён
с деревянными пальцами.

Различая туше до удара, рояль-телепат
отвергает повтор вопреки сухощавому рондо,
и уже партитура огня приглашает в себя
наравне с кислородом

заглянуть за планеты уклон, увидеть далеко
за слезами вещей и ошметками шрамов истории
оправдание теней, и бессмертных вовек мотыльков
адреса траекторий.

И, на отзвуке тая последними нотами крыльев,
как проглоченный шмель или медленный серый укус его,
на лету удивиться — успеть — как измученно выглядит
объяснённая музыка,

словно горло реторты теперь продолжение комнаты
в укороченный рай, половина подковы нашедшему,
словно нож соль-минора и есть ощущение свежего голода
от непроизошедшего.

молчание танца
луч слепо изогнут
глаза не боятся
но пальцы не могут
качает на нечет
пространство, но пальцы...
кончается вечность
глаза не боятся



горчит понемногу
в утробе ответа
не могут, не могут!
падение света
и воздух перебран
навьлет зрчками
наощупь под рёбра
открытию ставень

но клиново – клину
вотще медитаций
исчадием глины
молчание танца
повёрнуто вспять
натяжению шеи
уронит распятые
рождения – движением

ЛЕКЦИЯ

Это след электрона, в копне
микромира – игла,
масса ноль или, попросту, не-
измеримо мала,
толщина преломленья стекла,
пустоты ледяные курсивы.
Тени первого взрыва.

Это сонмы молекул, их связи,
простоты воровство,
драматический повод по-разному
называть вещество,
первородный разделочный стол
озарений и остываний,
эманация ткани.

На скрижалях куски доказательства,
уравнения, разности.
Здесь царят вероятности.
Неживое предательство
подчиняет частицы и волны
квантованию слабых энергий.
Здесь добро квадратично-условно.

А мораль здесь – закон Гейзенберга.

.....
.....

Это клетка, живое ядро,
карусель ДНК,
безымянный логин и пароль
на замес колобка;
здесь шлифуют по капельке кровь
назревающих ран и бесчестий.
Здесь возможны болезни.

Тонко непроницаем покров
хромосомных переодеваний,
в ойкумене желаний –
меловой геноток мандрагор.
Всё ещё трепыхается в сетке
мячик божьей ракетки,
оживляя игру.



И красуется смерть на миру.
.....
.....

Это первая бездна: зрачок,
остро скошенный клюв
всё, как есть, загоняет в песок,
то бишь сводит к нулю —
чтобы вновь сочинять колесо
для тельца, козерога и овна.

Здесь возможна любовь. Но
неуклонно идёт к декабрю,
где за каждый пятак мецената
неизбежна расплата,
буде план — затопить галеон,
раздарить острова и столетия.
Это метод бессмертия
или лёгкая тень от него,
что бесплотно скользит по воде.

И разносит плетень.
.....
.....

Это старых галактик облёт,
фейерверки китайских комет,
запах свежего неба зелён,
а последнего — нет.

Уличая в далёком родстве
провода мириады орбит,
у Вселенной на крылышке свет
каплей воска висит.

Я досчитал до трёх — и стал понятен
простому эху незаметных сил.
Стекала флюорография струи
по венам хлорофилловых занятий
в метабиоз, срезая изнутри
цветы, металл перемещал за двери
из медленного детства суеверий
и временных вещей — на раз, два, три.

Осколки и цветное остриё
промытого глазка небесной лавки
раздаривало солнцу на булавки —
когда я просто досчитал до трёх.

И те, кто отвечал за первый блик
что вышел стоном, не теряли время
(хоть не было его), читали требник,
на линии огня швыряли семя,
запутывали в панцире улик
улитки, остывающей на склоне,
что не имела признаков лица,
но — родственник по линии кольца,
зажатого в разорванной ладони.



NAKED LUNCH

... когда неспешно доведённый
 до белых мошек и мышей
 закурит лапки насекомых,
 и росчерки карандашей
 переползают по запястью
 в живую нерождённость сна —
 зародыш это поза счастья —
 отодвигается стена
 срезая пуповину места.

Поэзия не безвозмездна
 где безупречна тишина
 и время зреет — соблюсти
 своё сектантство ледяное,
 чтоб до утра и ты постиг
 о чём подумали те двое
 когда очнулись не в раю;
 но, совпадая по ненастью,
 перемещается в проём
 окна, задраенного настезь,
 лицо — мишень без молока:
 пора играть в Вильгельма Телля.

Зима опять стреляет в темя
 и катится пустой стакан.

В рукомойники оттепели подтекал белый двор.
 Воробьи, не таясь, продолжали своё воровство
 по протекции сумрака, что запаял по краям
 рукава и карманы деревьев — там был только я,
 шестилетний, с измятыми ключьями на голове.
 Перемокшие голуби звали какой-нибудь хлеб,
 но коверкали слово, пока фиолетовый март
 раздувал огоньки перебранки соседних веранд,
 дожигая оконные гренки; забытый чердак
 сообщал омофонами ветру, что можно и так —
 и унылый наждак, и железо. В бездонный квадрат
 домовый планетарий впечатывал видеоряд,
 гороскопы во мраке вращали своё колесо...
 От ближайшей звезды — словно та опознала лицо —
 откололась снежинка и таяла прямо во двор.
 В тот же миг я бесследно уснул. И сплю до сих пор.

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА

РАССВЕТ В ТРЮМЕ

БАБОЧКИ В ЖИВОТЕ

Всё здесь и сейчас: вот я сижу, а вот я иду к нему босиком.
Кто-то спит, кто-то купаться тянет меня силком.
Серое небо с водой сливается у причала.
Сахар внутри смешался с кофе и коньяком.
И всё с начала, Господи, всё с начала:

Целую жизнь приходится переписывать от руки.
Кто-то любил нас за что-то, кто-то, наверное, вопреки,
А остальные, чего уж там, не любили.
После всего мы выходим голые из реки,
И тишина внутри вдруг разбрызгивается на мили.

Так смотри на меня, видишь, это кожа моя и плоть:
В голове моей пусто, в мягких ладонях моих тепло,
А в животе — письма тем, кто не прочитал их до середины,
Сотня сухих, пустых, бесполезных слов.
И ни единой бабочки, Господи, ни единой.

Сонное счастье, случайно задушенное в горсти,
Шелест мух, садящихся на запыленный абажур.
Ты, наверное, и сама захочешь меня простить,
Но я не прошу у тебя прощения, не прошу.

Время ждёт, тебе, как всегда, со мной не хватает слов,
Тени от пальцев бесшумно спускаются по плечу.
Сонное счастье и слишком неискреннее тепло,
Но я больше не хочу говорить с тобой, не хочу.

Холодно, гаснет надежда в горящих глазах квартир.
Не жди, что приду на помощь, коснусь поцелуем губ.
Ты, наверное, и сама захочешь теперь уйти,
Но я опять не смогу отпустить тебя, не смогу.

Мы слишком держались за то, что считали ценным,
Но даже вдвоем мы не были чем-то целым,
Пусть целую жизнь находимся под прицелом —
Мы просто играем блюз.
Ты любишь смотреть на меня, когда я нагая,
Пью виски и обнимаю тебя ногами,
И мы каждый раз держали себя на грани,
Играя свой нервный блюз.



Я многое прощала тем, кто хорош в постели,
 Рисовала вином на твоём белом теле,
 Но я и сама не знала, чего хотела,
 Пока мы играли блюз.
 А ты всегда верил, что нет ни беды, ни смерти,
 Когда ты ушёл, никто даже не заметил.
 На сердце моём ни шрамов нет, ни отметин,
 Но твой полупьяный блюз
 Снова и снова цепляет меня за живое,
 Сильнее пули, ранения ножевого,
 И я не боюсь теперь, кажется, ничего —
 Я просто играю блюз.

Она пахнет бадьяном, а он — корицей.
 Они могут часами кричать, браниться,
 Он её в бреду называет ведьмой.
 У него повадки, как у медведя,
 У неё — тигрицы.

Ночь под её руками играет, льётся.
 Он хочет уйти, но каждый раз остаётся.
 Она знает то, что не стоит ведать.
 Он её в бреду называет ведьмой,
 А она смеётся.
 Они говорят о счастье, когда не в ссоре,
 В каждом внутри бушует живое море.
 Смотри, как тигрица живёт с медведем.
 Он её в бреду называет ведьмой,
 И она не спорит.

Ты открываешь глаза и видишь, как солнце в саду встаёт,
 Но видишь и тень свою, безмолвно идущую по следам.
 Всё, что было тогда — счастье смешное, прошлое, но моё,
 Не нужное никому, краткое, хрупкое, как слюда,
 Девять дней, которые я не забуду и не отдам.

Ты помнишь тепло ладоней, тень, затаившуюся в углу,
 Разбитый плафон, время, в испуге застывшее на часах.
 На ветру твои волосы не успокоить, не расчесать,
 Целовать тебя, будто вставляя в сердце своё иглу.
 Больше не думай об этом, милый, и не говори вслух.

Ты вдруг понимаешь, что, наверное, это была любовь,
 Вспоминаешь молочные реки, кисельные берега,
 Солнце в саду, шёпот травы, вино, текущее по губам...
 И ты по-прежнему видишь тень, идущую за тобой,
 Но уже почему-то совсем не хочется убежать.

Тихо падает камешек у воды.
 Красные брызги капаят на живот.
 Впереди у тебя дым, позади — дым,
 А внутри и того страшнее ведь — ничего.



Рядом шумит солёная бирюза,
Звёзды – твои неснящие сторожа.
Ты не верь мне: в руке моей камень сжат,
Берегись того, кто не смотрит тебе в глаза.

Берегись оставаться совсем один,
Когда каждое слово почти лассо.
Тихо падает камешек на песок.
Уходи, мой милый, ну, что же ты, уходи...

А утром он резко встаёт с постели, стряхнув с себя сон, как собака воду.
Она нехорошо поминает свою природу, его породу.
И кто-то уставший машет обоим им с небосвода,
Чтоб она не упала в обморок, пока он, спеша, собирается уходить.
Один:
Он выходит на улицу, завязывает шнурки
И видит слепящее солнце на расстоянии вытянутой руки.
Белый шар целует его в висок, обдаёт его сильным жаром.
Она, крича, выбегает из дома в одной пижаме,
Криком саму себя опережая.
А он уже улыбается: всё в порядке, отличное приключение для утра.
И она выдыхает, не зная, кто больше из них не прав.
Потом он идёт на работу, говоря: не пиши, не звони мне сто раз на дню,
Ты же знаешь, я стоек к холоду, боли, войне, огню,
Приглашениям в гости, в койку, чужим фотосессиям в стиле ню
И внеплановым съездам кровли.
Она жмётся к стене подъезда, виски набухают кровью,
Молчит, не находит правильные слова.
Два:
Через час он расслабленно входит в свой кабинет, ногой открывая двери,
Не веря ни одному из тысячи суеверий,
Разбивает стекло плечом, но осколки со звоном падают чуть правее.
Через три он идёт на обед кормить недолеченный свой гастрит,
На другом конце города она что-то вполголоса говорит,
И человек из окна напротив на минуту отходит расслабиться, покурить –
Три.
А под вечер она тихо хрипит ему в трубку: не стой у окна – простынешь,
И сложные вещи становятся вдруг понятными и простыми.
Потом улыбается, прижимая к сердцу свою усталость,
Как в бреду вспоминает, что же там сделать ещё осталось,
Чтоб судьба не догнала его ни огнём, ни пулей, ни ранением ножевым...
К ужину он возвращается немного уставшим, потрёпанным, но живым.

Этот город пропитан морем, водой насквозь:
Открываешь глаза, с ресниц собирая соль.
Этот город, как морок, ветренное лассо,
Остается на коже, крутится у волос.
В этом городе тёплый воздух в руках дрожит,
Мелкий дождь за час превращается в водопад.
Приходи ко мне жить,
Приходи со мной засыпать.

Этот город ласково тянет меня на дно,
Он целует в висок, ударив меня под дых.
В этом городе слишком много морской воды,
Этот город слишком большой для меня одной.



Ночью в городе даже звёзды – почти ножи,
Здесь и радость, и горе быстро идут на спад.
Приходи ко мне жить,
Приходи со мной засыпать.

В этом городе небо с синего в голубой
Таёт, струится, сливается с горизонтом,
Где Чёрное море кажется бирюзовым,
Этот солнцем нагретый город – сама любовь.
В этом городе я просыпаюсь всегда с тобой.

Пора уходить, пора забывать, пора
Сети плести из тугих рыболовных нитей.
Кто же мне будет завтра шептать «моя»?
Я лежу у воды, в груди у меня маяк.
Каждый, кто любит меня – смотритель,
Каждый, кого я люблю – корабль.
Каждый, кого я люблю – вода,
Ждёт меня, тянет меня на дно.
Милая, сердце моё отдай –
Мне без него темно.

Вместо стекол из окон блестит слюда.
Я умыта водой, надо мной вода, подо мной вода, я и сама вода.
На вопрос «когда встретимся?» отвечать что-то среднее между «завтра» и «никогда»,
Но не думай об этом, радость моя, и не помни об этом, моя беда.

Небо светлеет с синего в голубое.
Всё, что мы называли с тобой любовью,
Сонные волны смоят к утру с песка.
Ах, если бы мы умели не отпускать...
Иди на свет моего неспящего маяка –
Я тебе спою о любви и боли.

И вот ты идёшь по дну, разбиваешь себя о дно.
Как тебе там одной, как тебе здесь одной?
Как ты живёшь со всей своей глубиной внутри?
Смотри,
Это будто рассвет в одном из трюмов моих запаян.
Больно, когда есть надежда, а так не больно.
Помнишь нашу усталую песнь прибоя?
Так пой мне, родная, пой мне,
Если я засыпаю.

Когда рыбаки достанут свои удила,
Когда их жёны и дети затихнут под одеялом,
Я буду ждать у воды, чтоб ты однажды не потерялась,
Чтобы не заблудилась.

Я говорю, а ты мне не прекословь:
Хватит с обоих, хочешь молчать – молчи.
Где-то под языком не хватает слов,
Где-то под сердцем каменные грачи.
Солнце в зените. Кофе слегка горчит.
Чайки, крича, принимают за улов.



Счастье шумит прохладой и бирюзой,
Нужно купаться, чтоб хоть чуть-чуть остыть.
Где-то во мне сливается горизонт,
Где-то вода расшатывает мосты.
Я здесь пуста, и мысли мои пусты.
Ты улыбаешься, падая на песок.

Пальцы сухие кружатся возле рта.
В полдень дышать и трудно, и горячо.
Где-то слова проливаются сквозь гортань,
Где-то чужое солнце во мне течёт.
Всё здесь не то, и я здесь уже не та.
Молча кладу тебе голову на плечо.

ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ – СЛУЧАЙ

МЕСТО И ВРЕМЯ

Словно огромная бабочка в темноте,
крылья прижав к столешнице и серея
при слабосильной лампе, книга спала,
сутки не дрогнув, как ты ушла, в простоте
сборов забыв телефон, его батарея
села, и связь прекратилась – числа

и месяца летних; жара сменилась водой
небесной, и сей преизбыток создал венецию
домов и проезжей брусчатки; и дерева
забыли свою анорексию, а над седой
рваниной исподнего туч – как венец и яд
июльский, или если призвать другие слова –

над городом и страной своей булавою
размахивая, налево гремя и направо,
путешествовал толстый и иностранный гром;
как Мусоргский – ликом дик, но лыс головой,
одет хорошо и неопрятно; был он прав
в том хотя бы, что слышался и за углом,

и за городом, и над морем муаровым,
вспомнившим Айвазовского как-то некстати;
и беловежским зубром ревун гудел;
причалы отправились в плаванье, для мемуаров
грядущих готовя сырьё; и тот, кто листать их
станет – может быть, вспомнит, что понаделал

хтонический бог стихии. . . А между тем
весть о тебе (хороши же безумные лиги
авиаперелётов, дизель аэропортов
и дубль-бемоли, звучащие в пустоте);
весть эта, мелко дробясь на фрагменты и миги –
точно звенья цепочки распалась на ком-то –

весть эта (палец сбивает озябший пепел)
сюда добралась (на доньшке чашки грязца
кофейная) в неузнаваемом виде:
дескать, что пребываешь в небесном склепе,
в атомарном распаде; ни черт лица,
ни силуэта; райская пыль в Аиде.

Странно – теперь ты миф, почти что апокриф
в агентстве жизненной лжи, в реестре его;
а в небе июльский хаос с его громами. . .
Смерть рисует виньетки на белой и мокрой
туче; и жизнь с раздробленной головой,
лужу подкрасив, валяется между домами.



В такой городок вернёшься, только если здесь
кто-то умер из родственников, оставив наследство,
но не иначе; домов изразец и жесьть
кровель – как неизбежное и плохое соседство.

Здесь писать бы роман из жизни слепых,
а лучше – глухих, а лучше – забытых Богом,
заглатывая спиртное и чай с облепихой,
сходя «на нет», торжественно и понемногу.

И это – не худший из вариантов судьбы:
женщины в меру податливы, алчны в меру;
и климат не загоняет людей во гробы,
только грозит в санатории гипсовому пионеру.

Поздним вечером набережная реки живёт
огоньками кафе, согревается грогом. . .
И какой-то памятник в кепке, как идиот,
тычет рукой, указывая всем дорогу.

Договориться с округой не сложно – ей всё равно,
где и зачем ваша тень упряталась в нишу,
скамью облегла, расслось, покрыла бревно
в каком-то измученном сквере. . . Так вот и вижу
себя в переулках или на площадях
этого полу-Китежа, полу-Зарайска,
в случайных дверях, произносящих – «ах»,
и хлопающих по задкам вполне по-сарайски.

Очарование захолустья, речка гниёт,
как слюна наркомана; дряблые – летом –
сумерки, местное пойло, либо же гнёт
населения. . . Вообще, можно об этом
развести «слепцовщину» с «достоевщиной», мол,
жить всё же надо; и паперть – в обрубках
скифских старух, чьих голов крупный помол
напоминает о Раскольниковских проступках.
Всё куда бы ни шло – перепрыгни, сплюнь. . .
Но, на окарине играет Спас позапрошлого века,
строг; и грач на кресте; и в сирени июнь. . .
И всё равно – не верится в человека.

Море цвета дождя, дождь с оттенками ртути.
В тучах тяжёлую мебель передвигают –
фэн-шуй у небожителей, под тугги-фрутти
Элвиса из кабака «У попугая».

Чем он нас доконает (а мы промокли),
этот кабак – сервисом, шницелем, водкой?
С вышки прожекторы – как с подсветкой бинокли,
лупят в небо и в воду прямой наводкой.

Взвесь полосы приморской, а под бамбуком
крыши и впрямь дерзит попугай на стойке,
или прыгает боком возле ноутбука,
или – вниз головой, клюкнув настойки.

Быстрая официантка с рисунков Мухи
с водкой графин смахнула, и ты вторично
юбку себе постирнула; рядом старухи
англобубнящие ели зло и прилично.

Какая тоска на свете, когда разлука –
как опухоль, о которой тебе сообщили:
есть лекарства, но нет излечения, мука;
и мелется эта мука зубовная, или

какой-то другой эпитет... И ртуть залива
бессмысленно помигивает невдалеке...
Побольше нам водки, девушка, чтобы счастливо
в ртуть перетечь, не оставив руки в руке.

Пепел кометы и соль отошедших морей,
в радости влага ливней и суша в печали,
свадьба в селе и кладбищенский крест на заре;
и неизвестно кто стоит за плечами:
голос невнятен, запаха не различить,
что-то нашёптывает, но никуда не ведёт, не
зовёт он – целокупно и голод и сыть,
и не отражается в зеркалах, уродина.
Вроде бы спутник, но из какого числа –
сон не подскажет и явь глазёнки потупит;
и ни хвала не нужна ему (ей), ни хула,
ни небесные хляби и ни водица в ступе.
То, о чём говорю, – бесстрастно, оно
просто присутствует, как океан или суша,
просто, как дальний звук, залетевший в окно
и, вылетая, способный совлечь и душу.
Запаха, цвета нет; пожалуй, один
только возраст – мой или Вечности имя...
Можно закрыть глаза, и тогда впереди
он обозначится, тут же сливаясь с иными.

Трепался ангел на семи ветрах,
дудел и пел, а после стёрся в прах;
за боингом гонялся, угорел –
уж лучше бы себе дудел и пел.
Вот музыка тебе и вот строка...
Над морем ливни, крепкая рука
удерживает зонтик над твоей
подветренной башкой – что надо ей?
Рожна? – возьми! Избыточной печали? –
Пожалуйста! Ракушек, крабов – на!..
Несчастен миг, когда, в его начале,
его же поглотит волна
иного мига... Мы идём вдоль кромки,
бубнит накат, и в лёгких ассорти
из соли с йодом; божие коровки
на нас садятся на своём пути.
Над нами дождь, и чаек восклицанья
дизелисты, под нами – мразь песка;
на топчане подросток пишет Ане
признание; трухлявая доска



трещит и шелушится... Дальше, мимо, –
 куда ведут зрачок, печаль, судьба...
 И как же это всё непоправимо,
 неповторимо. И судов гроба
 на ближнем рейде; кислые медузы
 лежат, как холодцы, но без тарелок;
 над морем небо – как ему обуза,
 всё выгорело, либо обгорело.
 Усни, душа придурочная! Ты ли
 достойна этих нег в конце июня...
 Блуждали побережьем – точно плыли,
 смешавши в поцелуях нюни.
 О Господи, да что это такое!
 Зачем дырывать шпилькою песок,
 когда свободы нет и нет покоя,
 а если есть – то разве на часок.
 Свободы той печальный голосок,
 как у буксира: вон – подать рукою.

Дерево молча стоит и движет руками,
 жестикулирует, общается с облаками,
 терпит птиц, на стане изящном его
 взобравшийся кот не делает ничего.

Девушка ёжится, стоя на остановке,
 кусает губу, почти что плачет –
 кто же знает души нотки её,
 и вообще – что всё это значит?..

Человек человеку – в лучшем
 варианте – случай, но, в основном –
 бревно... Либо – как ива плакучая,
 наклонившаяся над дном.

СИНХРОНИЯ

Никогда всё это не кончится; вялая белая яхта
 издалека – как платочек над влагой; летает угрюмая чайка;
 жизнь происходит, струится, но жизни, в общем-то, нет;
 погляди, зевоту уняв, сколько всего происходит напрасно:
 многоточья медуз или спорадическая диатезная звёздная сыпь,
 и под нею идиотический шершавый танкер разваливается на части,
 и капитан по этому поводу обнял любовницу, выпил и застрелился,
 и всё это безобразие не принесло никому особых страданий,
 кроме, пожалуй, вполне дружелюбной фауны и экологов-патриотов.
 Нет, это не кончится никогда; разбившийся насмерть «боинг»
 издалека похож на примус или вечный огонь посмертно летевающим;
 с точки зрения Вечности всё это вообще не имеет
 никакого значения, а современник всех этих событий,
 не говоря – наблюдатель, ежели мозг его всё ещё
 жив и не высох, как в рыбе икра, станет, тоскуя, думать –
 дескать, неужто Господь попускает, или, может быть, он не заметил,
 отвлекся, ну, там, уснул – не знаю; либо, ему это всё равно;
 миллион пустых вопрошаний, всхлипов, спазмов напрасных,
 а внутри вопросов – подкладочка: вдруг такое случится со мной?
 Но техногенное время вообще ни за что не отвечает,
 и не будет, и все эти гекатомбы не известно кому и зачем.



Вот и выходит, что только родившийся слепок с Всевышнего, а лучше – набор хрящей, тканей, слизи – заведомо обречен на – если удастся вырасти – функцию наблюдателя, но хуже – если эпизодическую роль участника возможных подобных событий... Человек без грядущего, любим он или не любим, присядет однажды вечером у воды, заметит вдали платочек яхты, глотнёт из фляги, и, как знать, поймёт, что и впрямь всё это не склонно кончаться.

Мы долго блуждали в потёмках,
голос наш сделался глух; летучие мыши
над головами летали; в котомке
и в душе сделалось тише

от чужих рук, ненужных, пустых;
летит самолётчик ночью, пустой,
как бидон; и никому этот стих
не станет радостью; с немотой

ангелов нам не справиться, нет;
можете, если хотите, выключить свет
в прихожей, где нет никого,
а только пыльных пальто торжество.

МАРИЯ САВЧЕНКО

НЕПРОШЕННОЕ ОКНО

Сейфов взломанных мусор,
Иссушённой трагедии страсти,
Жжёных листьев подвесные мосты
Отряхни с эполет.

Пригуби испарения грусти.
Раскланявшись с сумраком
Выходи провожать поезда,
Узнавать в окнах лица
Таких теплокровных знакомых. . .

И качнувшая стаями осень,
И зима стеклодув.
Горизонт уменьшает до точки
Корабль вопросов.
Берег пуст.

Пот устал и сгустился
до соли кристаллов.
Картотека цитат
Растеряла своих адресатов.
Но смотритель молчит
И вновь запускает маяк,
Несмотря на туман
Разъевший века.
И крахмальной сыпью забвенья
Смысл послания
Света-пульсара
Погребён безучастностью
Рассекающих волны.

Я тебе – ствол,
обугленный на пути меж холмов,
изысканным отпечатком ряби небесных молний грозя,
пальчиков гроздь прикладывая к губам и виску,
как дуло.
Как должно – упрёки
и рассогласованья времён,
ты – в несбывшемся будущем,
я – в неизбывном прошлом,
или наоборот.
Шкуру надев навыворот,
Заполнять собой вакансию недоросля-ля-ля



зеленью пробудившихся почек,
запахом миндаля по капиллярам ручек,
вербы пушком. . .
Отбивать грязь с ботинок,
Пыль с предместий
В такт иллюзорной воли
Реванш очевидной мести
М.Ж.
А между ними вагоны, тамбуры,
Тире, точки, тире и так далее –
Морзе, Морфей, октябрь, Анубис,
Орфей. . .

И вредители сот
Божественной геометрии пчёл
Исчислив, вычти почин

Широка моя Ду и Ша,
Ка и Ба играют всё в нарды,
Возвращеньем домой друг другу грозя,
Улыбаясь, шутя и рискуя. . .
Всё равно долго плыть,
Тело-чёлн,
Что в мире этом, что в том,
И не надо судить что – кому.
Все мы друг другу – вёсла.
Стрекозой тысячекрылой проходить
Сквозь радуги непочатый край,
Пусть галерным рабом,
Но собой воплощая
Пару сверкающих крыл,
Что несут нас в бездонное,
Медленно так испаряясь.

Патина времени,
Затопившая складки
И рваные раны былого,
Не любит мысленный взор.

Стыло и душно.
Воспоминанья
Тленными лентами стаивают,
Заснеживают пороховым.

В городе чадном,
Под небом закопчённым,
Душа ищет приют,
Но не смотрит боле в глаза,
Ибо лица знакомых – горчат.

Исполин вышневольный,
завернувшись в ослиную шкуру,
чтоб не так очевиден был
плащ пилигрима,
помрачением взора
восприимчивость сердца застив к миру.

Милый! милый. . .
Как несложно сказать тебе то,
Что не просто – хотелось – другим.



Неуклюже топорщащий горб,
Искажающий так силуэт, –
То не тяжесть потерь и вины,
То сверкающий груз,
Приводящий в отчаянье дар,
Что сквозит из-под рваной полы,
Что бликует и режет глаз.

Милый мой исполин,
Тяжесть сложенных крыл
Оставляет следы на земле,
Вяжет летописи дорог,
Пылью взбитой живописуя
Повороты судьбы.

Лию ли я
Тождества дни
Данности рна
Разности бди

Лию ли где
Межево сна
Ясли предель-
Но чиста постель
Стелется надь

Июль ли я?
В месте где мы
Ясности бы
Пропастью над

Лил ли ю иль
Илом без дна
Данность – ковыль
Кольшет пуста

Снегом подсвечена ночь

И фарфоровым – воспоминанья
о розовом теле,
исхлеставшем себя волнами
напрочь,
на Крещение прорубив непрошенное окно
в молчаливое крещендо тибетских пагод,
средоточием многоточия воли
о противоречия лёд.

Сестрица? Возлюбленная?
Молоко текло меж пальцами,
взглядами,
молоко...
минуя предметное и
предрасветную трезвость,
душою объяв
светимость твою.

Шёпотом
 засучив рукава
 по самые локти,
 даже выше,
 но скрыв ямочки на плечах
 и хрупкость ключиц;
 удерживать объём весь
 на кончиках пальцев, нервов,
 и, туже стягивая пояс,
 разжимать обручи напряжения,
 целенаправленно лучить
 в звёздное небо,
 в обширную высь.
 Рассчитывать на попадание
 Когда жизнь — по vale nada?
 Лососем против течения,
 преодолевая пороги страха,
 разметаться икрой —
 деталью чьего-то завтрака,
 штрихом к пейзажу,
 портретом в интерьере,
 бисером перед свиньями . . .
 Высокомерие отдаёт глупостью.
 Сползай со своих вершин, —
 Тибет, Анды, Ай-Петри — к чему,
 когда по грязи нужно бегать
 босиком, как сказал
 молчаливый до угрюмости конюх,
 подрезая белой лошади копыта,
 что прядала ушами и глазами искрила
 под звук данмоя.

Немота полиглота-
 тельных рефлексов суть.
 Повитухой надобно быть на Рош аШана:
 О!дикотворять нерождённый месяц
 отростками тел,
 щупальцами сплетений,
 чуткими пальцами душ,
 или чем мы там беременны всю эту жизнь?!!

Безумным города — бездорожье,
 чашка чая — распутье,
 выбор — взведённый курок.
 Существа, что подчас намеренно
 Слица не стирают плевок,
 Зеркалами зовут . . .

звёзды сиянием
 капнули в темечко
 бросили семечко
 вздрогнула прыть

в иссиня-чёрное
 брызнули молнии
 резво разрезав
 ткани событий



кариатурами
горькимикстурами
фактов текстуры
изобразив

и с куражиною
рыжей пружиною
высоковольтно
к луне подскочив

радость нагая
хвостом щекотая
шалтая-болтая
бездумно урча
бредуче шагая
прыгуче скакая
сия и играя
проснулась в меня
!!!!!!!!!!!!!!!

Серой замшей день обёрнут.
Поздней бабочкой согрет жёлтый камень.
Пилигрим отдыхает,
с прощальной улыбкой
открывая калитку запруды
для маленькой рыбки.

ВЛАДИМИР КАЦ

«КАК СЛЕДУЕТ ПОЭТУ...»

Начнём с контрапункта. И дальше
пойдём, не спеша, до конца, —
без слёз, без надрыва, без фальши,
без схлынувшей краски с лица.
Чтоб дивное многоголосье,
внезапно возникнув в тиши,
как ветер над полем колосьев,
сорвало одежды с души.

Что ни строфа —
то катастрофа,
что ни строка —
то между строк.
У каждого
своя Голгофа,
своя судьба,
дорога, срок.

И отстрочив
суровой нитью
край
отбелённого холста,
ставь паруса.
И по наитью
плыви,
читая жизнь с листа.

Памяти М. Каца, кинорежиссёра

Налево — лев,
направо — рав.
Холодный хлев
и запах трав,
три пастуха,
ягнёнок, вол.
Легка рука,
ребёнок гол. . .
Благая весть
из уст в уста
и звёзды
в небе Рождества.



*«Жизнь течёт, впадая в детство...»
Б. Херсонский*

Жизнь течёт, впадая в детство...
В белом кружеве акаций
Катя, вечная невеста,
в подвенечном бродит платье,
повторяя: «Где же Миша?
Что-то я его не вижу?!».
Еле слышно, еле слышно, —
детство дальше, детство ближе...

Во дворе пирамидальный
тополь разрезает небо.
Осень, кипяток вокзальный,
с перебитым носом ребе
вопрошает: «Где же Миша?
Что-то я его не вижу?!».
Еле слышно, еле слышно, —
Детство дальше, детство ближе...

Каждой ночью я в тоннеле
между старостью и детством,
то кружусь на карусели,
то раскачиваюсь в кресле,
воскликая: «Где же Миша?
Что-то я его не вижу?!».
Еле слышно, еле слышно, —
Детство дальше, детство ближе...

То ли Тора вторит небу,
то ли небо вторит Торе...
Разломив буханку хлеба,
не поставив точку в споре
безнадёжном словно вечность,
словно жизни многоточье,
снова время бьёт картечью,
снова ты, проснувшись ночью,
повторяешь: «Где же Миша?
Что-то я его не вижу?!».
Еле слышно, еле слышно, —
Детство дальше, детство ближе...

Отпусти меня на волю —
на крутые берега,
на заснеженное поле,
там, где ни одна нога
не ступала, где с обрыва
открывается залив, —
может стану я счастливым,
ветром голову покрыв.

Проснувшись в середине ночи,
не разобравшись, кто ты, где ты,
ты видишь, как души подстрочник
неярким светом освещён,



и не понять ни этот почерк,
ни эту ночь в контексте лета,
ни двух людей союз непрочный,
ни что к чему, ни что почём.

И ногу закинув на ногу,
с журналом двадцатых годов
ты дремлешь. А я же, ей-богу,
в лепёшку разбиться готов,
чтоб это мгновение длилось
все долгие наши года,
чтоб солнце вот так же садилось
и так же слоилась вода.

Зачерпни журавлём из колодца
ледяной пустотелой воды, —
кто там знает, когда доведётся
возвратиться нам в эти сады,
кто там знает, какое ненастье
предстоит нам на долгом пути. . .
А пока, в полушаге от счастья,
ты в колодец ведро опусти.

Липы столетние, двор
с юго-востока на северо-запад
тянется, и в разговор
пряный вплетается запах, —
окна все настезь, июль,
ночь обнажает тела и желанья
и умножает на нуль
наше дневное сознание. . .

Да, так о чём разговор? —
всё о любви, — мы ж другого не смыслим. . .
Липы столетние, двор,
трепетно тонкие кисти,
(я о запястье молчу,
не говоря о предплечье и шее). . .
Что же, загасим свечу.
Лето. Июль. Лорелея.

Я растяну сентябрь
на триста тридцать строк,
чтоб тридцать дней спустя
всё длилось бабье лето.
Я буду жить шутя,
свободно, вольно, впрок,
как малое дитя,
как следует поэту.
Пусть юности моей
трамвайные пути
разобраны, и пусть
бульжник весь украден, —



в хмельной колодец дней
лети, бадья, лети,
зачёркивая грусть
исписанных тетрадей.

Памяти Марины Цветаевой

1.

Протяни ладонь —
обожжёт огонь,
обожжёт огонь
болью прошлого.
Над рекой плывёт
колокольный звон,
будто чей-то стон —
ах, как тошно мне!

Помню ночь, костёр,
расписной шатёр,
помню долгий взор
друга милого.
И любовь была —
страстью добела,
и трава росла, —
да всё минуло.

2.

Наречённая моя
на семи наречьях,
наречённая моя
на семи ветрах.
Почерневшая свеча,
догоревший вечер,
а в распахнутых очах —
безотчётный страх.

Мы с тобою у черты.
Дальше — степь, дорога,
обожжённые кусты,
горькая стерня.
Дальше — только я и ты,
только воля Бога,
только чёрные кресты
на закате дня.

3.

Не ворожи, ворожка,
движеньем плавным рук —
ещё моя дорожка
не завершила круг.
Не ворожи, ворожка,
браслетами звеня —
ещё в твоём окошке
есть свет и для меня.

ЕЛЕНА МИЛЕНТИ

«КАК ЛАМПЫ, ЧТО РАЗМНОЖИЛ АЛАДДИН...»

В текучести портьер, в их тяжести и складках,
Подсвеченных луной, застыла тайна сна.
И в яблоке, что тень отбрасывает кладкой, —
Незыблемость камней, законченных до дна.
А чаша — монолит, и в ней — кусочек неба,
И нечто, что душой зовётся и при том
Отторгнутость теней и приближённость света,
Такие, что в прыжке — из плоскости в объём.
Да будет свято то, что есть и то, что было,
И будет вновь дышать на девственных холстах.
Не оторваться — так — зрачок уже набила,
Оскомину — жар-птица в застывших облаках.

Паутиной забвенья покроется брренное слово.
И земля заберёт то, что небо не сможет забрать.
И ребёнок дворец возведёт на руинах былого,
Где окно задрожит, обретя отражения власть.
Где входящий узнает и сырость, и затхлость, и плесень,
Но картины на стенах излучат его от простуд.
На весах поражений победу последнюю взвесив,
Он увидит во сне, как его на расстрел поведут.

Идти навстречу друг другу
В пределах одной планеты,
Чтоб перекрёстков губы
Открыли свои секреты.

И допускать скольжение
Деталей вдоль взгляда лекала.
Идти — как лететь на сближение
В пределах пяти кварталов.

И пить эликсир изгоев,
Когда прохожие будут
Смотреть, как целуются двое,
Застыв с отрешённостью Будды.



Я сегодня узнаю, что я обрела свой ковчег.
И от будней, отхлынувших горлом, останется слово.
Это солнце четвёртого мая сияет для всех,
Потерявших себя, для того, чтоб вернуть себя снова.

Волны будут дышать наравне, нараспев, наразрыв.
Ты почувствуешь право забыть, забыть, затеряться.
И, вращая в песок, все открытия опередишь,
Чтоб на этой земле – кем дано тебе быть – оставаться.

Идущему пусть светит грусть,
Чтоб счастьем длиться...
А встречный ветер пролагает путь
Летящей птице.

Не ведает слепой о том,
Что лабиринты есть и шири
И служит пусть ему поводырём
Плач опечаленных валькирий.

Забытому на дальнем рубеже
Польнь да будет солодом и хлебом.
И поражение в возгласе победном
Провиснет паузой – ещё-тире-уже.

Постепенный уход от тебя равносильно продлению боли
И для лобного места приемлем один приговор.
Апелляция не принимается как анаболик
Я молитвой твержу – будь готов, будь готов, будь готов.

Надо выйти из круга, что горло сжимает и веки
Тяжелит от наплыва оттаявших материков.
Научиться ходить, чтоб дойти до ближайшей аптеки, –
За пределом тоски, если к этому ты не готов.

Обречённый вдыхает легко от забвенья тропы пыль и копать,
Как от райского яблока плоть надкусивший едва.
Он услышит сквозь сон приглушённый подковами цокот
И осядут на сердце солёной пылью слова –
Ты усни и забудь о былом и дай клятву принять все разлуки.
Всех прости и прощенья не жди, в поцелуе сложи
Отречения голод и вечную жажду поруки
И в глаза загляни, где закат, замерзая, дрожит.

После чая, после встречи
Года Нового, в туман
Через рельсов поперечность
Был маршрут внезапно дан.

Плыли улицы и лица,
 Чей-то смех и чей-то взгляд.
 Вот еще одна страница —
 Площадь, памятник и сад.
 И нанизывали спицы
 Перекрёстков тень и свет.
 Дайте к вам прижаться птицей,
 У которой крыльев нет.

Такой закат бывает в январе
 И только в день такой и в этот вечер.
 Земля огромным конусом заре
 Покатолобо тянется навстречу.
 Трапезни домов, смотри, сошли
 Торжественно с рождественской открытки.
 А трубы высятся — забыли короли
 Свои короны — зубчатые слитки.
 За штурмом белых крыш и тополей
 В кровавый шлейф вращает ярко-синим
 Хрустальный цокот призрачных зыбей
 И холодом закату дышит в спину.
 И сколько крыш, и столько труб, они —
 Как кратеры, что дым пускают мирно,
 Или как лампы, что размножил Аладдин,
 Чтоб каждый дом своим струился Джином.

А снег летит, забыв года, столетья,
 И первородность сущности своей,
 Как сон, необозначенный, ничей,
 Как возглас новорожденного — есть я!
 И этот путь от неба до земли —
 Дыхания восторг и удивленье.
 Полёт, а в нём зародыш — озаренье
 И оторопь — так скоро — монолит...

И мы с тобой уйдём, как это лето,
 Не замечая, как вчерашний зной
 Перерастёт в озноб и кто-то где-то
 Кому-то скажет — дверь плотней закрой.

В закат уйдём, за кадр, глухим откатом.
 Не вспоминая, сколько ему лет,
 Глаза откроет камень бородатый,
 Лукаво улыбаясь нам вослед.

Словно две планеты, молча
 Мы с тобою посидим.
 Уплывёт, но ближе к ночи,
 Из-под ног земля, как дым.
 Будем пить коньяк янтарный,
 Целоваться и болтать,
 Тайн отвинчивая краны,
 В час по капле отпускать.



И в открытых створках мидий
От прибоя только взвесь
Мы увидим и услышим —
Бормотанье — пены спесь.
Станет холодно и пусто —
Утро скосит липкий крик —
Умирая, нам медуза
Приоткроет лунный лик.
Кто тебя обрѣк на муки?
В блюдцах глаз застыл испуг.
То ли косы, то ли руки
Замыкают тебя в круг.
Так, молочный студень тела
В окаймлении песка
Уходящим то и дело
Волнам вслед шептал — пока...

Внезапно призрачный герой возник на крыше.
Спросила я его — ты кто? — он неподвижен.
Струится чёрный водопад его накидки
И замыкает дым его в тугие свитки.
Он изваяньем смотрит вдаль с немым укором
И падают к его стопам плоды софоры.
Скрипят и стонут позвонки: «Мне больно, рыцарь —
Я — зыбь, изыди, я не твердь, я — черепица».
Нестройный водят хоровод коты и трубы.
А время движется, не ждёт, — идёт на убыль —
В закат, не ведая, не зна., что есть начало.

И некто с крыши нисходил, как с пьедестала...

ТАТЬЯНА ОРБАТОВА

МЕНЯ ЗОВУТ КАЛИГО МЕМНОН взрослая сказка

*Светлой памяти моего сына
Артёма Абалешкина (15.08.1989 – 3.12.2010)*

1.

Из-за тёмно-фиолетовой шторы выплыли пузырьки воздуха, за ними – мелкие красновато-рыжие рыбки. Множество рыбок.

– Такого цвета коней называют гнедыми. А рыбки бывают гнедыми? – вслух подумала раскидистая драцена, пытаясь своими длинными, похожими на лезвия кинжалов листьями прикоснуться к шторке.

Красновато-рыжие рыбки ненадолго зависли над деревцем, затем дружно и беззвучно поплыли к зеркалу.

– Пальма, своей болтовнёй ты мешаешь мне сосредотачиваться на пространственно-временном континууме, – промурлыкал чёрный кот, рассматривая большую тёмно-синюю бабочку, застывшую под стеклом в изящной деревянной коробке, прикреплённой шурупом к стене.

– Я не пальма. Мы из семейства агавовых, – пояснила драцена.

– Агав-агав, – передразнил её кот.

– Гнедыми бывают даже мысли, – пропищала крупных размеров скалярия, вслед за рыбками вальжж-но вливая в комнату.

Оглядевшись по сторонам, скалярия увидела бабочку и, подплыв к ней, поинтересовалась:

– Как Ваше имя, мадемузель?

– Мамзель проколота иголкой со времён моей прабабки. Короче, мёртвая она, – усмехнулся кот.

– Вы – Чеширский или Бегемот? – спросила рыбка, раскачиваясь наподобие маятника.

– Сама чеши, килька близорукая! При чём здесь бегемот? – рассердился хвостатый.

– Простите, если сия игра смыслов настолько далека от вас. Но мой семантический контур пытается распознать – что вы за фрукт.

– По тебе плачет Институт благородных девиц. Не фрукт я. Из породы кошачьих! Что за дурацкие стереотипы: если говорящий кот, обладающий чувством юмора, значит – обязательно Чеширский или Бегемот!

– Юмор у кота Матроскина, а у вас – подростковая ирония, переходящая в хамство, – обиделась скалярия.

– По-твоему, лучше кот Шредингера? Сидит в ящике – молча, никто его не видит, не слышит, но все голову ломают – жив он или мёртв. Нет, лично я – Кошакус Вульгарис – недвусмысленно видимый и слышимый. А как твоя surname, пльвучий реликт?

– О, вы спикаете! Жемчужная я. Вульгарис плохо звучит.

– Спикаете... – тоненьким голоском передразнил её кот. – В переводе с латинского «вульгарис» имеет два значения – народный и обычный. Мне ближе – народный. Может, погадаешь, если ты – Жемчужная? – промурлыкал он, протягивая скалярии когтистую лапу.

– Я не гадаю. Но верю в рыбный промысел. Вы питаетесь рыбой, народный кошакус? – опасливо посторонилась она.

– Где ты тут видишь рыбу? – искренне удивился кот.

Жемчужная замерла в недоумении и, вильнув хвостом, поплыла к зеркалу.

Внезапно в деревянной коробке под стеклом вздрогнула бабочка и заметалась, пытаясь вырваться наружу.

– Бедняжка! Она сейчас погибнет! – воскликнула драцена.

– Погибнуть дважды – всё равно, что не родиться ни разу, – рассудительно произнёс кот.

Красно-рыжие рыбки подплыли к стеклу, облепив его, словно мухи липкую ленту. Всего несколько секунд – и стекло превратилось в желе, затем – в воду, стекая по стене.

– Вот она – сила коллективного разума, – восхитился кот. – Кто из вас слышал, чтобы эти гнедые сказали хоть слово? Молча понимают друг друга и слаженно действуют. А мы даже о понятиях не можем



договориться.

— Мы — не гнедые. И пока ещё не на шконке, чтобы обязательно договариваться о понятиях, — констатировала Жемчужная, направляясь от зеркала к собравшимся. Глядя на ожившую бабочку, которая села на занавеску, она воскликнула:

— Чудо!

— Меня зовут Калиго Мемнон, — с достоинством ответила синекрылая.

— Мемнон. . . Что за surname такая? Ты какой национальности, дамочка? — поинтересовался кот.

— Перуанка.

— «Калиго» звучит внушительно, — благоговейно произнесла драцена.

— В переводе с латинского «мрачный», — ответила бабочка.

— Мрачная, хочешь похрумкать? Сидеть мёртвой столько времени под стеклом, шутка ли! — доброжелательно промолвил кот.

— Здесь есть перезревшие фрукты? — спросила бабочка. — Я питаюсь их соком.

Скалярия громко хихикнула, многозначительно глянув на кота.

— Не фрукт я! Кошакус вульгарис! — рявкнул кот.

— Не кипятитесь. Ясно же — настоящий фрукт, даже перезревший, не может быть вульгарис, — снова хихикнула Жемчужная.

— Ты напоминаешь мне рыбу, которую я обычно ем, когда очень сердит, — угрожающим тоном сообщил ей кот.

Скалярия испуганно метнулась в сторону.

— Вы не задумывались, зачем мы здесь? — спросила бабочка, обращаясь ко всем.

— Ты не задумываешься — почему ожила? — подняв хвост трубой, парировал кот.

— Я проснулась здесь.

— А уснула где? В смысле, умерла, — смущаясь, спросила драцена.

— Обычно я умираю в Перу. . .

— Красивое начало для рассказа, — отметила Жемчужная.

2.

Калиго Мемнон молчала, глядя на красновато-рыжих рыбок, которые выстраивались в замысловатую фигуру — круг, вмещающий в себя квадрат с большой точкой посередине. Неожиданно рыбки, построившиеся в квадрат, изменили свой цвет на персиковый, а собравшиеся в центре в виде точки — засияли золотистым. Неподвижная фигура бабочки и цветковые метаморфозы, произошедшие с красновато-рыжими рыбками, вызвали у скалярии и драцены беспокойство. Жемчужная плавала из стороны в сторону, резкими движениями образуя вокруг себя пузырьки разной величины. Каждый листик драцены трепетал, и деревце, достигнув кульминации дрожания, казалось, вот-вот перевернётся. Только кот тихо мурлыкал какую-то песенку, будто ему не было дела до всего происходящего в комнате с фиолетовыми шторами.

— Я часто сидела у неё на плече. Она не замечала меня и говорила, говорила, — начала свой рассказ Калиго Мемнон, — со стороны казалось, она говорит сама с собой, но она разговаривала с ним. . .

Скалярия и драцена прекратили всяческое движение. Кот перестал мурлыкать, но принялся беззвучно перебирать лапами по паркету.

Погружённая в воспоминания бабочка продолжила рассказ:

— Последние годы своей жизни она жила в Пайте. Рыбацкий посёлок на перуанском берегу Тихого океана заинтересовал меня, а вскоре стал родным — благодаря Мануэле. Эта женщина научила меня восхищаться океаном, несмотря на чуждую моей природе водную стихию. Мануэла была способна на великие чувства. В них отсутствовал пафос и болезненная возбуждённость. Невероятная яркость и насыщенность переживаний делали немолодую женщину нечеловечески красивой. Она облагораживала всё, с чем соприкасался её взгляд, всё, что вмещалось в её душу. Помню её профиль с гордо поднятым подбородком. Она стояла на берегу, вглядываясь в даль, словно надеялась увидеть Симона. Прошло почти четверть века со дня его смерти, но Мануэла говорила с ним ежедневно, читала вслух его письма и даже молилась. Она не была набожной, но к концу жизни часто говорила с Богом — о Симоне. Она вспоминала, как страдала от невыносимой разлуки с Симоном ещё при его жизни, и как ненавидела всё, что отнимало у неё любимого. С высоты птичьего полёта Мануэла казалась ожившей диковинной куклой — в свободной тунике, сшитой с обеих сторон и украшенной разноцветными геометрическими фигурами. Её голову украшала соломенная шляпа. Ах, моя прекрасная Мануэлига! Конечно, я знала, что яркая туника и шляпа — единственная нарядная одежда, в которую она раз в день облачается для свиданий с прошлым. Она получила тунiku в подарок от родственников пожилой колумбийки-целительницы, которая однажды вернула её к жизни. Мануэлига вернулась из мира мёртвых, чтобы навсегда покинуть Эквадор и ставший ей безразличным родной город Кито. Соотечественники осуждали Мануэлигу, шептали за её спиной проклятия, ненавидели. За то, что стала любовницей Симона, будучи замужней женщиной, за гордый нрав, острый ум, рискованные поступки, за смелость, с которой она в гусарском мундире гарцевала на лошади по улицам города. Некоторые особо ревностные католики презирали её за попытку свести счёты с жизнью. Да-да, узнав о смерти Симона, Мануэла решила уйти вслед за ним с помо-

пью укуса змеи. Мечтала ли она прикоснуться к мифу о смерти Клеопатры, или напоследок хотела подчеркнуть смирение перед змеиным царством, которого боялась с детства? Тайна. Но женщину спасла пожилая колумбийка. Зачем? Не для того ли, чтобы Мануэлига поселилась в Пайте и, живя на гроши, которые зарабатывала изготовлением печенья и пирожных, полюбила мир так же, как она любила Его – Симона Боливару? «Моя сумасшедшая возлюбленная» – называл Боливар Мануэлу Сазнс. Но когда я её встретила, она не была сумасшедшей. Она обнимала душой мир, в котором её любовь к Симону стала равнозначной любви ко всем, кто её окружал. Помню, Мануэла, поглядев с удивлением и радостью на похоронную процессию, направлявшуюся мимо неё на кладбище, произнесла: «Даже если мне суждено быть похороненной в общей могиле, и никто из живых не отыщет моего следа на Земле, я счастлива – Симон непременно узнает мою душу...». Что она увидела в похоронной процессии, помимо скорбящих родственников умершего? Тайна. Но несколько месяцев спустя во время эпидемии дифтерита её похоронили в общей могиле...

Калиго Мемнон замолчала, и в комнате воцарилась тишина.

– Печально. Почему по-настоящему красивая история всегда наполнена страданием? – наконец промолвила драцена.

– Пальма, что ты знаешь о страданиях? Все твои проблемы – мокрицы, перепой или недопой, – подчеркнута медленно промурлыкал кот, но в его голосе чувствовалось волнение.

– Слушай, вульгарис, с этой минуты лично ты будешь называть меня – Драконово дерево, каковым я именуюсь. Если ещё раз проявишь ко мне и другим неуважение, во мне проснётся древняя дракониха, – вспыхнула драцена.

– Ну, ладно. Прости. Сам не понимаю, что со мной. Нервный какой-то, – примирительно произнёс кот. Помолчав немного, он взвизгнул:

– Нервный! Потому, что не знаю, как очутился в этой комнате и почему ничего не помню!

– Но ты же поддерживаешь разговор – кот Шредингера, пространственно-временной континуум, Бегемот... что там ещё – коллективный разум, – удивилась драцена.

– Поддерживаю, но не понимаю почему. Откуда я это знаю? Почему говорю то, что говорю? Ты помнишь, как оказалась в комнате с фиолетовыми шторами?

– Я проснулась здесь...

3.

Рассказ Калиго Мемнон взбудоражил собравшихся, и они не сразу заметили перемещение красновато-рыжих рыбок, которые приобрели свой привычный окрас, но лишь затем, чтобы построить новую фигуру – пирамиду с мини-платформой на вершине. Рыбки умудрились выстроить даже миниатюрную центральную лестницу для доступа на вершину. Когда последняя из них заняла своё место, нижняя часть живой пирамиды окрасилась в чёрный цвет, а верхняя – в белый.

– Зачем они... – драцена не успела договорить, как одна из рыбок быстро подплыла к ней и, отщипнув кусочек листа, поспешила обратно.

– Они помогают вспомнить, – ответила бабочка.

– Вспомнить что? – не понял кот.

– Не что, а кого, – уточнила Мемнон.

Драцена замерла, прислушиваясь к себе, пытаясь понять, что напоминает ей живая пирамида.

– Никогда не была на острове Маврикий. Корни мои из Мадагаскара, хотя там я тоже не была. Но пирамида напоминает мне каменное сооружение на острове Маврикий, – задумчиво произнесла драцена.

– Корни твои из Мадагаскара, но листья и горшок из ближайшего магазина уценённых товаров, – не удержался кот. – Если ты не была на Маврикии, откуда знаешь, какая там пирамида?

Жемчужная приблизилась вплотную к морде кота и сильно боднула его в нос:

– Нишкните камнем, вульгарис! Вы сами сказали, что ничего не понимаете.

– Ну... да, есть такое. Но у меня не получается молчать! Колкости лезут из меня сами, – потирая нос, ответил кот.

На этот раз драцена не обиделась и, тряхнув листвой, задумчиво сказала:

– Я просто знаю. Откуда – не помню.

– Кроме пирамиды что знаешь? – прошелестела бабочка, порхая вокруг дерева.

Помедлив немного, драцена ответила:

– Знаю, как любил своего сына известный пират, не потерявший человеческое лицо.

– Что такое человеческое лицо? И можно ли знать, как любит другое существо, не будучи им? Предлагаю отказаться от таких формулировок, а вместо них использовать... – начал было спорить кот, но драцена перебила его на полуслове:

– Томас умер, не умирая.

Кот от неожиданности раскашлялся, поперхнувшись слюной. Драцена подождала, пока не стихнет приступ кашля, и продолжила рассказ:

– Однажды Томас превратился в пирата. Промежуток между старой благопристойной жизнью и новой, полной авантюризма, он назвал медленной смертью со сменой полюсов. В детстве пиратские



истории не вызывали у Томаса всплеска фантазий. Зато он ненавидел «житейскую грязь». Он видел отнюдь не королевские апартаменты и всеобщую доброжелательность. Унижения, страдания, грубость человеческих отношений приводили Томаса в бешенство, несмотря на старания его маменьки (владелицы публичного дома в Плимуте) оградить сына от негативных влияний среды. Но «житейская грязь» была повсюду, поскольку являлась проявлением действительности. Однажды Томас пришёл к выводу, что «житейская грязь» — это уродливые попытки людей любой ценой выжить или самоутвердиться. Он попытался создать свою действительность добропорядочной жизни. Благо, мать дала Томасу достойное образование. Служба в королевском флоте, затем увольнение и переезд на Барбадос, торговое дело, женитьба — последовательные ступеньки создания им «добропорядочной действительности». Он был отличным оратором и смелым, честным парнем. «Я сам делаю свою жизнь. Если меня будут принуждать изменить принципам — не буду выживать любой ценой, лучше пойду на корм рыбам!» — говорил он. Но действительность не желала уместиться в рамки его представлений, расширившись однажды до параллельных пиратских миров. Это произошло неожиданно — во время торгового рейса к берегам Гвинеи. Французские пираты атаковали английское судно «Мериголд», где капитаном был Томас. Стремительный захват заставил Томми сопротивляться из последних сил. Он не пошёл на корм рыбам, но дрался в исступлении. Однако силы были неравны, и команду пленили. Ночью пираты, опьянённые ромом и победой, предавались привычному развлечению — стреляли по живым мишеням. У последних не было выбора, несмотря на отчаянные мольбы некоторых пленников о пощаде. В команде Томаса служил пожилой матрос Эбрахам. Все звали его монахом — за молчаливость и привычку по любому поводу читать молитвы. Никто не знал, кто он и откуда, но поговаривали, что из-за своей веры он часто менял суда, боясь преследования со стороны властей. Это продолжалось до принятия Акта о Толерантности.

Эбрахам сосредоточенно молился, глядя на пиратов, убивающих пленников.

— Человеческая жизнь — всего лишь стремление любой ценой избежать смерти. Но я не буду унижаться, — сказал Томас.

Эбрахам закрыл глаза. Его лицо было таким, будто он заглядывал куда-то далеко, за черту, которую обычным смертным переступать не полагается.

— Здесь и сейчас тебе не видать будущего. Но у тебя оно есть, — усмехнулся он.

— Моё будущее предрешено. Выстрел и... к рыбам на корм, — с горечью ответил Томас, кивая в сторону пьяных пиратов.

— Это моё будущее предрешено. Но меня смерть не печалит, а радует... Однажды твой далёкий потомок станет отшельником, большим молитвенником. И сила его молитвы многих спасёт, — молвил Эбрахам.

— От смерти спасет? Она неизбежна!

— От отчаяния и потери человеческого лица. И ты... смотри... не потеряй.

От усталости и переживаний Томаса клонило в сон, но он пытался не заснуть, чтобы встретить свою смерть достойно.

— Пусти меня на твоё место, может, посплю немного. У борта меня сильно укачивает, — попросил Эбрахам.

Томас с готовностью перебрался ближе к борту. Вскоре его сморил крепкий сон. Последнее, что он услышал, прежде чем заснуть, были слова Эбрахама:

— Станешь пиратом — не забудь наш разговор.

Наутро Томас обнаружил, что Эбрахама нет рядом. Один из матросов объяснил — «монах» был последним, кого этой ночью использовали пираты в качестве мишени...

Через несколько часов у берегов Мадагаскара морские разбойники посадили корабль на мель, и Томасу с остатками его команды удалось сбежать на одной из шлюпок. Томми надеялся на скорое возвращение домой к жене, но у Судьбы его были другие планы. Молодому капитану и его людям пришлось прожить полтора года на островке Бухта Августина, неподалеку от Мадагаскара. Местный туземный царёк Баво радушно их принял, определив на полное обеспечение. Впрочем, такая участь ждала всех белых, терпевших кораблекрушение возле вотчины Баво. Он ни для кого не делал различий. Будь то купец или пират — Баво спасал всех белых, проявляя к ним удивительное радушие. Именно здесь, в Бухте Августина Томас познакомился со многими уже состоявшимися пиратами и будущими морскими авантюристами.

Шло время, жизнь принуждала мужчин к активным действиям, и постепенно у Томаса изменились взгляды на жизнь. Он стал пиратом, и даже капитаном пиратов, участвовал в налётах у побережья Индии, у острова Маврикий. Но он никогда не убивал ради забавы, жалел детей, нередко возвращал награбленное морякам, у которых были семьи. Пираты его уважали — за принципы и благородство, стараясь походить на своего капитана. О нём слагали легенды. Поговаривали, что однажды, будучи на острове Маврикий, Томас поднялся на вершину пирамиды и вдруг исчез, испарился на несколько минут, а появившись снова, удивлённо озирался, тёр кулаками глаза, смеялся и плакал одновременно. Он никому не рассказывал об увиденном. Когда пираты спрашивали капитана об этом, он многозначительно качал головой, не отвечая... Его жена давно вышла замуж за другого, думая, что Томми погиб. Но он — живой и женатый на красивой туземке, был счастлив на острове Мадагаскар. Рождение сына подтолкнуло его покончить с пиратством... Всего несколько лет он наслаждался спокойной жизнью. Томас Уайт умер от гриппа. Он оставил свои миллионы сыну, назначив ему опекунов, которые должны были переправить

мальчика в Англию. Бывший пират завещал опекунам – растить ребёнка в самом благородном кругу, дать ему блестящее образование и главное – воспитывать в христианской вере. Будучи людьми чести, они сделали всё, о чём он просил.

4.

– Аминь, – вздохнул кот. – Не понимаю, в чём проявилась его любовь к сыну?

– Не знаю, но я чувствовала её, – ответила драцена.

– Слишком длинная история, но я бы дополнил, – подумав немного, сообщил кот.

– Дополни, – шепнула бабочка.

– Эбрахам уже не боялся смерти – пожил достаточно. А Томас был в ужасе от перспективы умереть молодым. Поэтому старый матрос дал шанс молодому капитану – пожить и избавиться от иллюзий. Почему не сказали о склонности Эбрахама к суициду или отсутствию у него воли к жизни? Матрос нашёл подходящий повод, чтобы уйти из жизни под благородным предлогом – принесся себя в жертву.

Все посмотрели на драцену, ожидая её ответа.

– Я знаю только то, что рассказала, а выводы кота циничны, – шевельнув листвой, ответила она.

– Цинизм – один из способов расшевелить погрязших в мнимой добродетели, – подняв лапу вверх, сообщил кошакус.

– Кто здесь решает – мнимой или не мнимой? Вы – балабол, кошакус, – парировала Жемчужная.

– Но я – не проффи. Ты знаешь, что профессиональный сказочник – большой лжец – врёт и не краснеет? – спросил кот.

– Почему? – удивилась скалярия.

– Не краснеет? Не знаю, – пожал плечами кот.

– Почему врёт?

– Достаточно посмотреть на действительность, чтобы понять – сказочно врёт. Почему – не знаю. Из альтруистических побуждений, или из корыстных.

– Мы тут рассказываем сказки или вспоминаем реальность? – возмутилась Жемчужная.

– Иногда это одно и то же. Особенно, если нельзя доказать или опровергнуть, – усмехнулся кот.

– Интересно, что бы ты дополнил о Мануэле? – поинтересовалась драцена.

Кот, не моргнув глазом, выпалил:

– После попытки самоубийства она боялась смерти. В противном случае снова пыталась бы убить себя. Страх поселился в ней надолго после реального видения во время клинической смерти – адских мук грешников.

– Правда? – округлив глаза, ужаснулась скалярия.

– Если ты поверила, значит, для тебя – правда, – фыркнул кот.

– Это неправда! – облегчённо вздохнула драцена.

– Правда – голый факт. Всё остальное – домыслы, фантазии, интерпретации, а также видения, которые нельзя доказать или опровергнуть, – ответил кот.

– Смерть – это факт или фантазия? – мелодично пропела бабочка.

– Почему мы всё время говорим о смерти? – воскликнула скалярия. – Народный кошакус, вы вспомнили кого-нибудь?

– Предпочитаю быть здесь и сейчас, а не в чём-нибудь прошлом. Но глядя на кульбиты коллективного разума, я бы покурил трубку, – усмехнулся кот, указывая лапой на красновато-рыжих рыбок.

Рыбки превратились в большой круг с разноцветными лучами, исходящими из центра к периферии.

– С какой стороны ни глянь, кажется, круг вращается, – констатировала Жемчужная. – Но что это? – воскликнула она, в панике заметавшись из стороны в сторону.

Комнату заполнили радужные световые волны, они плясали на стенах и паркетном полу и казались живыми.

– Это сон, – прошептала Калиго Мемнон.

– Это тета-ритмы, – уточнил кот, поудобней устраиваясь возле драцены.

Жемчужная перестала испугано метаться по комнате и, медленно раскачиваясь на радужных волнах, заговорила спокойным голосом с неожиданной для себя модуляцией:

– Верное правило – слушать безмолвие дна,
цифры в себе обрекая на вечную память.

В мир геометров – холодную, долгую замать –
сонно стремится безудержной долей – она –
нечеловечья душа.

Кто мне подсуден? Кому я подсуден? – Игра.

В помощь небесной механике – линия сферы.

Кто я – звук лиры, фасованный атом, экран
у основания мира и собственной веры?

В ноги – небесный экватор.



Стремление знать

Первую Волю, создавшую числа и корни. . .

Кто я – птенец, оперенье роняющий в «горний»,
всеобнимающий дух, гомоморфная мать
или отец компиляций, открывший от мер –
силу стремления старых, как вирусы, опций?

К ночи во мне говорит миллион теломер
донных жильцов, потерявших незаблемость лощий. . .

Бабочка, вспорхнув со шторы, села на лист драцены. Деревце стояло без движения, боясь пошевелиться. Кот, почесав лапой темя, произнёс:

– Сейчас век философских пробелов, а ты про гомоморфную мать и незаблемость лощий. Где потребительский кураж? Тебя никто не поймёт. Скажут: ты – псих.

– Он действительно – притча во языцех, – ответила Жемчужная.

– Кто это – Он? – спросила драцена.

– Имени не помню, он сам себя забывает – редко выходит из дома. Но гнедые рыбки говорят: он – гений. Якобы, о нём и его математическом открытии судачит весь мир.

– Живой гений? – удивилась драцена.

– Где ты видела мёртвых гениев? – рассудительно молвил кот. – И какой он – твой гений?

– Одинок, но сейчас не страдает от одиночества. Видит, чувствует, слышит – цифрами, геометрическими фигурами, даже когда не думает о них. Что ему жизнь или смерть, если он достиг радости открытия и всегда находит пространство своим мыслям. Он собирает числа из пространства, мысленно рисуя из них картины. Он знает о своём бессмертии. Иногда он думает, что не рождался и поэтому достиг мечты. Он думает, все люди – проекция его материализованных представлений о числах. Он по-своему любит людей, хотя не балует их, как не балует самого себя.

– Тебе гнедые рыбки сказали?! – воскликнул кот.

– Сказали. Вы не слышали? – удивилась Жемчужная.

– Не слышали. Но я тоже вспомнил одного гения, – широко улыбнулся кот, показав свои совсем не острые зубы.

– Он живой? – спросила драцена.

– Конечно! Но памятник на его могиле скромный. Всего одна надпись.

– Шутник! Мой гений сейчас живой. Сидит дома и не выходит, своим поведением вызывая презрение и гнев папарацци, – сообщила Жемчужная.

– Я не шучу. Смерть тела и наличие надгробной плиты не делают человека мёртвым, – возразил ей кот.

– А что делает? – удивилась она.

– Ничего. . .

Бабочка вспорхнула с листа драцены и, будто в замедленной съёмке, полетела. За ней поплыли красновато-рыжие рыбки.

– Куда они направились? – удивилась драцена.

– К зеркалу. К нему сегодня паломничество, – буркнул кот.

– И ты сходи, – участливо посоветовала она.

– Зеркало отражает факт существования, но не избавляет от сомнений, – ответил кот.

– Вы в чём-то сомневаетесь, кошакус? – поинтересовалась скалярня.

– В реальности происходящего. . .

5.

Красновато-рыжие рыбки облепили зеркальную поверхность, меняя свой цвет. Со стороны казалось, они растаяли в воздухе, но рыбки превратились в зеркало, не обычное, вогнутое, причудливо отражая интерьер комнаты и собравшихся. Не отражалась лишь Калиго Мемнон. Она сидела на зеркальной поверхности, и на её тёмно-синих крылышках отчётливо проступали глаза, похожие на совиные.

– Зрелище не для моей слабой психики, – прошептала Жемчужная.

– Реальность запутана абсурдом, – утвердительно кивнул кот.

– Говорящие коты, бабочки, рыбки. . . не понимаю, зачем мы здесь? – произнесла драцена. В её голосе слышался страх.

– А говорящее дерево тебя не смущает? – поинтересовался кот.

– Я вообще не понимаю, откуда ко мне приходят мысли, и почему знаю, например, о пиратах, – сообщила драцена, чуть не плача.

– А я – о математическом гении, – подала голос Жемчужная.

– А я забыл – как думать по-кошачьи. Если все мы одновременно свихнулись, заговорив по-человечьи, может, мы – не мы? – вслух размышлял кот.

– Особенно вы – немые, молчаливый вы наш, – ехидно хихикнула Жемчужная.



- Не мы. Пишется раздельно и обозначает, что мы не те, за кого себя думаем, то есть выдаём, – громко и внятно произнёс кот.
- А за кого мы себя думаем-выдаём? Лично мне известно наверняка: я – драконово дерево, – сообщила драцена.
- Откуда известно? Ну да... дерево... драконово. Очень болтливое, вспоминающее пирамиды на острове Маврикий, где ты никогда не была, – засмеялся кот. – Кстати, в пирамиде было тринадцать ступеней?
- Да, а что?
- Ничего. Мы все заражены вирусом, – сообщил кот со знанием дела.
- Это смертельно? – перепуганно воскликнула Жемчужная.
- Считай, ты уже не дерево. И я – не кот.
- Но я вижу себя деревом. С листвой, корнем, стволом. С горшком, наконец.
- С горшком! – фыркнул кот. – Такого добра у каждого человеческого младенца навалом. Это не значит, что младенец – дерево. Он даже не саженец.
- Не каждый младенец с горшком обладает корнем, стволом и листвой, – многозначительно сообщила драцена.
- Что значит «не каждый»? Покажите мне хотя бы одного младенца с листвой, – возмутилась Жемчужная.
- Если младенец имеет корни, он в будущем способен отрастить листву и ствол. В переносном смысле, конечно, – изрёк кот. – Эй, детка Мемнон, что скажешь в ответ на наш философичный бред?
- Бабочка покинула зеркало, и, облетев комнату, села в центре огромной картины-триптиха, изображающей голубя с голубкой на фоне абстрактного космоса.
- Любой младенец имеет корни, – сказала она.
- Её мелодичный голос заполнил пространство комнаты и, достигнув невыносимых в своём звучании высот, взорвал воздух. Зеркальное отражение триптиха лопнуло как мыльный пузырь, и голуби вылетели из зеркала. Но картина на стене комнаты не изменилась.
- Чем дальше, тем взрывоопасней, – воскликнул кот, с удивлением рассматривая птиц на картине. Тем временем голуби, покинув зеркало, опустились на пол и заворковали.
- Совсем как живые! – удивилась драцена.
- Они живые, – разглядывая птиц, произнесла Жемчужная.
- Сюжет тривиальный, не находите? Голуби, кот, бабочка, рыбы, дерево... знакомые персонажи из разных сказок. И зеркало... – пробормотал кот.
- Вас кто-то ограничивал в форме? – поинтересовалась у него бабочка.
- Не помню. Однако внешность кота мне импонирует больше всего. Не понимаю, почему внешность и мои воспоминания настолько разнятся. По идее – я должен вспоминать мартовские оргии на крыше с милыми кошечками. Но я помню Артура, этого странного, ворчливого человека и его чувства.
- Есть разница в том, чтобы помнить о чувствах и чувствовать, – проворковала голубка.
- Что ты знаешь о чувствах?! – возмутился кот. – Ты – зеркальный блеф, пернатое отражение действительности!
- А что ты знаешь об идеях? Ты – кошачий экскремент, в который однажды вступила нога мыслителя! – невозмутимо сообщил голубь, прикрывая крылом свою подругу.
- Правда? – ужаснулся кот, ничуть не обидевшись и оглядывая себя.
- Правда – жирная точка в твоей системе координат. У меня свои координаты, у Артура – свои.
- Он боялся смерти, хотя пришёл к выводу, что её нет. Это правда, – вздохнул кот.
- Ты боишься своих корней? – обратился голубь к драцене.
- У меня даже нет таких мыслей. Почему я должна бояться их? – удивилась она.
- Понимаешь, о чём я? – поинтересовался голубь у кота.
- О природе вещей?
- О корнях.
- При чём здесь корни, если мы говорим по-человечьи! – возмутился кот.
- Мы не говорим по-человечьи. Мы переводим информацию, которая есть в каждом из нас, с нашего внутреннего языка на человеческий, – ответил голубь.
- Глупость! У котиков, рыб, голубей и деревьев не может быть одного языка, тем более человеческого, – возразил кот.
- Конечно, нет. У каждого из нас свой внутренний язык. Но информация... Мы выбрали для её передачи приемлемый способ – человеческий, а язык – русский, – спокойным тоном сообщил голубь.
- Почему русский? – удивилась Жемчужная.
- Так было надо, – ответила голубка.
- Кому? – хором воскликнули драцена, кот и скалярия.
- Тому, кто моделирует. Но мог быть любой другой язык, – сказал голубь.
- Побожись, – потребовал кот.
- Истина не нуждается в авторитетах.
- Истину не найдёшь в магазине хозяйственных товаров, если не уверен, что она там есть, – проворчал кот. – Лично я хотел бы жить нормальной кошачьей жизнью, согласно своей природе. Но сейчас я не уверен, что это возможно!



— Осознавать — процесс болезненный, а сопереживать — порой невыносимый. День такой жизни покажется тебе вечной мукой. Не отчаивайся, для тебя скоро это закончится, и ты снова будешь тупо мурчать на солнышке, гоняться за голубями и брюхатить симпатичных кошечек, — произнёс голубь.

— А сколько мы уже мучаемся осознанием? В этой комнате нет часов, — воскликнул кот.

— Во всей квартире нет часов, — сообщила бабочка. — Но они отражаются в зеркале.

— Разве ты мучаешься? — удивилась Жемчужная.

— Меня мучает страх Артура, — кивнул кот, направляясь к зеркалу.

Рассматривая своё изображение, он поинтересовался:

— Куда запропастился коллективный разум?

От зеркала отделился маленький серебристый комочек и, ударившись о лоб кота, превратился в красновато-рыжую рыбку.

— Она хихикает! Я слышал! — возмущённо сообщил кот, размахивая лапами.

Рыбка прилипла к его лбу, меняя свой окрас на чёрный, но кот этого не заметил. Вглядываясь в зеркало, он воскликнул:

— Я вижу часовую механизм! Огромный, что-то среднее между лестницами Эшера и картиной Пикассо «Натюрморт».

— Ах, люблю смотреть на вкусные натюрморты! Яблоки, виноград... — пропищала скалярия, поспешив к зеркалу.

— Там другой натюрморт. С мерзопакостным черепом, — возразил кот.

— Это всего лишь твоё представление о времени, — невозмутимо произнёс голубь, поглаживая крылом свою подругу.

— Но при чём здесь Пикассо с Эшером? — удивилась драцена.

— Ни при чём. Кот известными ему символами объясняет страх, который он испытывает от созерцания мифических часов, — терпеливо пояснил голубь.

— Разве часы мифические? — воскликнул кот, глядясь в зеркало.

— В комнате нет часов. Они — всего лишь отражение моих слов, — ответила бабочка.

— Значит, ты врешь? — разочарованно произнёс кот.

— Нет. Не каждое слово может стать видимым мифом, но любой миф подвержен трансформации.

6.

Кот внимательно разглядывал призрачные фигуры, мелькавшие в зеркале. Он был сосредоточен и печален.

— Когда я внезапно осознаю себя (где бы то ни было), наступает экзальтация, будто я пришёл домой, проделав большой и трудный путь, и меня обнимают любящие родные, — начал он свой рассказ. — Затем наступает период самолюбования. Я понимаю исключительную ценность осознания, вижу отсутствие подобного качества у большинства людей и поэтому горжусь своими возможностями. Но вслед за этим приходят печаль и дурное настроение, вплоть до испорченного пищеварения. Я осознаю свою неспособность быть бесслепным и бессмысленно счастливым, не могу избавиться от постоянного, зудящего ощущения закабаления телом моего духа или... внутренней воли. Почему мне настолько важно оставаться в теле? Почему мне страшно с ним расставаться? Пытаюсь забыть эти мысли, переключаюсь на рефлекторное существование, но осознаю, что наблюдаю за рефлексам, более того, пытаюсь контролировать их, доводя до состояния максимального аскетизма. «Сумасшествие!», — думаю я, стараясь перейти в бессознательный режим — иду в ресторан, заказываю вкусную еду, флиртую с женщинами, завожу с ними интрижки, ругаюсь с коллегами. Чудовищно больно постоянно осознавать жизнь и себя! Он знает, — кивнул кот в сторону голубя. — Но мысли не оставляют меня. Они диктуют мне слова, предложения, трактаты, и я поддаюсь искушению, думая, что сам Святой Дух говорит во мне. Но чем больше думаю о земной жизни и человеческом феномене, тем сильнее сержусь на Силу, на эту субстанцию высшей воли, повергающую людей в страдание, заставляющую их мучиться. Во мне поднимается бунт против Того, Кто обладает такой силой. И тогда я отрицаю Его — доброго Бога. Ибо кому может принадлежать сила, заставляющая людей жить в таких страданиях, если не Злу? Я осознаю себя, наблюдая, как некая «вещь во мне» вылавливает из пространственно-временного континуума информацию. Нахожу ли я новое в этом ворохе человеческой мысли? Или вспоминаю известные моей сущности вечные идеи, о которых на время забыл? Мне импонирует иллюзия самостоятельного, независимого мышления, иногда кажется, что я наделён правом первосвященника. Но меня невыносимо угнетает ярмо смертника! Я вне себя от ярости, думая о смерти, о коротком существовании моего мира! Смерть чудовищна, особенно если умирает большой интеллект, не говоря уже о гении. Мыслитель — не животное. С последним погибает лишь ничтожно малый отпечаток его мира, с гением — Вселенная. Но мне всегда было жаль животных, — произнёс кот и замолчал, таяло дыша.

— Понятно, почему тебе их жаль. Ты сам — животное, — резонно заметила Жемчужная.

— Я? — удивился кот, оглядывая себя. — Ах, да. Я что-то говорил?

— О ярме смертника, — напомнила драцена.

Кот потёр лапой лоб:



– О ярме размышлял Артур. Не помню своей речи. Она была спонтанной.

– Странная у тебя память – выдал тираду и забыл. Ты хотя бы помнишь, кто такой Артур? – спросила Жемчужная.

Кот задумался, глядя на фиолетовые шторы. От движения мысли его морда стала почти человеческой:

– Его называли пессимистом, а он всю свою жизнь пытался найти формулу человеческого счастья, чтобы избавить себя, а заодно и всё человечество от страданий. Ему приписывали высочайшей степени эгоизм, и он подтверждал его своим поведением. Беспричинный страх, который он унаследовал от отца, мучил его с детства до самой смерти. Но он всей силой своей воли боролся с ним, пока не понял парадокс своей борьбы, заключавшийся в том, что он (Артур) борется не против страха, а против собственной воли к жизни, заставляющей его бежать от любого повода, способного привести к смерти. Он не был покорным, неуверенным в себе, тщательно скрывая чувство покинутости семьёй и целым миром. Но ему всегда не хватало родительской ласки. Было достаточно опеки и средств к существованию, а подлинной ласки и участия катастрофически не хватало. Он желал получить от мира всю его теплоту, но не находил её. Постоянное противоречие разъедало его сознание. С одной стороны – его безусловная воля к жизни, с другой – холодный, жестокий мир с единой движущей силой – инстинктом самосохранения. Для чего нужен этот инстинкт, если подлинные высшие ценности мало заботят людей, в своём большинстве предпочитающих суррогат в виде материального комфорта и бездумных развлечений? В отдельно взятом человеческом индивидууме может проявиться идея всеобщей любви и сострадания, но природе не интересны индивидуумы, она стремится к сохранению вида. Природу в отношении к одному существу можно сравнить с действующей властью в отношении к отдельно взятому гражданину. Любой народ, по сути – трансформер, внутри которого сидит управляющий мозг власти. Что мозговому центру маленькая деталь большого народного тела, если её всегда можно заменить другой? Главное – жизнеспособность самого трансформера не должна подвергаться опасности и сомнению, а для этого все средства хороши. Даже если с народом произойдут большие изменения, надо знать принцип его трансформации – от перепрограммирования или реформирования и до необратимых мутаций. Важно максимально долго сохранять народный трансформер в состоянии живучести, ибо без него невозможна жизнь его хозяев. Власть генерирует, контролирует, определяет инстинкт самосохранения трансформера. Поэтому у индивидуумов есть несколько вариантов пути – уход в идеи, важные для жизнеобеспечения трансформера; выход за пределы жизни, то есть смерть; или осознанная жизнь, обдумывание и воплощение идей, подчас далёких от сиюминутных задач своего народа и даже всего человеческого вида. Но на последнее способны считанные индивидуумы. Одиночество, изоляция от общества плохо сказываются на психике существ, запрограммированных природой на коллективное существование.

– Артур говорил о трансформерах? – удивилась Жемчужная.

– О них говорю я, – ответил кот. Помолчав немного, он нерешительно добавил:

– Наверное, я. Артур живет в XIX веке.

– Чему тут удивляться? Информация как запах. Каждый осознанный нюхач рассказывает о ней на доступных примерах, – сказал голубь.

– Интересно, какие запахи чувствуют аутисты? – подумала вслух драцена.

Голубка вспорхнула с пола и села на деревце.

– Однажды я попала в поле мысли десятилетнего саванта. Он был аутистом, – сказала она. – В него быстро вливалась любая информация. Ум ребёнка как гончий пёс, шёл по её запаху. Когда мальчик читал книги, он был похож на чёрную дыру, поглощавшую очередную вселенную. В нём рождались и умирали миры, в нём сталкивались галактики, перекраивая устоявшийся порядок. Но об этом никто не знал. Все считали его умственно отсталым, и он не разубеждал их, хотя знал будущее не только родителей и старшей сестры, но и всего человечества.

– Я тоже говорю меньше, чем знаю, – сообщил кот. – Зачем растрчивать энергию, если хватает примитивного перечня информации – эдакого супового набора словесных символов для коммуникативного общепита. Кому нужны нюансы и детали моего восприятия, мои индивидуальные аналогии и сравнения, всплески моего осознания, если каждый таит в себе свои нюансы, пусть даже и не подозревает о них в силу своей ограниченности или воспитания? О чём молчал Артур, когда путешествовал с родителями по Европе? Он писал в своем дневнике о «свинцовом подвале» Бремена, о неразложившихся мумиях с пергаментной кожей, но ни одного слова не вымолвил о мумифицированном теле кровельщика, свалившегося с башни и ставшего первым экспонатом подвала. Разве в его дневнике осталась запись: «Быть похороненным в святыне – значит, не стыдиться формы своего черепа»? Разве он написал, как мысленно представлял себя падающим с крыши одного из соборов, чтобы затем упокоиться в Божьей Славе? А тлетворный запах болота Вестфалии, куда завёз их кучер? Артур не доверил дневнику запись о том отращивании, с которым он рассматривал болотную жижу, вобравшую в себя повозку, и о своём нежелании есть паштет. Но родители требовали этого, и он ел, с трудом подавляя в себе рвотный рефлекс, глядя, как отец и мать поглощают еду, с удовольствием запивая её вином. Мерзкий болотный дух вперемишку с ароматами французских вин и паштета! Разве это противоречивое амбре не преследовало Артура, когда в Виндзорском парке он увидел похожих на простых бюргеров английских короля и королеву, или наблюдал в Вене выезд австрийского императора с супругой, или лицезрел в парижском театре самого Наполеона? Помню ужас в душе Артура, когда перед его глазами возникли шесть тысяч каторж-



ников, прикованных к стене в Тулонской крепости. Разве он написал в дневнике, как на себе прочувствовал невероятное страдание, которое причиняли друг другу каторжники своими неловкими действиями? Кто слышал его молчаливую молитву: «Великий Дух, пусть эти люди, если не в силу своего смирения или доброго характера, то хотя бы из стремления уменьшить свою боль и страдания, научатся согласовывать свои действия друг с другом!». Он не написал её в дневнике, но бронзовая, покрытая чёрным лаком статуя Будды в его квартире слышала многие тайные молитвы Артура.

О чём он думал, вспоминая через много лет ввевшуюся в его память картинку с каторжниками? О своём нежелании быть в связке с другими? Если ты не раб на галерах, а находишься в иллюзии свободы, кажется, что ты никому не мешаешь, особенно если не берёшь ответственность за чью-либо жизнь. Артур не умел обременять себя ответственностью, даже когда его родная сестра нуждалась в его спасительной опеке. Он не был Спасителем. Артур родился, чтобы философствовать. Однажды он осознал: любое действие, направленное на измену своей внутренней сути, не способно устранить саму возможность реализовать свой характер и свою судьбу. Его страшил необходимость сострадания, как неоспоримый долг. Несмотря на признание им сострадания одной из самых важных человеческих добродетелей, он не мог заставить себя сострадать долго. Ибо тогда необходимо что-то делать, а действовать — не удел философа. Поэтому он вынужденно терпел одиночество, хотя со стороны казалось: жизнь старого холостяка — самая радостная часть его существования. Мало кто знал о его подлинном страхе перед военной службой, перед смертельными болезнями, о боязни умереть от отравленного нюхательного табака. Кто знал, что творилось в его голове ночами, когда при малейшем шуме он вскакивал с постели, хватаясь за шпагу или ружьё, которые всегда были под его рукой? Он был человеком — умным, наблюдательным, боявшимся тяжёлой и болезненной кончины, но умершим быстрой и лёгкой смертью. Он был человеком, знавшим свои слабости и страхи, но путем умпредставления уверовавшим в бессмертие жизни. Другие знали его как великого мыслителя и философа... — почти торжественно закончил свой рассказ кот.

В комнате повисла тишина, и только Жемчужная, вильнув хвостом, близко подплыла к нему и спросила:

- Не понимаю, почему мы всё время говорим о смерти?
- Разговаривать о смерти — это говорить о жизни, — еле слышно произнесла бабочка.
- А мне интересно, что у Артура было написано на надгробном камне? — спросила драцена.
- Там было написано — Артур Шопенгауэр.
- И всё?
- Зачем ему ещё что-то?

7.

Красновато-рыжие рыбки быстро отделились от зеркала, засуетившись, будто их испугали.

— От гнедого мельтешения у меня потемнело в глазах, — прикрывая морду, сообщил кот.

Внезапно в воздухе прозвучала серия хлопков, похожих на автоматную очередь, и рыбок стало в несколько раз больше, чем было.

— Они размножаются, или клонируются? — удивилась Жемчужная.

— Они создают живую волну, — ответила Калиго Мемнон.

— Разве только коллективный разум способен создавать волну? — съехидничал кот.

— Мне надоело в этом участвовать! Хочу знать, что происходит! — возмутилась драцена.

— Ничего особенного — завершение очередного мифа, — ответил голубь.

— Какое отношение миф имеет к нам? — удивилась скалярия.

— Мы — всего лишь созерцатели идей. И сами являемся идеями, — проворковали в унисон голуби.

— Осторожно! Вы шествуете по мифу, — сказала бабочка тоном водителя троллейбуса, объявляющего, что посадка закончена.

— Давайте разберёмся! — решительно произнёс кот, не обращая внимания на её слова. — С чего всё началось?

— С фиолетовой шторы? — неуверенно произнесла скалярия.

— С гнедых рыбок? — пыталась вспомнить драцена. — Мы с тобой ещё поссорились по поводу их цвета, — сказала она, обращаясь к коту.

— Нет! Всё началось с неё — Калиго Мемнон. Она внезапно ожила, потом рассказала историю о Мануэле, и вслед за ней все стали вспоминать... — крикнул кот.

В этот момент в воздухе снова захлопало.

— Что происходит? — воскликнула Жемчужная, испуганно прижавшись к драцене.

— Успокойся, это не в квартире, — ответила Калиго Мемнон, вспорхнув в сторону окна.

Вслед за её голосом послышался звук ключа, открывающего входную дверь и...

В квартиру вошли две женщины.

— Не могу поверить, — сказала светловолосая с короткой стрижкой, пряча ключи в карман куртки.

— Танюш, я в шоке, — снимая кожаное пальто, сообщала её рослая спутница. — Надо же, в какой день выбралась к тебе из Каховки... Мой муж говорит: Туля, ты вечно попадаешь в истории.

— Не ты одна, Светуль. Сейчас весь район попал.



Оставив сумки в прихожей, женщины направились в кухню. Таня включила электрический чайник и, открыв холодильник, принялась доставать продукты.

– Колбасу будешь? А брынзу?

– Всё буду. Я с дороги голодная. Пока чайник нагреется, можно посмотреть комнату Артёмки? – спросила Света.

– Конечно...

– Люблю запах свежесоконченного ремонта, – сообщила Света. – Очень симпатичные обои, светлые. И полы... – тихо сказала она, подойдя к стеллажу с иконами, фотографиями и детскими игрушками.

– После его смерти не могла находиться в этой комнате. Любая вещь напоминала... Ну, понимаешь... Сменила всё, даже мебель. Сделала рабочий кабинет. Теперь много времени провожу здесь. И фотографии сынули рядом.

– А где рыбки?

– В гостиной. Тёма всегда хотел большой аквариум.

– Вау, какая роскошная драцена! – воскликнула Света, заходя в гостиную.

– Да, разрослась. Очень неприхотливая и благодарная, – улыбнулась Таня, поглаживая длинные листья дерева.

– А картина не слишком мрачная? – глядя на триптих с голубями, спросила Света. – Почти чёрный фон не спасают даже намёки на свет.

– Теперь мне многое не кажется мрачным в сравнении со смертью ребёнка...

– Забавные рыбки... неоны. Как называются остальные? – чтобы сменить тему разговора, поинтересовалась Света, рассматривая обитателей аквариума.

– Те поменьше – разбора. Полосатики – боции-клоуны. И большая – скалярия.

– Пузатая скалярия!

– Жемчужная, – усмехнулась Таня. – С рыбками постоянно происходят странности. Сначала из аквариума исчезли боции, но через неделю вернулись. Теперь исчезли пять разбор. Неонов почему-то стало больше. И я подумала: а не перешла ли разбора из своей малочисленной партии в партию неонов?

– Ты всегда была фантазёркой! – рассмеялась Света.

– Это не фангазия, а суровая правда жизни. Идём пить чай, подруга, – улыбнулась Таня.

Пока она раскладывала бутерброды на тарелки и разливала по чашкам чай, послышались короткие автоматные очереди.

– Ужас! Совсем рядом! – воскликнула Света, поспешив к окну. – Тань, на том доме снайперы! – сообщила она, округлив глаза.

– Трудно поверить собственным глазам, – кивнула Таня, рассматривая движущиеся по крыше фигурки. – Валерчику позвоню, он рядом с «Мирным» живёт, – сказала она, взяв мобильный телефон.

– Мирный... Какой же он мирный, – вздохнула Света.

– Дом отдыха, – уточнила Таня, набирая номер. – Валер? Да, я... Ничего, спасибо. Что там у вас?.. Рядом?.. Понятно... Побереги себя, не выходи из дома. Я – в порядке... Не волнуйся, у меня всё нормально. Обнимаю. Маме привет.

– Что? – нетерпеливо спросила Света.

– Военные, милиция, спецподразделения... Настоящая война – на фоне большого количества зевак, – сообщила Таня, прислушиваясь к звукам с улицы.

– Затихли, вроде бы?

– Вроде... А кто такой Валерчик?

– Друг Артёма.

– Я его знаю?

– Он на похоронах хотел поднять Артёма из гроба – тормозил его.

– А... он... помню. Ужасно... Было невозможно смотреть. Сколько ему лет?

– Двадцать четыре. Иногда жить невозможно, не то что – смотреть.

Света замялась, будто хотела что-то спросить, но не решалась, и все же задала вопрос:

– Тань, прости, если я бестактно, но... как ты живёшь всё это время? Часто думаю об этом.

Таня помолчала, глядя в окно.

– Скоро будет год, как нет сынули. Третьего декабря... Не чувствую времени. Оно длится словно одни сутки... Всего лишь меняются события, времена года, день-ночь, – сказала она печально, но потом оживилась. – Мне Тёма снится. Весёлый, деятельный, реальный! Притронешься, обнимешь – он живой. Запах его. Артём мне говорит: «Мама, я – жив». Однажды сказал: «Я – спасён и мне там хорошо». Он всем друзьям говорит во сне, что жив, просит, чтобы не плакали. Они мне потом звонят и рассказывают. Радуются! Недавно Машенька, жена его друга – Андрея, рассказала свой сон. Будто она идёт по улице, а навстречу ей Артём с тремя ребятами. И в эту минуту она вспоминает, что он умер. Остановилась и думает: «Если приснился Артём, наверное, что-то должно случиться?» Артём притормозил, внимательно посмотрев на неё, вдруг резко поднял руки и говорит: «У-у-у-у, я – страшный монстр. Живые мертвецы восстали!» Маша смотрит на него и видит – он улыбается. Она поняла – шутит. Он был большой шутник. Артём и говорит ей: «Если я или кто-то из нас снится вам, это не значит, что обязательно должно произойти плохое. Это не так! У тебя всё будет хорошо, Маша!»

– Ничего себе сон! – удивилась Света.



– Да... сны – загадка. Мне... тоже сон приснился. Сегодня ночью.

– Не пугай меня...

– Сама вчера вечером испугалась...

– Во сне?

– Наяву.

– А сон?

– Сон был потом. Сначала я смотрела фильм в Артёмкиной комнате. Простенькую мелодраму. Думала о Тёмке. Кажется, я всегда о нём думаю, что бы ни делала, даже когда сплю. Вдруг вижу – в комнате появилось свечение. Оно вошло из окна и обрело очертания. Выделялась голова. Очень высокая фигура, словно в плаще с капюшоном, но лица не видно. Яркая фигура, будто солнце светит. Или шаровая молния. Глазам больно.

– Как ты себя чувствовала накануне? Голова не болела? – испуганно воскликнула Света.

– Нет. Никаких резких болей, ничего особенного. Но я сразу подумала об инсульте или спазме сосудов. И главное – в комнате появился сильный запах озона. Я чуток запаниковала и поспешила в спальню. Светящаяся фигура поначалу осталась в Тёмкиной комнате, но когда я легла на кровать, она вошла в спальню, подошла ко мне и наклонилась. Вот тут я испугалась по-настоящему! Капец, думаю. Зажмурила глаза, а когда открыла – никого.

– Сходи к неврологу. Анализы сдать, снимки сосудов сделать, – забеспокоилась Света.

– Чего уж там. Сразу к психиатру. Сон рассказать, – усмехнулась Таня.

– Сначала мне расскажи, – рассмеялась Света.

– Расскажу, но по порядку. Светящаяся фигура исчезла, а я немного успокоилась. Лежала на кровати и мысленно сочиняла сказку для Артёма. Он любил сказки, особенно абсурдные.

– В детстве?

– Не только. Его друзьям не могло прийти в голову, что Артём частенько просил меня рассказать на ночь сказку и молитвы. Ребята называли его настоящим пацаном и не считали маменькиным сынком. Говорили: Аба (они его так называли) никогда не давал заднюю, шёл напролом, дрался яростно, пока «враги» не разбежались, в милиции никого не сдавал. У пацанов такое выражение есть «не напорол боков»...

– Помню, ребята на поминках всё время повторяли эту фразу, говоря об Артёме, – тихо сказала Света.

– Да... они говорили: ни разу не напорол боков... Он друзей любил, ради них готов был бежать хоть на край света. Все их беды близко к сердцу принимал. Но с агрессивными чужаками был жёстким, а с милицией – слишком дерзким. И дома... бывало всякое... Но любил он сказки слушать. Иногда, когда сильно уставал, отключит мобильник... ему больше тридцати звонков за вечер приходило... а он отключит и просит меня рассказать сказку, пока не заснёт. И я рассказывала. Порой просил дольше читать над ним молитвы. И я читала... Вот и вчера – молитву прочитала и стала сочинять ему сказку. Закрала спальная мысль: вдруг светящаяся фигура – это Артём? Закрала глаза и попыталась придумать сюжет – о рыбах, голубях, о моей драцене, даже о чёрном дворежном коте... Почему-то ничего не могла придумать о людях. Хотя мелькали мысли, но... далёкие... будто наведённые... Внезапно вижу на внутреннем экране фигуру, похожую на бабочку, которая говорит: «Меня зовут Калиго Мемнон...» и...

– И что?

– Заснула, наверно. Потому что дальше звучит совсем фантастично.

8.

За окном снова послышались автоматные очереди.

– Столько времени стреляют! Когда это закончится? – Света подскочила со стула и выглянула в окно.

– Сегодня... Кто-то умрёт и закончится... Бабочка сказала: каждый миг фиксируется любым предметом, растением, животным, не говоря уже о человеке. Это является вещественно-информационным доказательством события. Поэтому нет возможности скрыть Истину от самых главных Глаз.

– Ты сама веришь в эту бабочку?

Таня пожала плечами.

– Верю-не верю – не имеет значения. Сон был реальным, хоть и фантастическим. С запахами. Разноцветный и даже многомерный. Психиатр наверняка вынес бы приблизительно такой вердикт: шизофрения, развившаяся на фоне сильнейшего стресса.

– Психиатр может, – хмыкнула Света.

– Ага. Если копнёт немножко и параною найдёт. Потому что главная идея бабочки: каждый наш шаг фиксируется, чтобы сокрытое стремилось к проявлению, а проявленное не осталось незамеченным, – улыбнулась Таня.

Света внимательно посмотрела на подругу в надежде, что та шутит. Но увидев её невозмутимое лицо, рассмеялась:

– Тебя не спрашивали, какие наркотики ты принимаешь?

– Спрашивали. Некоторые не верят, что я даже обычные сигареты не курю, – с улыбкой ответила Таня.

– Да ты что! Когда бросила?! Я столько лет курю и никак...



- И я – с институтской скамьи. Ты же знаешь.
- Но как бросила?!
- Туля, эта история тоже выглядит «психически нездоровой», – усмехнулась Таня.
- Теперь мне совсем страшно, – хмыкнула Света. – Не томи!

Таня помолчала, собираясь с мыслями. Налив в чашки ещё чаю, она рассказала:

– После смерти Артёмки наступил страшный период. Всю меня на клочки раздирала душевная боль. Врагу не пожелаю потерять ребёнка... Ощущение – будто живёшь в вечном аду, страдаешь, а выхода нет. Курила больше пачки в день. Всё время думала: зачем мой ребёнок умер в двадцать один год от острой сердечной недостаточности? Чего я не сделала? Что могла бы сделать? Как можно было его спасти? В чём моя вина? Или его? Или... чья вина?! Как дальше жить? Тоску не выразить словами. Понять это может только мать, потерявшая ребёнка. Но... пусть будет меньше матерей, понимающих меня в этом. Да... было невыносимо. Не могла даже молитвы читать. Но однажды утром вдруг вспомнила одну коротенькую – Иисусову молитву. И стала просить... не за себя – за душу Артёма. Иду на работу – мысленно молюсь: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и помилуй душу сына моего Артёма Абалешкина», на работе – молюсь, возвращаюсь домой – молюсь. Даже во сне молилась. Боль потихоньку стала отступать. Появились небольшие периоды относительного спокойствия. Как-то рассказала это приятельнице, она непроизвольноотреагировала: «Я бы с ума сошла, если бы всё время повторяла одно и то же!» Было трудно объяснить ей, что если бы я не повторяла молитву, то наверняка сошла бы с ума от горя... В начале мая мы с Ирой Малиновской решили устроить себе паломничество и отправились на несколько дней в Киев – в Китаеву Пустынь, Выдубицкий и Введенский монастыри, Киево-Печерскую лавру. В Лавре были в дальних и ближних пещерах, приложились к Святым Мощам. Я мысленно просила всех Святых лишь об одном – помочь душе Артёма. Приехали домой, я снова окунулась в привычную суету с перекурами. Двадцать первого мая пришла ко мне в гости знакомая, мы общались, как обычно курили за чашкой кофе, она ушла, а в моей голове снова включилась молитва об Артёме. И вдруг слышу... не знаю, то ли голос, или громкая, внятная мысль, но слышу: «Ты много молишься об Артёме, ему это помогает. Но хочешь ли ты помочь ему ещё больше?» – «Конечно, хочу», – от неожиданности я ответила быстро и вслух. «Прекрати курить. Это будет твоя жертва ради Артёма», – сказал кто-то. Сначала моя мысль была такой: «Я слышу голоса. У меня съехала крыша...» Потом поняла, что не моё предполагаемое сумасшествие ввергло меня в большую растерянность, а сказанное. Хотела ли я совсем бросить курить? До смерти Артёма такие мысли иногда возникали, но после – нет. Ради кого мне сейчас жить здоровой, некурящей жизнью? Ради себя? Зачем продлевать тягостное существование, если мой сын Там, за пределами этой жизни? Лучше напрямик к нему. Неважно, от какой болезни... Я замешкалась с ответом. А голос опять прозвучал: «Или такая жертва ради сына слишком велика?» Спросили спокойно, без тени раздражения, не грозно или уничижительно, даже по-доброму, но меня буквально накрыло этой фразой. С той минуты не курю. Моя знакомая, она сейчас инокиня в одном из женских монастырей, предположила, что это мог быть голос Ангела-Хранителя.

– Тань, а тянуло к сигаретам? – Света с интересом слушала рассказ.

– Несколько дней – да. Но вдруг заметила, что привычка курить не просто въелась в мою жизнь. Она как бы определяла моё существование на рефлекторном уровне, диктовала условия. Эмоционально говорю или переживаю? – надо покурить. Нечем заполнить жизненную пустоту? – есть сигарета. Тошно курить одной? – позвать кого-то, с кем можно покурить – пусть даже человек мне не интересен, зато курит. Занимаюсь уборкой? – полпачки в час... На перекуры времени больше, чем на уборку. Облом работать? – на перекур... Чем больше на перекуре, тем обломистей работать... Тоскливо до одури? – задымить себя по самую макушку... Я поняла – моя привычка диктует мне стиль жизни, навязывает стереотипы действий, отвлекает от сосредоточения, чтения, музыки, делает ленивой или усугубляет лень до полной инертности, предлагает компании неинтересных, зато курящих людей, не осуждающих меня за курение. Я осознала, что забыла, когда жила другой, не такой вонючей жизнью. И знала ли я её?.. Может, у кого-то эта привычка иначе действует, но у меня было так...

– Н-да... Удивительная история! Неужто Ангел-Хранитель?.. – воскликнула Света.

– Не знаю... Он не представился. Но... вскоре мне приснился Артём и сказал, что он спасён и ему там хорошо... Сон яркий, реальный. Мы стояли с ним на большом мосту, Тёмочка одет во всё светлое, а вокруг много молодых ребят. Девочек не было – одни мальчики. Ребята большой толпой переходили мост – в обе стороны. Одеты по-разному. Здоровались друг с другом, стояли на мосту, переговаривались, кто-то смеялся, кого-то успокаивали, похлопывая по плечу. Артём сказал, что теперь часто бывает среди своих друзей. Дескать, когда у них возникают большие проблемы, они его зовут, просят помочь, и он приходит. Сказал, на кладбище его нет. Я почему-то восприняла слова сына буквально, спросив, кого же мы похоронили, и настоятельно сообщила, что надо оформить ему паспорт и прописку. Он помолчал, обнял меня, сказав, что за его могилкой, конечно, надо ухаживать, а паспорт ему не нужен. «Я обязательно найду способ связаться с тобой. Или сам приду», – сказал он напоследок и пошёл через мост, вслед за ребятами. Скептики, наверняка, скажут: самовнушение. Но... какая разница, что скажут скептики? Моё сердце подсказывает иное.

Таня замолчала, глядя куда-то перед собой. Её лицо было спокойным.

– Да... в своё время мы все узнаем правду о смерти... – задумчиво произнесла Света, глядя в окно. – У вас очень хороший двор. Уютный. А бабочка? Какая она?

– Не знаю, бабочка ли... Существо, похоже на неё, но... не совсем. Крылья, будто тонкие светящи-



еся линии, образуют восьмиконечную звезду, в виде двух слегка видоизмененных квадратов, наложенных друг на друга. Внутри звезды видна фигура. Цвет феномена – тёмно-синий, с пронизывающими насквозь золотистыми лучами. Роста – выше человеческого.

9.

В комнате раздался телефонный звонок.

– Прикольный звук! Я думала – птички поют, – рассмеялась Света.

– Ага, соловьи. Специально выбирала, – кивнула Таня. – Алё? Да, папуль. У нас – слышно. Снайперы на крыше. Что? Ничего себе! Нет, мы не выходим. Собирались со Светой на Соборку, Дерibasовскую, но... позже пойдём, или завтра... Хорошо. Пока...

Положив телефонную трубку на кухонный стол, Таня сказала:

– Родители тебе привет передают.

– Спасибо. Что говорит папа?

– Сказал, мимо их дома проехал бронетранспортёр.

– Кошмар... Не верится.

– А ещё: люди, живущие в пятнадцатизэтажке, стоят на балконах с биноклями и фотиками... И возле «Мирного» огромная толпа.

– Не понимаю, зачем все идут смотреть на это? – воскликнула Света.

Таня встала с диванчика и подошла к холодильнику.

– Хочешь вина? У меня полбутылки «Саперави».

– Вроде не хочу... но буду.

Наливая вино в фужеры, Таня сказала:

– Вот так и люди – вроде не хотят, но смотрят. Чужая смерть притягивает бессознательно, как неизбежное будущее.

– Не понимаю, неужели людям не хватает других зрелищ?

– Это существо сказало: для людей нет большего зрелища, чем вид чьей-то смерти. Они подсознательно стремятся увидеть, как это происходит.

– Какое существо?

– Ну... Калиго Мемнон. Я даже не знаю, это она или он. Пусть будет она.

– Расскажи о ней, а то не договоришь никак, – попросила Света.

– Она сказала: всё происходит вовремя, но с задержкой на несколько секунд. Последние мгновения любого события удлинняются, и можно изменить его ход. Если бы люди научились наблюдать за происходящим, не раздражаясь, не паникуя, без нетерпения – они бы поняли суть последовательности событий, вытекающих из общей идеи о них. Люди могли бы приблизиться к более гармоничным, совершенным событиям...

– Не понимаю, что это значит?

– Я задала ей тот же вопрос. Она сказала: не надо торопиться и действовать вопреки главной идее о себе... Тут я окончательно запуталась – откуда мне знать наверняка – какая идея главная? И тогда мне показали... сон.

...Это был некрутой подъём в гору. Мы шли с Калиго Мемнон, и я чувствовала на себе дуновение ветра. Яркое светило солнце, и погода казалась приветливой, а воздух чистым, с тонким сладковатым запахом, давно знакомым мне. Мы поднялись на вершину горы, где за большими столами, накрытыми белыми скатертями, сидело множество людей. Они обрадовались нашему приходу, угощая фруктами. Давно забытый вкус! Я взглянула вниз с горы и увидела идеально круглой формы синее глубокое озеро. Повернулась к людям, чтобы спросить его название, но, увидев, что у них нет теней, не решилась.

– Полдень. Пора в путь, – послышался голос бабочки.

Мы очень быстро переместились в тёмное, пустое селение, но в момент этого перехода я ощущала его парадоксальную длительность. Возможно, дело не в тысячах километров, на которые мы якобы переместились, а во времени, через которое прошли. Там была вязкая атмосфера... В детстве я испытывала подобное ощущение, всякий раз, когда бежала и падала. До семи лет мои колени и локти регулярно лечили зелёной, и всё потому, что моя внутренняя суть помнила, насколько быстро я умею бегать – намного быстрее, чем летит птица. Но физическое тело демонстрировало обратное, а вязкость земного воздуха заплетала мои ноги. Я бегала быстрее многих моих сверстников, но не так, как помнило что-то внутри меня. Это несоответствие удивляло, и однажды пришлось смириться с преобладанием физических законов Земли над моим представлением о собственной скорости перемещения...

...Заброшенное селение, в которое переместились мы с Калиго Мемнон, вызывало лёгкую дрожь. Страх отчетливо проявился во мне, когда мы вошли в большой квадратный внутренний двор. Там стояли деревянные, грубо сбитые лавки, а в середине двора был нарисован круг. Я вошла в него, и в тот же миг лавки заполнились тёмными фигурами. Это были те же самые люди – с горы, но похожие на собственные тени. Возле их ног бегал маленький чёрный пёс с крупным металлическим когтем. Они молчали. Поддавшись внутреннему порыву, я стала просить у них прощения.

– Простите меня, – шептала им, поворачиваясь всякий раз в строгом соответствии со сторонами света и склоняя голову.

Они встали, торжественно кивнули, промолвив в ответ: и ты прости нас. И... исчезли, а мы с бабочкой переместились к стенам неизвестного мне здания музея. К нему вела мраморная лестница. Ничем не примечательный музей — так мне показалось сначала. Но Калиго Мемнон предложила спуститься вниз — в подвал. Там меня ждал сюрприз — помимо красивых ваз, кувшинов, древней посуды, оружия и многочисленных бронзовых, серебряных, золотых и глиняных фигурок — больших размеров саркофаг. Мемнон с лёгкостью открыла его, сказав:

— Ложись.

Я легла в саркофаг, и за мной бесшумно закрылась крышка.

...Поначалу пришлось привыкать к темноте, но страшно не было. Калиго Мемнон мысленно разговаривала со мной, хотя саму её я не видела.

— Те люди, что за столом на горе — ваши истинные сущности, красивые, совершенные и бессмертные. В селении ты видела их земную ипостась, их бледное отражение, — рассказывала она.

— Но почему я извинялась перед ними, а они — передо мной?

— На Земле все друг другу причиняют страдания. Действием, словом, мыслью. Вы все виноваты друг перед другом, но многие даже не подозревают об этом.

— Странно... Люди — это тени... Я думала наоборот: люди — реальность, а наши души после смерти — фантомы, тени в царстве мёртвых, — мысленно ответила я.

— Люди — материализованные сущности Великой Идеи, и в силу грубых вибраций далеки от совершенства, а поэтому похожи на тени. Реальность... Оптический обман зрения давно доказан вашими учёными, но вы всё ещё пытаетесь называть реальностью то, что таковым не является.

— Я думала, наш мозг получает от сетчатки глаза информацию, наделяя её смыслом. Думала — мозг и являет нам реальность... .

— Ты действительно знаешь, где твой мозг находится?

— В моей голове.

— Ты в этом уверена?

— Ну... меньше всего мне хотелось бы думать, что мой мозг находится не в моей голове.

— А если он не твой мозг, или вообще не мозг?

— Рисуетесь весьма волнующая и не совсем приятная картинка. Скажи, зачем я в саркофаге?

Калиго Мемнон не ответила, но во тьме проступили три световых пучка — размытый жёлтый свет, слишком яркий — белый плазменный, и глубокий синий. Подумав немного, я выбрала последний и... вдруг поняла, что теперь не лежу в саркофаге, а стою перед столбом синего света. Помедлив немного, вошла в него и в ту же секунду осознала себя американкой, женщиной-полицейским на просёлочной дороге. Мы с напарником стреляли в кого-то, в следующий миг меня убили, но я не умерла — осознала себя индуской средних лет в сари из золотистого шёлка. Я ухаживала за тяжелобольными, но когда поднесла чашу с травяной жидкостью умирающему юноше, картинка изменилась. Я смотрела с борта отплывающего корабля на мрачный берег, осознавая себя английской учительницей, спасающейся вместе с другими соотечественниками от эпидемии чумы, захватившей одну из колоний. Картинки менялись быстро. Я была русской сестрой милосердия во время первой мировой войны и восточной травницей, которую забили камнями женщины в чёрных одеждах, старой шаманкой какого-то племени, вызывающей дождь во время длительной засухи и горожанкой, пришедшей в подземную церковь-пещеру, чтобы помолиться у распятия величиной с человеческий рост... .

Внезапно тональность видений изменилась. Более не осознавая себя человеком, я стала теннисным мячиком в руках маленького мальчика; огромным кварцевым кристаллом, сквозь который смотрели чьи-то глаза; чёрной пантерой, кормящей своих малышей; белой совой, прячущейся в листе дерева; большой птицей, парящей над заснеженной вершиной высокой горы, падающей под ноги многорукому существу с яркой точкой на лбу. Оно подняло меня, вернув телу человеческий облик, и приказало танцевать. Я танцевала с ним возле изящного, старинного фонтана на фоне полуразрушенного храма, и откуда-то знала замысловатые движения танца. На прощание многорукое существо подарило мне коричневый камень с глазом внутри. Камень превратился в дракона, ростом с небоскрёб, и я осознала себя во дворе древнего китайского дворца.

— Прыгай в мой глаз, — потребовал дракон.

Мне было страшно, но я прыгнула. Падала долго, но приземлилась на остров. Подняв голову, я увидела мощный вихрь, в центре которого открывалось величие космической иерархии. Я была точкой на острове — маленькой, никчёмной, но видела невероятно красивую архитектуру небесных сфер и существ, похожих на Калиго Мемнон. Я смотрела, не отрываясь, но вдруг осознала себя запертой в египетской статуе женщины в изумрудной одежде, помещённой под стекло в каком-то музее. Я глядела изнутри статуи на людей, глазеющих на меня и... стекло разбилось, рассыпавшись на мелкие кусочки. Я выпорхнула, какие-то люди пытались меня поймать, их лица были растерянными... Но я летела, летела, так быстро, насколько была способна. И... снова осознала себя женщиной в подземной церкви перед крестом-распятием. Голова распятого была опущена, тело будто из дерева... Но вот он медленно поднял голову, посмотрев перед собой, и я поняла — он живой! Наши глаза встретились и... что-то изменилось, будто его взгляд приблизил меня к себе, к своей душе, к той боли, которую он испытывал. Из моего горла вырвался крик. Я кричала от сострадания, осознав, что нахожусь в поле страдания, любви и сопереживания, в единении с Духом, в сопричастности к Вечности. Мне было чудовищно больно от чувств, переполнявших меня, казалось — ещё немного и сердце не выдержит... Кто-то взял меня в руки, велел



успокоиться, и стало понятно, что я снова не человек — нечто вроде шарика на длинной тонкой верёвке. Меня подбросили, и каждая моя клеточка ощутила радость полёта. Передо мной открывалось невероятное зрелище — яркое, золотисто-белое вращающееся пространство, источавшее приятный, знакомый мне цветочный аромат, который вилтелся в гармоничную музыку. Я спешила туда... спешила влететь внутрь этого мира, понимая: ещё чуть-чуть и буду дома, не на Земле, в моём настоящем доме, но... верёвка натянулась, и то, что было мной, с такой же скоростью помчалось в обратном направлении.

— Не бойся, но придётся узнать другую сторону жизни, — послышался голос Калиго Мемнон, и я упала в чёрное, плотное месиво.

Что собой представляет тот мир? Я не могла подняться из-за тел, наваленных на меня. Думала: мёртвые. Но они зашевелились. Оказалось, я нахожусь среди извивающихся, будто черви, людей, сложенных друг на друга, подобно брёвнам. Мы пытались подняться, но какая-то сила не давала даже приподнять голову, вдавливая весь клубок тел в твёрдое основание. Я ощутила себя не просто человеком, попавшим в невыносимые условия, а самим отчаянием. Мерзкий тлетворный запах этого мира проникал в каждый атом моего существа. Иногда виднелись далекие всполохи, похожие на мутный неоновый свет. Не знаю, сколько длилось это состояние, но в какой-то момент перестала чувствовать и... больше не находилась в этом страшном мире. Вокруг — чёрный безмолвный космос, а напротив меня — пульсирующий синий шар. Блестящий, живой... Я чувствовала его жизнь и созерцала... Не знаю, как долго созерцала, но он... вдруг открылся, превращаясь в книгу. На её страницах я увидела замысловатые иероглифы, в которых узнавала слова, хоть и не понимала их. Они были похожи на цветочные или геометрические узоры. Вся моя сущность устремилась к ним и, вспорхнув, словно бабочка к цветку, уместилась между буквами, так похожими на живые человеческие существа, среди которых находился мой сын. Я была совсем рядом с ним! Он улыбался, и всем своим существом я чувствовала его радость.

— Здесь каждая буква находится на своём месте. Даже если узор меняется, буквы и слова всегда занимают своё место. Так будет всегда, — услышала я голос Калиго Мемнон.

Мне хотелось ответить ей словами благодарности, но от полноты чувства не могла сформулировать мысль. Напрягая зрение, пыталась напоследок рассмотреть её, зная, что она покидает меня, но вместо бабочки увидела зелёную ветвь акации и...

Таня замолчала.

— И что было потом? — нетерпеливо спросила Света.

— Проснулась...

— Фантастика!.. Я будто фильм посмотрела.

— Пока смотрела сон, у меня было тройственное ощущение.

— Как это?

— Будто чувствую всё — запах, вкус, эмоции, переживания, душевные терзания, физические страдания. И в то же время мой ум отстранённо анализирует каждую деталь увиденного, формирует образы, различает их, понимает сказанное, формулирует. И одновременно я — наблюдатель. Созерцаю движение моих чувств, видения, образы, всю целиком картинку. Наблюдаю без мыслей, эмоций, без какого-либо отношения к происходящему. Наблюдаю, иногда переключаясь на чувства или работу ума.

— У меня тоже иногда бывает такое! — удивлённо воскликнула Света.

— Как сказала Калиго Мемнон: нет ничего, что было бы не узнаваемым при определённых стечениях обстоятельств.

... На улице раздалась длинные автоматные очереди. Женщины поспешили к окну, и в этот момент что-то взорвалось. Баб-бах! — звук ударился об оконные стёкла, заставив их дребезжать.

— Это что? — голос Светы задрожал.

Баб-бах! Баб-бах!

Автоматные очереди не прекращались. Баб-бах! — стреляли из гранатомётов... Баб-бах, баб-бах...

— Ну, вот... совсем скоро это закончится, — тихо произнесла Таня и вышла из кухни. Она направилась в спальню с фиолетовыми шторами, присела на кровать и, глядя на себя в зеркало, задумалась. Затем подошла к окну и прислушалась. На улице воцарилась тишина. Две минуты, пять, десять... тишина.

Женщина машинально вернулась к кровати и, взяв с тумбочки блокнот, открыла его, внимательно рассматривая записи.

— Что ты пишешь? — спросила Света, заходя в спальню.

— Я не пишу. Нашла набросок вчерашней сказки.

— И что там?

— Запах акации. Холст. Масло. Пустой подрамник.

НИКОЛАЙ СТОЛИЦЫН

НАПРАВЛЕНИЕ – ЛЕНИНГРАД кино-проза

1. Пролог

Раннее утро. Перрон заштатного городишки. На перроне торчит с маленьким чемоданчиком бло-кадник Павлуша. Поезд уже ушёл. Павлуша один.

– Приехали, товарищ Пересыпкин!

Павлуша бодрится, но ему ужасно неудобно. Всё для него чужое. И перрон, и – Павлуша чихает! – воздух. Всё. Кроме чемоданчика с надписью «Ленинград 39».

– Апчхи!

Павлуша сморкается. . . не в рукав, – в тряпицу. Павлуша – ленинградец, Павлуша – воспитанный.

– Будьте здоровы, товарищ Пересыпкин!

Где-то вдали ревёт уходящий поезд. . .

– Дела, товарищ Пересыпкин.

Павлуша вертит головою, пытаясь определиться.

Рёв доносится сразу отовсюду. . .

– Ну, черти! Завезли! Ничего, товарищ Пересыпкин, ничего! Разберёмся!

– А ты. . . – обращается Павлуша к поезду, что старается его запутать. – Брось! У товарища Пересып-кина по географии. . . что?

Поезд умолкает.

Павлуша спрыгивает на рельсы.

Чемоданчик, хотя и маленький, – оттягивает руку. Тяжёлый, сволочь! Павлуша открывает его, а в нем. . .

Рубашки с метками «Канский детдом», хлеб подсохший, книжки какие-то. . .

– Завезли. . .

И всё – чистое, и всё – с метками.

Павлуша закрывает чемоданчик и, размахнувшись, выбрасывает его к чёртовой матери.

– Так-то!

Отряхивается и шагает по рельсам. Без направления. Никуда.

И не замечает, что по соседнему пути идёт воспитатель.

Воспитатель погружён в себя, но идёт он туда же. . .

Никуда? К чёрту! Они идут навстречу сирене, предупреждающей Ленинград о предстоящей бом-бёжке. . .

2.

Павлуша – новенький. Ему – к врачу нужно. Для начала. Вот и торчит он под дверью, а с врачом воспитатель беседует.

Павлуша зевает. . .

Дверь кабинета приоткрывается. Из неё выходит воспитатель. Красный, как рак.

– Ну. . .

Грозит кабинету кулаком. Уходит.

Павлуша смотрит ему вслед, не торопясь заходить.

– Ну, Васька. . . Чёрт! С его лёгкими и на фронт? Шиш вам, а не фронт! Шиш!

Это кричит вслед воспитателю пожилой врач. И не только кричит, но и показывает. Шиш!

– Шиш!

Врач замечает Павлушу, щурится. Сквозь очки.

– Что у вас?

– Новенький.

– Вижу. . . И что?

– Ну. . .



– А ну, марш на занятия!
Павлуша смотрит на врача. Исподлобья.
– Зря вы так...
– Марш, говорю!
– Лёгкие... Да что лёгкие? Он бы и так, без них...
– Что-с?

Павлуша подхватывает чемоданчик, идёт к выходу. Останавливается.

– Он ведь там уже... Лёгкие, может, и здесь, а сам он... Там!

Павлуша выходит.

Врач снимает очки. Протирает их полою халата. У него необыкновенно уставшее лицо. А на левой руке не хватает трёх пальцев...

3.

Стучат все. Ложками. Стучат и чавкают. Да слаженно! Как по команде.

– Раз, два!

Павлуша стискивает зубы. Он боится. Ведь пропадет всё... если поверить.

Воспитатель похлопывает его по плечу.

– Это – завтрак, Павлуша. Ещё обед впереди.

Обед...

– Питаемся мы не очень...

Не очень? Это – каша, хлеба кусок и масло ещё?!

– Павлуша! Да что с тобою?

У воспитателя удивление на лице. А Павлуша молчит. О еде не говорят! Мало ли... Он просто молчит. И глотает слюну.

– Ах да, блокада...

И дети... все дети разом – перестают стучать ложками и, молча, передают Павлуше кусочки хлеба и масло... Разом. Все.

– Блокада!

Даже толстый Серёжа, – и тот передаёт. И щёки у него – ходуном...

– Блокада...

4.

– Тебя ведь Павлуша зовут?

Серёжа аж пританцовывает: эвакуированный же!

Павлуша молчит. Думает.

– Говорить не хочешь?

Серёжа не обижается: эвакуированный же!

– Знаешь... здесь я, наверное, Павлушей буду.

Серёжа вскидывает бровями: ну, эвакуированный!

– Ну, не товарищ Пересыпкин. Это уж точно! Как-то неловко: товарищ Пересыпкин и каша с маслом?! Не вяжется.

Серёжа открывает рот: ну...

– Нет. Не вяжется! Каша с маслом и... Так что – Павлуша.

– Значит, Павлуша?

– Значит, Павлуша...

Павлуша вздыхает.

– Павлуша...

Ухмыляется.

– Пока что!

5.

Павлуша у грузовика отирается.

– Полуторка... милая...

И ладошкой её. По капоту. Ласково.

– Милая...

Капот горячий. Молоко привезли. Из города аж! Павлуша к нему – щекою. И жму-у-урится. Счастли-ивый!

– Милая...

Серёжа увидел, – смеётся:

– Эх ты! В первый раз, что ли?

Глянул Павлуша. Не обиделся.



– Нас на таких... по Ладогe... А сверху – «мессерь»! А лёд...
 В капот вжался.
 – Тонкий! Так и уходили... Только круги над водою. А мы – доехали! На таком же!
 И опять гладит. Капот.
 И Серёжа погладил...
 Тёплый! Надёжный!
 – Полуторка...

6.

Воспитатель Павлушу за руку... Комнату показать. И чемоданчик Павлуши – в другой.
 Павлуша плетётся еле и всё по сторонам зыркает.
 – А убежище?
 И за руку дёрнул.
 – Что?
 – Убежище где?
 – Какое?
 – Ну, бомбёжка если... бежать куда?
 Остановились. Молчат.
 – Ты, Павлуша...
 Как ему объяснить? Про тыл? И что война – далеко? Очень далеко!
 А глаза у Павлуши... взрослые...
 – Павел Иванович! Убежище под кухнею. В подвале. Надёжное. Так что при бомбёжке – туда!
 – Ишь...
 Повеселел Павлуша.
 – Ишь! Под кухнею! Можно и хлеба перехватить. По дороге.
 Смеётся... Облизывается.

7.

В пустом классе Серёжа и Павлуша.
 Серёжа учит стихотворение. Пушкина. Про... няню. Прочитывает кусочек, откладывает книжку...
 – Буря мглою... мглою... буря...
 Вспоминает.
 И Павлуша вспоминает:
 – Короткий ход, энергия...
 – Мглою...
 Серёжа томится. Начинает изображать вьюгу.
 А Павлуша:
 – Короткий... энергия...
 Серёжа дует в страницы с нянею. Гу-у-удит.
 А Павлуша:
 – Ход, серьга, энергия...
 Павлуша смотрит на Серёжу. Забирает Пушкина. Поглаживает обложку. Декламирует. Влюблённым шёпотом.
 – Буря мглою небо кроет, – и так до конца.
 Серёжа аплодирует. Павлуша кивает. Возвращает Пушкина. И по новой:
 – Ход, энергия и калибр... ка-а-алибр... 7,62!
 Павлуша передёргивает воображаемый затвор.
 – Да, 7,62.

8.

Павлуша пишет диктант. Чернилами перемазался. С непривычки. Но пишет. Стара-а-ательно.
 – Осенняя пора.
 Павлуша откладывает перо. Любуется работою.
 – Лёгкие облака скользят... сколь-зят...
 Воспитатель диктует. Училка по русскому соплиями исходит. Потому и воспитатель.
 – По про-зра-чно-му, чис-то-му не-бу.
 Павлуша перестаёт писать.
 – Ты чего, Павлуша?
 – Враньё...
 – Что именно?
 – Облака враньё...



Класс перестаёт скрипеть перьями. Смотрит на Павлушу: ну, отчебучивает! Враньё!

– Небо, может, и чистое, но если и так, то не облака . . .

– А что?

– «Мессерь». Сотнями!

Павлуша комкает уже написанное. Сжимает комок в кулаке.

– И урчат . . . Пока вдалеке – забавно даже . . .

Павлуша урчит, – и кулак его обращается «мессером».

– Забавно . . . сначала, а потом . . .

Павлуша разжимает кулак, и бумажный комок летит вниз, к «земле».

Все вздрагивают . . .

– Вот вам и облака . . .

Преподаватель качает головой.

– «Мессерь» ненадолго, Павлуша, будут и облака . . . Будут! Лёгкие . . . настоящие, не из учебника . . .

Воспитатель подбирает комок, расправляет его.

Все улыбаются . . .

И Павлуша.

9.

Кабинет воспитателя.

Воспитатель разглядывает карту СССР. Делает на ней странные пометки. Карандашом. При этом распекает Павлушу.

– С занятий слинял. Раз. Чемоданчик . . .

Воспитатель ставит очередную пометку. Хмыкает.

Он не смотрит на Павлушу, он знает, что чемоданчик – при нём. «Ленинград 39».

– Ты ещё в душевую его . . . – Воспитатель сверяется с масштабами. – Так! Не сходится . . .

– А вы бы иначе, а? Через эту . . . как её? Грузовую! Короче так. И надёжнее.

Воспитатель оборачивается.

Павлуша тискает деревянную ручку чемоданчика. И молчит.

– Как?

– Грузовая. Развязка там. Транспортная. Не промахнётесь! Направление: Ленинград!

Воспитатель вздыхает . . .

– Ладно. Иди. Я – сам.

– Ладно. Иду.

Павлуша выходит.

Воспитатель возвращается к карте. Сверяется.

– Гру-зо-ва-я . . .

В дверях появляется Павлуша.

– Развязка там!

– Брысь!

Павлуша исчезает.

– Развязка?! И направление . . . Направление: Ленинград.

Воспитатель чертит на карте линию, которая упирается в Ленинград. Улыбается . . . Стирает линию ластиком. Потирает руки.

10.

На пороге спального корпуса.

– Лёгкие рвёте . . .

Павлуша спрашивает у воспитателя. Тот курит папиросу. Жадно затягивается . . . Заходится кашлем.

– Спи уже, а?

У воспитателя голос обиженного мальчишки.

– Не курили бы, а?

– Далась тебе . . . лёгкие мои . . . Я же тут, снаружи. В спальной и не пахнет.

Павлуша морщит нос . . .

– Вы не курите с неделю . . . и дышите, глубоко дышите! Вентилируйте, а? Лёгкие, а?

– Добрый какой . . .

– Кашель не пройдёт, а всё же поменьше . . .

Воспитатель затягивается . . .

– Они вас отпустят. Туда. Понимаете?

Павлуша говорит быстро-быстро. Торопится.

– Всего-то – неделя . . . ну, месяц, – и вы на фронте! Ну, чего вы . . . как маленький?

Воспитатель машинально выбрасывает тлеющий окурочок. Он даже перестаёт кашлять.

– Так, значит!



Воспитатель торопливо скрывается в корпuse.
 Павлуша подбирает окурок. Затыгивается.
 – Глупо же! Из-за каких-то папирос?!
 Появляется воспитатель. В руках у него – чемоданчик Павлуши.
 – Вещи твои у меня лежат. . . Ну, мать! Надумал, значит? Я тебе покажу лёгкие!
 Павлуша ухмыляется, выпускает дым в лицо воспитателю. Уходит в корпус.
 Воспитатель разгоняет дым, жуёт губами. Думает.
 – Ну. . .
 Достает пачку папирос, растирает её в труху.
 – Ну!
 И глубоко. . . глубоко дышит!

11.

Комната Павлуши.
 Павлуша пересчитывает оставшиеся от ужина-обеда кусочки хлеба.
 – Три, четыре. . .
 И Серёжа считает.
 – Четыре, пять. . . – зевает. – Ты чего? Завтра новый будет, свежий. . . Такой, знаешь, с корочкою! Ух!
 Вку-усно!
 – Шесть, семь. . .
 – Это же тыл, хлеба тут. . .
 Павлуша сбивается. Начинает сначала.
 – Свежий! А? С корочкою!
 Серёжа облизывается. Потягивается. Сладко-сладко.
 – Девять. . . – заканчивает Павлуша. – Ну. . .
 – Да и это. . . в сухомятку-то. . . Не многовато?
 – Девять! Дня на три хватит. А то и на четыре. . . как раз до Узловой. . .
 Павлуша подмигивает оторопевшему Серёже. Тот разводит руками:
 – А я-то думал. . .
 – А то и на пять. . . а?!

12.

– Василий Петрович!
 Прямо у входа в комнату переговариваются воспитатель и врач.
 Врач говорит громким шёпотом, но дверь открыта и слышно его ой-ей-ей как!
 – Васька! Ты это чего?
 Воспитатель мычит. . .
 – С Павлушею этим. . . Сговорились?
 Серёжа подмигивает Павлуше.
 – «Ленинград 39» . . . Видел я, как ты. . . Я к тебе, а ты – слёзы глотаешь. Стиснул его – и глотаешь.
 Воспитатель сопит. Точь-в-точь – мальчишка.
 – Ты это брось! Ты здесь нужен! Здесь!
 Воспитатель стискивает кулаки.
 Павлуша еле слышно скрипит зубами:
 – Чего он? Сказал бы! Уж я бы сказал!
 Врач треплет воспитателя по плечу.
 – Здесь, понимаешь. . .
 Павлуша порывается выйти – и сказать.
 Воспитатель шмыгает носом:
 – Па! Я же. . . Па!
 Павлуша сжимается. . .
 – Па! Не могу я здесь. . . Не могу!
 Воспитатель замечает побелевшего, сжавшегося Павлушу. Какое-то время они смотрят друг другу в глаза. Два мальчика. . .
 Врач умолкает. Тоже замечает Павлушу. Улыбается.
 – Отбой уже. . .
 Закрывает дверь.
 Голоса отдаляются. . .
 – Так, значит. . . Хлеба надо бы. . . больше. . . Да! – шепчет Павлуша, потирая руки и улыбаясь.
 Серёжа не понимает, но поддакивает.



13.

Павлуша вещи укладывает. Немного их... Майка застиранная, трусы запасные, рубашка серенькая. Всё.

– Негусто, – тянет Серёжа и подсаживается поближе.

Павлуша подбрасывает вещмешок... ловит его.

– Зато лёгонький! И запариться не успею, пока...

Павлуша прикусывает язык.

Серёжа оглядывается. Прижимает палец к губам.

– Тсс!

Павлуша тоже оглядывается, но говорит всё так же, – не скрываясь.

– Нельзя мне тут. Война же. Война! А я – тут. С маслом.

Павлуша добавляет непечатное и крайне солёное... но одними губами. Правда, Серёжа понимает и – хихикает.

– Ленинград без меня... Как ему?

Серёжа пожимает плечами:

– Как?! Ты же... мальчик ещё. Толку от тебя?

– Да, мальчик. И что? Зато ненависти у меня, знаешь... Мне и винтовки не надо! Я их – ненавистью. А?

Павлуша переходит на крик, потом на свистящий шёпот.

– Говорить буду. Им! Рассказывать буду. Про маму... Подробно! Как она сказками меня... про королевского повара... А я – жевал, слушаю... И причмокивал даже! Как будто и вправду...

Павлуша улыбается, показывает, как он слушал, и его улыбка...

– Ох...

Серёжа отодвигается от Павлуши...

А Павлуша рассказывает. Странно так рассказывает, еле слышно, как будто слова в рот набирает. Наберёт... и проглотит. И морщится: горько...

Серёжа срывается и уходит к себе.

Павлуша криво усмехается... подбрасывает вещмешок. Ловит его.

Возвращается Серёжа. Протягивает Павлуше нестиранный мешочек, пошитый из носового платка.

– Это... Возьми! Он – лёгкий. Сахар... Ненависть горькая... разъедает, наверное, – изнутри... А ты – отвоевал, и чаю... с сахаром... Вот и уйдёт она, горечь... на время!

Павлуша улыбается. Широко.

– Эх, Серёжа... Себе оставь! А я... как ненавидеть устану, вспомню... тебя вспомню! И никакой горечи. Даже не тебя, а так... мешочек твой... Сам, небось?

– Сам!

– Ну вот...

Павлушу морозит. Павлуша устал. Но он смотрит на Серёжу и – согревается. Его участием, его незатейливой теплотой.

– Ну вот! – говорит повеселевший Серёжа.

– Ну вот, – говорит воспитатель, заглянувший в спальню. – Вы и подружились...

– Да! – отвечает Серёжа и ногою запикивает вещмешок Павлуши к себе под кровать. И подмигивает Павлуше. Едва заметно.

14.

Павлуша заточивает украденный в столовой нож. Пробует на остроту...

– Эх...

Сталь – дрянная. Заточи её!

Серёжа смотрит. Молчит.

– Я, знаешь... Пушкина люблю. Хороший он. И Ленинград его. Представляешь? Целый город – его! Пушкина! Я же не «всадника» читаю – прогуливаюсь...

– Вжик-вжик!

– Так всё, понимаешь, рельефно... выпукло, понимаешь, подробно.

Павлуша пробует нож...

– Не читаю – прогуливаюсь. Каждая улочка – как на ладони.

И снова:

– Вжик-вжик!

– И Нева!

– Вжик-вжик!

– А Гоголь? С проспектом его? Тоже – Ленинград! Тоже – прогуливаюсь!

– Вжик-вжик! Вжик-вжик!

– Всё – Ленинград. До самой последней...

Павлуша всаживает нож в письменный стол. Чуть не по рукоятку.

– Точки!



Чётко так: раз, – и по рукоять. В столешницу. А мог бы...
 Серёжа переглатывает...
 – Пушкин, говоришь?
 – Пушкин!

15.

Павлушу скрутило... Лежит пластом. Пот на лице. Бисером. Худо!
 – Ты чего?
 Серёжа к нему рванулся.
 Молчит Павлуша...
 – Павлуша?
 Страшно Серёже. Ух, страшно! Как будто и не Павлуша перед ним...
 Ведь Павлуша?
 – А?
 Майка линиялая, трусы сатиновые. Номер на майке.
 А ведь не Павлуша...
 – А?!
 Страшное... внимания требующее, участия... и помощи... и любви! Страшное! И большое!
 Ленинград блокадный... в трусах сатиновых, в майке с номером... Лежит и... улыбается?!
 – Ничего, Серёжа... ничего... С непривычки, наверное. Хлеба переел.
 Хлеба?!
 И улыбается...
 – Павлуша...
 Ленинград...
 – Павлуша?! Ну, Павлуша же... Павлуша!
 – Ну, Павлуша, Павлуша... чего пристал? Ишь...
 И смеётся уже. Павлуша смеётся... Павлуша!
 – Ишь...

16.

Серёжа не спит. Смотрит на сопящего Павлушу.
 – Товарищ Пересыпкин?
 Павлуша сопит...
 – Тоже... Ленинград... Вещи собрали, хлеб... Товарищ Пересыпкин?
 Серёжа идёт к двери. Открывает... Вглядывается во тьму. Ёжится. Закрывает дверь.
 – А Василий Петрович... Неужели поверили? Все поверили?! Чтобы от каши, от маслица – и в пекло
 рвануть?!
 Серёжа усаживается на кровати. Закутывается в одеяло.
 – Поверили! Не могли не поверить. Всем хочется... Всем! А тут – не просто хочется... собрались
 уже... то... товарищ Пересыпкин...
 Серёжа зевает.
 – Собрался... Уже...
 Закрывает глаза. Засыпает, продолжая бормотать.
 – Хочется... хотя бы поверить... не уйти – так поверить... другому...
 Павлуша перестаёт сопеть... Сбрасывает одеяло. Он в верхней одежде.
 Павлуша укладывает бормочущего Серёжу. Слушает бормотание. Шепчет:
 – Но ведь поверил, а?
 На цыпочках идёт к двери, прихватив вещмешок.
 – Маслице... – бормочет Сёрежа. – Ну как от него? Куда?
 Павлуша открывает дверь...
 – Куда?
 Павлуша оборачивается. Смотрит на Серёжу. Улыбается. Выходит во тьму...
 Слышатся не только удаляющиеся шаги, но и покашливание...

17. Эпилог

Раннее утро.
 Всё на том же перроне мается с чемоданчиком... воспитатель. И чемоданчик – тот же. И воспита-
 тель. Только одет он... в потёртую, линиялую гимнастерку, а на груди его – орден Красного Знамени.
 – И не встречает никто... Черти!
 Лицо у воспитателя сухое. И обветренное.
 Воспитатель достаёт из кармана пачку папирос. Ловко выбивает одну, вертит её в пальцах...



– Ничего! Теперь – можно.

Закуривает. С наслаждением выпускает дым.

– Ух, стерва...

Где-то вдалеке гудит уходящий поезд...

Воспитатель улыбается.

– Хорошо...

Затягивается.

– И перрон, и табак... Всё – хорошо.

На чемоданчике – «Ленинград 39». А поверх – белую краскою: «На Берлин!».

– Да-а-а... хорошо...

Воспитатель выбрасывает окурок. Вальяжно и ловко спрыгивает на пути. Открывает чемоданчик. В чемоданчике – майка, трусы... То же, что и в начале. Воспитатель хмыкает. Закрывает чемоданчик. Размахивается... Не выбрасывает. Хохочет!

Идёт по шпалам. Насвистывает.

– Эй, ты!

Воспитатель не вздрагивает и не останавливается.

По соседнему пути идет Павлуша. Совершенно седой и совершенно счастливый.

– И покурить не оставил...

Павлуша немного заикается и дёргает щекою: контузия. На груди у Павлуши медаль «За отвагу», которую он закрывает детдомовской курточкою: Павлуша озяб. А может, смущается?

Воспитатель тычет в Павлушу основательный кукиш.

– Вот вам, товарищ Пересыпкин! Еле добудился... Хорошо – торопиться не надо.

Воспитатель потягивается. Потягивается и Павлуша. Торопиться не надо: Победа!

– А вы мне ещё и... Ругались спросонья! А слова-то ка-а-акие! Тоже! Интеллигенция!

Павлуша смеётся.

– Ха! Интеллигенция!

Смеётся и воспитатель.

– Ну, что, пешком да шпалами?

– Ну... да, пешком да шпалами.

И они идут всё быстрее, причём Павлуша гудит, изображая паровоз... И паровоз откликается. За спиною.

А навстречу им распахивается... мирное, мирное небо...

ЕЛЕНА КАЦЮБА

ВЕТКА архитектурная вариация на тему старой Одессы

Пролог

Город-тайна
Город в маске
Город – тёмный мастер
Дома улыбаются лицами –
бородатые старцы, раздетые девицы
Лик крылатый –
это ртутный Меркурий
мир мерит на свой аршин
Треугольник и трилистник
пересеклись
на мавританском плетении филармонии
город тайной гармонии
весь ходами перекопан
каменный некрополь
Стоит на Ришелье на лестнице Потёмкинской
встречает корабли

I.

Веером мир развернулся из ветки акации:
синий цвет, зелёный цвет
тот свет, этот свет
Мерцающим деревом мир стоял
кружевной и душистый
а люди были птицы

II.

Тень дерева опрокинулась вниз
тени птиц улетали вниз
птичье динь-день
отзывалось в тень
Тень густела
 тень стала
 мгла

III.

– Я – птица странница
я гнезда не вью
я не летаю, не пою
я потеряла перо из крыла
оно упало туда, где мгла
оно стало тем
чего не было никогда
оно стало телом
А что я теперь?



IV.

А внизу, где мир пёстрый
Меркурий играет в кости
Он кидает на море звёздные кости
корабли рассыпают огни
карнавальные дни
Что за гости к нам в гости?

V.

Кто под нами, кто под нами
под железными столбами?
Из воды, степи и неба
я построю город хлебный
на земле и под землёй
будет дивный город мой
город тайный, золотой
на земле и под землёй
город-явь и город-сон
Проболтался – выйди вон!

VI.

Это Меркурий отравил кровь
это стучится железный крот

VII.

Дворец сам в себя опрокинут
он плещет фонтаном винным
там нет ни ночи, ни дня
Кто это возле меня?
– Нет, мы уже не люди
мы плоть свою забудем
бессмысленное тело
в пространство улетело
Пристало телу платье
Душа – обнажена
Приди в мои объятия
крылатая душа
Всё лучшее лишь в душах
запретов не нарушим
вернёмся к истокам
где в золотом и светящемся
кружевном и кружасьем
зелёном и белом
мы были единым летающим телом.

VIII.

В винном фонтане
вода отрезвляюще пряна
Лунную пряжу
ундина прядёт
Сильф, пролетая
губами коснётся
лба
Саламандра взовьётся
в свече, что в руке у тебя
Твоё тело истлело
по нём панихида
подземные гномы уже ожидают
их тёмные лица во тьме не видны



IX.

На перекрёстке стихий распростёртый трилистник
 Тайной улыбкой твой лик оживил головою крылатой Меркурий
 Ты за невидимой дверью творишь свои мессы
 Одесса

X.

Мир, распаясь
 становится веткой акации
 Звёздной акации ветка мерцает на небе
 Медведицы ковш,
 зачерпни
 из надмирного моря —
 тёмного света плесни!

ДОЖДЬ НА ИВАНА КУПАЛУ

В день зелёного тумана
 русалка упала
 в стекло.
 Иван Купала
 вослед ей закинул сеть —
 выловил нас.
 Сердце-поплавок ухнуло в холод.
 Тянет в глубь любовный улов.
 Волосы стали capelli¹ — капли —
 дождю параллели,
 как я тебе и постели.
 Под парусом простыни
 плыви куда попало!
 Иван Купала
 русалку укрыл волной.
 Упал ствол ДЕ-РЕ-ВА,
 перечеркнул взгляд,
 но зацепилась ветка за веко,
 и уплыла лишь ДЕ...ВА,
 а РЕ брэнчало на берегу.
 В день зелёного тумана
 идут за нами
 рыбы с зонтами.
 Бр-р-р-р...

¹ capelli (*итал.*) — волосы

КОГДА...

Когда соревнуются
 звонок дверной и звонок телефонный,
 юбка не успевает нагнать колени.
 В комнатном омуте луч дневной
 взрывает глубь не ночного забвенья
 Во тьме затылка рука блуждает,
 странствует,
 доверяясь телесным волнам.
 Два часа тысячелетней пропасти ожидания
 в щекочущий шрам
 срастаются
 И в ответ на все «почему»
 озноб принимает форму тела



Так легко потерять своё тело,
 изведав глаз золотую тьму
 Пусть в закоулках кошачьих игр
 полдень провалится в карюю полночь
 Арфа волос моих,
 на согнутый локоть
 натянутая,
 звенит
 дикой мелодией на диске краденном
 в клипах неистовых оконных экранов
 в домах бессонных:
 «Когда соревнуются
 звонок дверной и звонок телефонный...»

ИЗ ТЬМЫ ВО ТЬМУ

Незачем мне запоминать их имена
 когда мчатся пылая
 чёрными зеркалами
 отвергая отражения серым серебром
 облизываясь мокрой вишней
 превращаясь в ящериц в сетях бульваров
 фарами читая тьму
 ТЬМА –
 ТОМА книги мрака
 развёрнутая ТОРА дороги
 где знаки – звёздного СОРА шорох
 речная СУРА Корана
 весы СУДА – мосты
 забытого САДА ограда
 где заблудилась САМА ночь –
 чёрная ДАМА
 из карточного ДОМА
 всего лишь страница ТОМА
 из книги ТЬМА
 где они забывают свои имена
 когда сердце покидает стальную грудную клетку
 запирая дверцу на ключ
 В скорости есть COR – сердце.

Я И ТЫ (палиндром)

Я и ты – бог, эго бытия.
 Я и ты – Бах эха бытия.
 Я и ты – бутон нот у бытия.
 Я и ты – балет тела бытия.

Я и ты – бури миру бытия,
 я и ты – бич у тучи бытия,
 я и ты – беда в аде бытия,
 я и ты – бензол лоз небытия.

Я и ты были силы бытия.
 Я и ты были жилы бытия.
 Я и ты – база, фаза бытия.
 Я и ты будем мед у бытия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛУНЫ

Луна не каждому сестра
Отвара лунных трав не пей
обугленного страстью рта не открывай
когда Луна
сочится ргутным молоком

Не каждому Луна вдова
кто в сердце схоронил себя
молчание – Луны бокал
безмолвие – её вино

Не спрячешь в зеркало лицо
звенят ионы серебра
шпионы лунных вечеров
ведь в каждом зеркале Луна

Не каждому Луна алтарь
для жертвоприношений дней
Они уже давно всегда
нарезаны на диск Луны
а небо – искренний экран
оно – свидетельство Луны

Не всякому Луна верна
кто бродит по ночам во сне

Нет обратной стороны
ни у Луны
ни у судьбы

ИГОРЬ ПАНИН

СПУСКАЕМСЯ В АНДЕРГРАУНД

АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ РОМАНС

В одночасье зима настала,
обметелив с утра аллеи.
Я любил тебя слишком мало,
а теперь в основном жалею.

И теперь не до разговоров,
кто тут замужем или холост,
на паркете — одежды ворох,
надвигается вечный холод.

Говорят, это солнце гаснет
или стынет ядро земное.
А поэзия... Да Пегас с ней!
Ты иди по тропе за мною.

Слышишь, падают наши башни,
гулко рушатся наши стены?
Непутёвым был мир вчерашний,
да и создан не тем, не с теми...

Не оглядывайся, не стоит,
чуешь, гарью дохнуло в спины?
Небо бурое и густое,
или просто в сугробе спим мы?

По усеянному телами
полю долгому (явь ли это?)
ковьялем в мороз и пламя,
чтоб увидеть концовку света.

Только мёртвые не воскресли,
на лице моём — снег и сажа.
Не бросай меня, даже если...
Не бросай меня, если даже...

ПАУК

Влагой насытился грунт,
дождь не стихает пока.
Через тринадцать секунд
я раздавлю паука.

Ядрами капель побит,
он на террасу заполз,
держится цепко за пол,
не вспоминая обид.



В чём-то похож на меня,
этот мохнатый урод:
то в полях из огня,
то ровно наоборот.

И надо мною завис,
может, булыжник какой,
миг — и послышится свист...

Господи, ты не гневись,
душу его упокой.

Она спала с поэтом,
история простая...
Он шлялся возле Леты,
она — искала стаю.
Ей грезились нью-йорки,
ему — полинезийки.
В неприбранной каморке —
одно яйцо в корзинке.
Не понимали сами:
а для чего, а толку?
Далёки полюсами,
сближались ночью только.
И как-то, между прочим,
распался в одночасье
союз — казалось — прочный,
и принятый за счастье.
Не злоба и не жалость,
не запашок навета, —
что от неё осталось?
Она спала с поэтом!

ПРОКЛЯТИЕ

Распластав лиловые крыла,
расшвыряв по далям вороньё,
взмывло ввысь из тесного угла
звонкое проклятие моё.

Не ходила кругом голова,
не сбивался голос на нытьё;
зазмеились цепкие слова —
страшное проклятие моё.

Разыгрался аспид на ветру,
клювень вострый — что твоё копьё;
адресата выловит к утру
вечное проклятие моё:

«И в глазах твоих встанет мрак
и в дому твоём будет тлен,
как напустят с родимых стен
на тебя четырёх собак;
не узнаешь, который год,
не поймёшь за спиной возни,
или жалок ты, или горд,
упади — усни.



Не достанет силы в руке
отмахнуть назойливый рой,
тщетно нору себе не рой;
не увидишь брода в реке,
не упрячешь ты в ниве лик,
не уплатишь слезами дань,
или мелок, или велик,
упади – не встань.

Не поможет никто вокрут,
не спасёт частокол молитв,
и печалей не утолит;
станешь немощен, близорук,
чудодейственный твой кулон
будет жечься по всей груди,
или слаб ты, или силён,
упади – уйди».

Вот и ночь ложится каменной плитой,
остужая думы долгие.
Не держись за свет, покуда не святой,
не чурайся тьмы в потёмках ёмких, стой,
и остави долги ей.

Насосался крови город, как москит,
в однорядь взопрел, как пьяница. . .
Аз воздам за всё обилие обид!
И летит моё проклятие, летит,
и не возвращается.

ПОМИНКИ

И вроде бы сыт и здоров,
не время хандрить.
Без сахара – чистая – кровь,
не вяжет артрит.
Но словно преступник, иду
на смерть поглазеть
и выблевать чью-то беду,
забившись в клозет.

Что слышится в стене чужом?
Неясный звонок?
И вьётся мой страх не ужом –
гадюкой у ног.
Смирненно сижу за столом,
внимаю речам.
Напротив меня остолоп
навзрыд закричал.

А делает дело своё
размеренный хмель. . .
Помянем! А там и споём,
как мёртвый умел!
Стопарик поставлю на шёлк,
допив до конца.
. . . А сам до сих пор не нашёл
могилу отца.

В МЕТРО

Не склеены поцелуем,
спускаемся в андерграунд,
где черти поют «Аллилуйя»
и ангелы в прятки играют.
Где смрадом, как из лохани,
окапывает игриво.
В неясной толпе с лохами
бессмысленно ждать прорыва.
Нетвёрдым шажком пингвиным
корячимся до платформы.
Толкаются все упорно,
хоть зенки пустые вынь им.

Пищит лейтенантик жидкий,
придавленный у колонны;
ему не поймать шахидки,
не выиграть миллиона.
Галдит караван-сараям
восточный народ речистый.
Которые террористы?
Мы снова им проиграем...
Сегодня взорвут едва ли,
а завтра есть шанс, однако...
Да что это за клоака,
и как мы сюда попали?!

Смотрю – задрожали рельсы,
и думаю: неужели
как нищие погорельцы
скорбят о потере «Гжели», –
вот так пожалеет время,
истраченное в тоннеле?
Мы – евнухи, что в гареме,
как водится, не при деле.
Доносится грохот града,
подходит железный Будда.
И ты говоришь: «Не надо...»
И я говорю: «Не буду»,
в тоске, как в траве, по поясу,
в тупой маете столичной...

Я бросился бы под поезд,
но это не эстетично.

От любви до самого до
перекроя,
не зароешься в Магадан
или Трою.
Не проскочишь выкидышем
вниз по трубам,
осязая взбрыки в душе,
тёплым трупом.

Получай заслуженные
корчи, муки;
смело жертвуй суженую
в дар науке.



Не стыдись положенного
в лучшем виде;
если завлекло в жернова –
гадом выйдешь.

И гребни – да гад ли? – в у. е.,
сколько надо.
Казачки догадливые,
всю браваду
на войне-волне отв(н)ести
был бы рад, но...
От любви до ненависти
и обратно.

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН

«ВЗЛЕТЕВ С КЫШТЫМСКОГО ВОКЗАЛА...»

я буду стоять в середине пока ты горишь
идёшь как морошка и иней как цианид
теперь подбирается к горлу как баба яга
конечно не спросишь а надо ответить ага
а надо стоять в середине в последнем ряду
как мартовский иней как спирт незамёрзший во рту
вращается кровь и какой ни будь вальтер не скот
я буду стоять в середине двойной оборот
проделает боже качается угол и мало теперь
нам места уместен лишь хлев у голодных речей
идёшь ты по круту пока истончается дух
и времени больше но меньше чем надо на двух
разорванный голос маячит и между стоит
баранская участь стоять в середине горит
идёт там наверное смерть потолкай её в бок
и в пальцах от воздуха сжатого связками сок
идуший по кругу окраине местных цыкут
и чуешь что где-то тебя понимает якут
тунгус из степи подмигнёт растворится как дверь
и я прошагну потому что не надо теперь
доверчивых дев или вен так охочих до игл
я буду стоять в пустоте пока учится бог говорить
и ходит по кругу меж времени тонкой рукой
глаза закрывая морошке раздавленной твёрдой рекой
рекущий ребёнок ревуший как некогда я
я буду стоять в середине пока он проходит меня
в тунгуску смотря как в замочную скважину и
весь воздух вдыхая за немощь мою выпивая язык

ТЕЛЕГА

так ехал на телеге я
телегу настрочив сперва
и настрогав на два листа произнося что изнасил
я из последних (как бы сил) не говорил чир говорил

так ехал на телеге я
передо мною два быка
играли в (как бы) дурака за мной приглядывая строго
струилась медленно дорога – моя (балканская) звезда

и кто-то медленно полого
черкал на секе снегиря
и стаскивая сапоги – мне говорил замри-умри и выгляни из-за полога
тебе осталось так немного – с тобой обнимется земля



и кто как мёд (ленно) из лога
чирикал на щеке у бога
наверное его зола (со мною) ехала в телеге (моей же) темноте поверив
в колёса спрятавшись рекла:

пока мир пропадал в дороге
не обернувшись на пороге телегою насквозь скрипя
воняя как телега я скрепил себя с невнятной речью
попутчиков вся речь – сверчка

так ехал по телеге я чирикающая молчанье
свечка всё догорала до утра и полоскала берег чумный
моя (балканская) звезда (ты помнишь смерть казалась чудной
здесь за игрою в дурака?)

когда есть смерть есть я
за разговором (разговором измеришь ты)
по бету в храме стоит иосиф его прямы

пути и путы (снег начался) летит сквозь лоб
и бога косновенье ртутно
как оборот

по речи
хаббала зима и астана
и смотрит в тело не глазами его страна

когда есть смерть мы не забыты и слава бо
г остаётся как постскриптум
читает бо

и только речь нам не спаситель и демиург
когда есть смерть мы расстаёмся
уже без рук

когда есть смерть
ты производишь (и несёшь)
техом-хосек

и воды небо в водах носят
как стыд
на всех

ГРАЧ

Поехали в грачиный этот рай,
где белый свет и босиком трёхпало
проходит глас насквозь тебя, насквозь
физический раствор – где, как упало –
так и лежит [что спрашивать в ответ?]
рассыпанный на тени, чёрный снег –
он кажется, крошится у запала . . .

Мне запахло, мне – в птичий этот лай
где повестись на каждого базары
и грач больной ведёт, как поводырь,
меня и голос, где мясная тара
меня ещё выносит – ехать, стыд –
весь этот долгий, в прицепном у стаи
где чёрный свет нас долюбил, распил,
разлил в свои гранёные стаканы.

Поехали, гранёный мой стакан,
 позвякивая ложкою утробной,
 трёхпало трогая грачиный доязык
 и, проживая физраствор по пробной
 уже двадцатый раз кажись. Кажись!
 Такая жесть, что, проживая голос,
 его ты, как покойника, везёшь —
 прилюдно, по-срамному, в одиночку.

Поехали в грачиный этот рык,
 В сад полосатый, в костяную почку,
 Которую снежок проборонил
 Чтобы остались пустота и голос.

ГРАЖДАНИН ВВЕДЕНСКИЙ

не проклят род но ротовое
 кричанье протирает пыль
 забыл и спи не сможешь ладно
 не проклят рот который дым

и в магазине есть ворона
 среди товара и тварца
 всё отпирает ключом горло
 и кварц баюкает мальчика

в почти уже могильной каше
 ведёт по камушкам как роды
 блуждает по коленям нашим
 кусая связки воздух голый

мальчонка спит с мизинцем лишним
 камрад испаники и пишет:
 пляши денщик во тьме пляши
 и не проси

всё отбирает ключи горло
 и скрип февральский и нетвёрдый
 но проклятый чтоб говорить
 счастливо спит

И там за мною ходит тело моё,
 такое же несмело чирикает и подаёт:
 то тьму свинцовую, то мёд —
 печатный мандельштам словами
 летит, как будто гуттенберг —
 нам дышит лёд на головами
 губастый, как ребёнка речь.

Боишься/обжигашь губы,
 к нам наклонённый, и души
 ты удержать в руках не сможешь —
 вон исчезает — не дыши,
 не трогай воробьиной лапкой
 (скупой на холод и слога).
 Вот, тело, на — и ты попробуй
 расщепленные голоса.



Что ж, походи за мной немного
пока я здесь ещё, пока
я на верёвочке тьмы тело
своё выгуливаю зря.
И наблюдает это тело –
как смерть я обнимаю: речь
перепечатана, под ксерокс
полуслепой на свет и текст.

вот дворник вася он хорош
стоит под снегом просыпаясь
несёт метлу дракона меч
он до подземного сарая

он встал когда его страна
ещё почти не засыпала
его подняли два гудка
взлетев с кыштымского вокзала

он делает по два витка
над этой площадью с мечетью
он крылья достаёт сперва
и делает попытку третью

по улице своей скользя
идя по улице свободы
он слышит как два фонаря
грозят нам пальчиком – Дидоны

он новоназванный Эней
идёт под ликами Таннига
и неопрятные стихи он прячет в снег
многоязыкий

вот дворник вася он хорош
идёт с кыштымского вокзала
многоязычный идиот
почти Обводного канала

КАМНЕПАД

Из под плахи словес выпадаю, сощутив глаза –
То ли свет нестерпим, то ли льётся слепая вода,
Нас не видя, спадая, как невидаль в сказки Хазара,
Что пробиты камнями навывлет. И если гроза
Начинается устно, собирая нас в бочку когда
Остается фарватеру шаг до речного вокзала –

Ты расплатишься с глоткой невинным и новым враньём.
То ли небо становится плотным, то ли твой дом
Сокрушён был твоим же – тяжёлым в дыхании – шагом,
И стена кедрача поросла, будто мхами, огнём,
И столбом подымается в крае углов багровеющий стон,
И зачатие пятится в нас обезличенным жаром.

Сотворя по скрижалям, ты знаешь, грядёт камнепад –
То ли в теле пропажа, то ли запястье разжато –
Воздух режущий встанет меж нами незримым стеклом:



Это зренье, накинув на вещи прозрачный халат,
 Наблюдает всё то, что в явленье его виновато,
 Разгораясь внутри белых жабр занебесья немым кораблём.
 Погремушкою связок звеня в полутёмный расклад —
 То ли время рассечь себя влево и вправо, умножив причал,
 То ль предстанем с тобой перед нашим — раздетым вдоль — вдохом,
 Поперечно шагая в тенях своих кожистых трат,
 Ты не вспомнишь того, кто в себе твёрдый свод раскачал,
 Чтобы звёзды влетали в пески холодеющим боком.

И на длинных ветрах, занавешенных смутным дождём —
 Ток бежит, не мигая, в залоге с горой договора:
 То ли тропы завязаны — сросшимся в камне — узлом,
 То ли знать неспособны, кого и зачем мы здесь ждём,
 Над собою летят мотыльки в своих крыльев снотворное пламя,
 Что возможно, как вздор изречённый, пожать всемером.

Выползая на свет, как молчащий и горький эфир,
 В этаноле оставивши призрак мерцающих крыл
 Твоих век, устремлённых своим пробуждением за взглядом,
 Наливаешь в себя — горизонтом растянутый вишьрь,
 До полей перечерпанный — голос, который тебя прикусил,
 Нарекая меня — в небесах непрописанным — братом.

ПОСВЯЩЕНИЕ МАТЕРИ

Или в нелепого сына вернётся вода
 Чтобы в реках его слюдяных на цифры разбиться
 Или в твоём непричастье гнездо вьёт себя,
 Чтобы и после тебя в немоте тощей длиться
 Этих пернатых костей, растающих в жирную плоть.
 Так в чернозём свой путь обернёт крот

Или гнездо из рёбер своих вьёт вода —
 Рассыпается сын на мать и отца неоплатных,
 Чтобы я шестеря в четырёх своих верных углах,
 Наблюдал, как из горла реки летит небом пятый
 Этот, в пятнах и оспинах или железной слюне —
 Так мы учимся плавать в кислотах на жидкой спине.

Или цифирь рождений твоих обратилась в дугу
 И запуталась чёрным птенцом в поворотах причастных,
 Преступленье твоё наблюдает тебя и курку
 Разжимает кадык, назначая себя в суд присяжных.
 И когда следом в след растворяет себя темнота —
 Бьётся форма лишённая смысла у краешка рта.

Или в белого снега возврате разменное тело ты видишь,
 И взыскует гортань ненадёжного третьего неба —
 Ты, последняя мать, меня из краёв моих тонких поднимешь,
 И трухую предстанет птичья безгубая треба,
 И отсюда до самой воды тебя облекает кора,
 Как Лилит вырастая из тонкого жаркого зла,

Чтобы после тебя немоту расплести в языки,
 Вавилон допотопный и «аз буки глаголи веди»,
 И нелепая мать по земле расстилает платки,
 Чтобы счастье своё, смертоносное сыну, изведать,
 Чтобы в пятнах зрачков не твоих растворён был пейзаж,
 Что виновен (а значит уже осуждён) самой первой из краж.

НАДЯ ДЕЛАЛАНД

У ТУМАНА ВНУТРИ НИЧЕГО

ты течёшь во мне по мостам и под
по каналам — сенсорным — сразу всем
нет во мне тебе никаких препон
оставайся тут насовсем
только все увидят как сквозь глаза
по лучу — на стену на белый фон
ты струишься буквами, твёрдый знак,
(пал в двенадцатом, комильфо)
только ты заметишь как я ни лги
до чего запущено всё с вчера
как полдня сильнее чем всех других
и всю ночь ещё до утра
но уже не важно раз страх и стыд
потеряла может быть превзошла
перешла куда-то совсем на ты
это шахматы это шах
это ходишь ты это ты течёшь
я одно тебе позволяю течь
так река течёт я тут ни при чём
так во мне протекает речь

отлив такой же силы и тоски
как и прилив но посмотри попробуй
понять теперь — что амфоры куски
а что ошмётки гроба

у жирной точки рваные края
и мирные намеренья у ручки
приди в себя уже печаль моя
так лучше

не ешь стихов моих за за-втра-ком
круговорот веществ не остановишь
и что с того что ты со мной знаком?
с того лишь?

я и сама не знаю ни хрена
о них о нас — какой-то скрип и шелест
скрип шелест свист — и всё — и тишина
опустошенья

Голос длинный и тёмный,
 им бы петь, но прошепчет
 солнце в ветках восходных
 восхищающих шелест,
 мягких клювов зелёных
 показатели, прячась,
 шелестят из пелёнок,
 по-стволовому плачут.
 По-стволиному воют
 током соков весенних,
 рвутся крылья на волю,
 смерть прошла – воскресенье!
 Лазарь почвы, в изъянах,
 зарастает травой,
 улыбается зябко
 и глазами поводит.

Гарцующая лилия в пруду
 под танго, та-та-танго, и стрекозы
 сквозь марево, сквозь этот воздух слёзный
 подрагивающий. Я не иду

на танцы, та-та-танцы, бёдрокрыло
 живущие в той части сквозняка,
 я одинока, одино-я-ка,
 мой милый – где он? Кто он – этот милый?

Платочек синий тащится хвостом
 по пыльному пространству, заматая
 монастыри Тибета и Китая,
 египты Пирамида, и бостон,

сменивший танго, кружится два-три
 над парком, над пандором, припадая
 на левую, хромя и седая
 танцует осень у меня внутри.

Задымление дня, освоенье туманом границ
 по обычаю емлимых оком, в тоске близорукой
 свет сочится молочной сывороткой и по круту
 поворачивает мне земные орбиты глазниц.
 Я проснусь, шевеля влажноватые комья её,
 аккуратно взойду не приметной растительной хренью,
 и весь день простою, отдаваясь посту и смиренью,
 проживая насквозь и наружу житьё-небытьё.
 У тумана внутри ничего, только уши заложит
 и, считай, полетал... раскрывая ковёр-парашют,
 небо молча спустилось на поле, и крошечный шум
 разбитного шмеля панораму тумана тревожит.

В наследство – мокрый сахар ледяной,
 и небо в лужах с гребешками белых
 слонов дрожит, и мышшь бежит домой –
 цветное в моде, в сером – нефиг делать.



Всё, обновляясь празднично, и вдруг,
по волшебству, предстанет распушённым —
в зелёном ветре солнечный вокрут,
и пусть — всегда! Прожёвывайся, шёпот
листвы, и шорох, кроны парашют,
чтоб если спрыгнет с неба дуб столетний,
летел степенно. Пробуждайся, шум,
цветы и пахны, умное полено.
Из рук, из ног, из сердца, из виска,
согбённые вылазят, зеленея —
я спряталась, иди меня искать,
четыре, пять — и из ушей — подснежник.
Цветущее в охапку — и нести,
вдыхать зелёно-сине-белый запах,
ронять пыльцу, тянуться ртом, расти
туда, где свет, бездумно и азартно.

Это происки жизни, которая тащит гулять
за штанину, виляя хвостатым своим восхищеньем,
и я еду куда-то опять, и опять, и опять
в загнутом покое рассматривая через щели

просочившийся свет, и людей, говорящих сквозь рты,
изгибая причудливо губы на фоне молчанья,
говорящих без звука, из самой своей немоты,
это происки жизни, которые я замечаю.

Поддаваясь внезапному детству, смотрю изнутри
на печального дядю, лысеющего кучеряво.
Ничего, всё в порядке, на счёт, разумеется, три
я проснусь из него, но сейчас у меня всё в порядке.

Я хожу им, как будто во сне привыкая к ногам,
к расстоянию до пола, к пространству его обжитому,
к преферансу злопамяти, к яблокам и пирогам
бабы Нюры, к которой он ездил на лето в Житомир.

Это происки жизни хвостатой, летящей стремглав
зачинаться и только б успеть заскочить на подножку,
но я смутно уже понимаю, и я бы могла
не спешить, не заскакивать, просто уйти, если можно.

на смерть В.К.

1.

Из глины, согретой руками и вдохом
живого тепла, влажноватой, послушной,
из звуков на воздухе медленно сохших,
из сохнувших запахов, губы сосущих,
из облака сельского — газа и пыли,
из облака мрака, и сена, и острых,
блестящих из неба, под новой попыткой,
под пыткой создаться, и детской, и взрослой,
из глины, из праха земного, из голых
локтей и лодыжек, ключиц и коленей.
Из глины, но есть ещё память и голос
у треснувших амфор. Нелепость!



2.

Невнятица памяти. Один глаз смотрит в себя, другой –
на меня. Один – мёртвый, другой – живой.
Как теперь, как теперь – всё наоборот:
тот, что живой был – умер, мёртвый – глядит, живёт,
смотрит в себя и видит, смотрит в себя насквозь.
Мёртвые и живые – врозь.

сморщилась мёртвая мандаринка
из-под дивана одним пупком
под-за окном порошок старинно
через все жизни уже знаком
вот ведь заклятье – всеснежных улыбок
лёт и по сотовой связи сбой
не заходи порошок убью ведь
тёплым дыханьем и всей собой
ты уходи порошок в свой холод
белод и лёд не тряси мне рук
помню тебя из того другого
сна из грядущего как умру
лучше б забыла и не ругала
шла бы под снегом с теплом в груди
пердимонюкль паганель поганый
помню поэтому уходи

перестану узнавать
кто зашёл в мою палату
лица станут как заплаты
и когда влетит пернатый
ангел с клювом виноватым
ляжет рядом на кровать
грустный маленький горбатый
я возьму его с кровати
колыбельно напевая
чтобы ртом своим кровавым
навсегда поцеловать
и когда окно погаснет
и остынет
отпусти и не ругай нас
и прости нас
видишь крыльями свистим
над проводами
проводи нас отпусти
нас не ругай нас
над дорогою над рощею над речкой
облаками освещёнными сквозь пальцы
не владея больше мимикой и речью
машем крыльями тебе смеёмся плачем

ОЛЬГА БРАГИНА

МЕСТУ СЕМУ

Откуда такие фантазии, что плоть должна быть любима, что душа должна быть любима, каждый волос и каждый грамм, балерина рифмуется с пантомимой, пантомима рифмуется с «мимо», и все твои искажения расписаны по годам. Вот здесь ты идёшь в первый класс с белым бантом и важным видом, усаживаешься за парту, кто-то крадёт твой пенал, а здесь вот тебе положено зачитываться Майн Ридом, но мир для твоей погибели и то будет слишком мал. Здесь кто-то берёт тебя за руку и говорит о высоком, подразумевая противоположное, что неясно пока, и здесь, как тебе положено, зачитываешься Блоком, конечно, иронизируя над ним, но ещё слегка. А здесь ты иронизируешь над любимым и над всеми скопом, над тем, кто зовёт на ужин и предлагает тост, над увитым плющом подоконником и над сухим укропом, здесь ничего не кажется, мир за пределами прост. Балерина рифмуется с тем фарфором, что стоял на буфете, воплощая недостижимое прошлое, застигнутое врасплох, здесь тебе говорят: «Ну будь, наконец, как дети, как все нормальные дети, кто не мечтает, плох». Ты соглашаешься внешне, а про себя говоришь, куда отправляться им бы, на какие площади в этот квадратный круг, у всех твоих знакомых мало ли что не нимбы, и кто не мечтает – твой незнакомый друг. А здесь тебе двадцать пять и думаешь: «Всех скрутил бы (именно в роде мужском) ну просто в бараний рог, но только при темпе таком откуда набраться сил бы, а всё остальное, ну кто не мечтает – Бог», но где причина, где следствие, здесь не совсем и ясно, кто не действует – не ошибается, осознаёт под конец, что на коробке спичек надпись «Огнеопасно», и не венчает дело здесь ни один венец. А здесь тебя берут за руку и ведут туда, где теплее, где особенно сочные персики и особо красивый вид, и ты слушаешь воспоминания о первом премудром змее, и у тебя, наверное, уже ничего не болит.

Пить берёзовый сок, наушничать и креститься, в сорок рифм нарядиться у зеркала, не дыша, у солёного колобка птица-оборотень-синица Марьиванна принцесса уездного чардаша отгрызает бочок, берёт в кулачок солому, положишь семечко в почву – вырастет куст, электричество в каждый дом, только ближе к дому, много крови и почвы на наше ведёрко. Пруст отгрызает второй бочок, достаёт фонему, факультет психологии, бабушка и Бергсон, только в памяти место для капитана Немо, закрываются двери, берёт свой вчерашний сон, не тебя ли я холил здесь и лелеял верно, а ты руку держала над каждой чужой свечой, да минует нас невозможности тверди скверна, забирай своё имя, души утверждённый крой, правой кромки держись, по поребрику до рассвета, туда-сюда, сказки сказывай, ходи, отроки с пивом горящим узнают Фета, что позади, то, как милость, и впереди, посередине пустоты и горанцола, красота мироздания и лебединый стан, больше тебя не заботят проблемы пола, роман о Розе, лис Рейнард и сын Тристан, морские купания, веточки сливы и соли, сигналы точного времени, перерыв, все те, что тебя на осколочки раскололи, склеить после прочтения позабыв. Ходи туда-сюда, рассказывай миру, куда язык твой грешный тебя довёл, держали себя в руках, разбивали лиру, потом на себя пеняли за произвол. Ходи туда-сюда, волос наш так долог, что вечность можно за пением скоротать, потом тебя достаёт из коробки Молох героев спасать, экран закрывает гладь.

Сколько клялись до нас в любви на этой скамейке, сколько липовый чай под этим вот одеялом, сколько в траченной молью весной цигейке мечтали о счастье большом и крушении малом – переучёт к лицу тебе, станешь старше, станешь рачительней, ногти не красить чёрным, будешь

читать, что сказал Мендельсон о марше, и своевременно прятать ведро с попкорном, будешь читать, что в «Pedigree» витамины и не пристало сном заполнять пустоты, глина-ребро, ребро из продажной глины, некому здесь свои показать работы. Пусть меня любят все, что печальна повесть, выданная сокурсником за обедом, город мечты твоей теперь замело весь, и никто не молчит за тобою следом, пишут: «Надежды нет», собирают мелочь в шапку, поют: «Я буду с тобою всё же». Это легко и город безбожно бел, ночь, в Русском музее было вот так похоже. Сколько клялись вернуться сюда через год всё те же, не изменив предложение ни на йоту, ходишь по городу в белоцерковском беже, все тебе машут, бросают в водичку соду, просят за здравие пить и ругать порядки, предотвращение сложного инцидента нашей любви, помидоры берите, с грядки, дом в Сен-Дени и хорошая, впрочем, рента. Пуще огня бояться и пуще пепла, пуще в ночи не тлеющего металла только того, что наша любовь окрепла и никуда надолго не отпускала, разве что в ближний киоск, где дешевле «Орбит», и станционный смотритель девице Ксенье гладит плечо, и девицу слегка коробит, но марципаны слишком сладки, варенье капает с ложечки в чай. Сколько ждали зиму, чтобы зарыгаться покрепче под одеяло, и на подушки капать отныне гриму, время, что есть, отличается слишком мало и от того, что не видимо глазом чутким из-под земли какой-нибудь землеройки (было тепло, научились смеяться шуткам и записались на курсы шитья и кройки, выбрали место, где быть сему граду полну и приходиться с верблюдами караванам, и под копиркой скрываться Большому Мольну), некие тексты, что греют своим изъясном, столь же ценны, как и память твоя дверная, к камню привязаны, с плеском на дно морское, входишь в девятый круг, никого не зная, и закрывают на ночь депо тверское.

Жили в своём небесном Иерусалиме мыслящим мячиком *cogito ergo sum*, были надёжными, были совсем другими, Чехов приказчику веточку шлёт из Сум и говорит: «Я любил эту Лику сдуру и семиотики ради себя бласти всё же велел, как отсутствующую структуру, стали ненужными, в общем, меня прости». В общем, прости меня, плоть достаёт из лампы, вырастил всё же в лампе свою рабу, была-не была и любит-не любит, сам бы написал рассказ, но к берегу догребу. Прочность традиции, крестик и нолик вместе, нолик и крестик, стыковка произошла, сорок своих сороков напишу из мести, чтобы хоть строчка всё же к тебе дошла, чтобы хоть строчка эпитафией оказалась, Мёртвое море плещется за окном, я никогда песка бы и не касалась, нет избавления, чтобы тонуть вдвоём, просто тебя потом всё тянут-потянут, репа зелёная кошкой липовую скрипит, и никогда с экрана жить не устанут, и не растратят детский свой аппетит, и не напишут, что был ты безумно скучен, да и с годами скуку не растерял, и забывать как будто бы не научен, и пропивать символический капитал. Горько по улице хоть бы Викентия Хвойки (Мёртвое море всегда по колено) брести, быть октябрёнком и гордо платить неустойки, и за щекою те камни, что были в горсти, долго нести. Я тебя никогда не забуду, будто бы мне ничего не хранить за душой. На холодильнике надпись «Помойте посуду», за холодильником мячик «Растите большой».

Сено-вода, лечиться решил кумысом, был на портретах законник и полиглот, за смещение гласных платили Рейнеке-лисом, к деконструкторам и актрисам, и оболами полон рот. Смотришь, когда клюёт, изумрудный твой рыбий Молох выпьет уху демьянову, требует весь банкет, кофе и плед, и отчаянья век недолог, сотня конфет, ничего здесь другого нет, всё же возьми с собою меня куда-то без подстановок «Сочи, осёл Иа, маркер, нуга, на прилавках чабрец и мята», все ударения падают, и трава утром желтеет, ненужные перспективы, море сужается, маленький *nacht Musik*, все безударные – крик, мы почти красивы – голос от мальборо, чёлка от Лили Брик, ты мне нужна такой – осень стала морем, стала прозрачной кожа на волосок, наше знакомство, наверное, мы ускорим и расставание, снова свалился клок, держишь себя в руках и велишь собраться, смысл нивелировать проще, когда одна, некуда деть, ниоткуда себе не взяться, бездна без ручек открылась, стакан без дна, смотришь на дно и видишь себя такую – лето поребриков, орбита и шмелей, больше ничем я без памяти не рискую и прохожу под небом твоим смелей. Если посмотришь вниз и увидишь поле, белых киосков консервные банки в ряд, белым платком помаши на прощанье Оле, те, что узнали, больше не говорят.

По печерским скверикам лихонько ели-пили, и смотрели с нежностью тоже всегда не те. «А они ещё пожалеют, что не любили, только будет поздно» – злорадствуешь в темноте. А они ещё протянут кагор из крана, и хлебами белыми будут кормить в обед, ну куда же ты, время детское, слишком рано, только крошек белых уже на дороге нет. По печерским скверикам голуби их клевали, и куда теперь податься бы по следам, а тебе оставили песенник тёти Гали, хорошо забыгтый здесь под столом



«Агдам», а они ещё и вернутся за ним куда-то, и тебя предложат вежливо провести, и зачем-то представят тебе вон того мулата, и протянут конфеты, растаявшие в горсти, и такое счастье будет во всём разлито, и такая будет всюду сплошная гладь, что совсем не к месту треснувшее корыто, что совсем не к месту жить или умирать, по печерским скверикам долго гулять с тобою, где склевали голуби крошки от кулича, и себе казаться, в общем, почти живую, если капнет воск, совсем оплывёт свеча.

Ты не можешь знать, где Северная Пальмира – вот пробел в картографии, стёклышки на пути, и потом ведь тоже будет довольно сыро, если всё же хватит завода до тридцати. И потом ведь тоже будет хотя бы что-то – скрипи-скрипи, нога липовая, в лесу. Принцесса Ламбаль выходит замуж за санкиюлота, посмотрите, какую голову вам несёт. Она штопает передники, вываривает полотенца, просит городничего проводить дознания без лишнего шума, носит в корзине для пряностей тень младенца – криминогенная обстановка, бунтует Дума. Муж забирает у неё медяки, отложенные в корсете, травит байки о милых ночных расправах, в корзинах для пряностей всё копошатся дети, рассказы о левых-левых и правых-правых. Отправит её на правёж, потом всплакнёт за стаканом – кто же будет Мари носить передачи, спутается в камере с герцогом – у них там мораль с изъясном, каждый день усложнение сверхзадачи. Золотая твоя голова скатилась на мостовую прямо к ногам Станиславского, правда выше, и говорит: «Любите меня живую – мёртвую все полюбят, и с ними иже». Золотая твоя голова лежит в просторной витрине – вот как опасно девицам по Невскому без присмотра, смотришь на всех одинаково зло отныне, не различая плоть категорий сорта.

Весною тепло, я почти режиссёр парадов, через границу провозят китовый ус, то мать и сестра приедут, а то умрёт Мармеладов, судьба безопасные лезвия хранит под столом, Папюс вызывает в престольные праздники Марию-Антуанетту, и проклятому поэту в упор на неё смотреть, закалка подкожной совести, кефир, соблюдать диету, китайским своим фонариком пылать, и земную твердь впитать, тонешь-гонешь медленно, всплываешь неартистично, судьба безопасные лезвия от рук твоих сохранит, измажешь кровью обои – все скажут, что ты вторична, диета твоя двулична – расплата за аппетит. Весною тепло, я почти дошёл до финала, осталось в одной подворотне начертить свой меловый круг, чтобы ты уходила медленно и совсем меня не узнала, чтобы пусто нам было, мало, чтобы место исчезло вдруг. Чтобы месту сему быть пусто почти до края, переливаться медленно через край, чтобы тебе покупать сарафан из фая, только в себя такую здесь не играй, никто не поверит, что это на самом деле – на то, что посмели, теперь вот обречены, свечи горят и дальше метут метели, и на снегу пунктирные от луны. И если бы я научилась читать по снегу и выдала в целом какой-нибудь связный текст (но тексты теперь, как и прочее всё, не к спеху, никто их не слушает и с холодцом не ест), то мне удалось бы себя оправдать собою, что дескать берите меня – хороша как есть, и каждое утро себя приучаю к сбою, и каждое утро себе сочиняю месть.

АНДРЕЙ ПУСТОГАРОВ

ДАЧНОЕ ЛЕТО

чтоб чубатая сохла трава
чтоб скрипела арба
чтобы бритой луны голова
покатилась с горба
я иду без тропы
в позднем свете
там где ветер польнь
море ветер

зной и скрип
пить до самого донца
капли вытряхнуть в прах
ртутный шар заходящего солнца
закачать у вола на рогах

дым поднять в почернелое небо
заблудиться в извилистых снах
пока стройную звёздную требу
будут петь у тебя в головах

ДАЧНОЕ УТРО

1.

лезешь за вишней и с шиферной крыши
мускулы ветра видишь и слышишь
гонит по кругу трамвая вагоны
зарослей волны катит по склону
в выцветший синий брызнув зелёный

2.

дальше шагаешь сквозь рощу акаций
будет к ступням твоим сухо ласкаться
глина обрыва и радость для глаза —
скользкой волны виноградное мясо
дачное лето одесса таласса



сквозь дымок ресторанчика сладкий
по хрустящей листве
повезла нас в коляске лошадка
рыжий огненный зверь

а вода понемногу тускнела
возвращались домой паруса
и высоко под небом запела
предвечерней тоски полоса

что за море за небо в те страны
где осенний твой город стоит
увезёшь лишь дымок ресторана
шорох листьев и цокот копыт

ЛИМАН

Заскрипит облаками, ветрами —
точно к морю за солью возы.
Затрепещет зелёное знамя
виноградной лозы.

Камышами зашепчут лиманы:
«Где-то рядом сады Гесперид».
И живая вода из-под крана
по корявой земле побежит.

На Шестнадцатой станции был шалман
в середине трамвайного круга.
Когда на море падал туман,
для мужчин лучше не было друга.

Там на столик без стульев ставили пиво
и в него доливали водку.
Если кто себя вёл крикливо,
его сразу брали за глотку.

А о чём толковали, поди теперь вызнай —
я дитём был с памятью куцей.
Но, наверно, они говорили о жизни
после войн трёх и революций.

И о том, что их время уплыло,
и хоть скучно, зато спокойно
доживать средь глубокого тыла —
ни бомбёжки тебе, ни конвойных.

А что дед вспоминал, я не знаю,
запивая что-то компотом:
как мальчишкой совсем в журавлиную стаю
он с тачанки бил пулемётом?

Или после, опять с пулемётом,
на Дону прикрывал переправу
и с немецкого берега кто-то
отстрелил два пальца на правой?



И в трамвайном круге ль, овале
моря шум нарастал постепенно
и малыцу напоследок давали
отхлебнуть пива белую пену.

ШЕСТНАДЦАТАЯ СТАНЦИЯ БОЛЬШОГО ФОНТАНА

из дома
по холодной цементной дорожке
под приставной лестницей на чердак
мимо виноградных лоз земли крана
в калитку с почтовым ящиком
по улице с ореховыми деревьями пылью золой
вниз по переулку
между глухими некрашеными заборами
через овраг
вверх вдоль колеи
засохшей серебристой грязи
по тропинке в жёлтой траве сквозь рощу акаций
мимо пивбара
где приятели твоего деда
пьянчужки как называет их бабушка
подняли кружки с опадающей пеной
через рельсы трамвайного круга
мимо белых колонн кинотеатра
сквозь аромат шашлыков
через рельсы трамвайного круга
шоссе
в тень переулка
наискосок через заросший выюнком сквер
асфальту конец
глина
обрыв
всё забываешь
море

ОЛЕГ ЗАЙЦЕВ

РЕБУС НЕБЕС

ТОЧКА ОТСЧЁТА

Живыми усами движение стрелок,
Как бег барабана – беспечностью белок:
Тик-так, тик-так,
Круги Архимеда – кольцо циферблата;
Копейка в кармане – не время для блата:
Свет-мрак, свет-мрак.
От первого крика до смертного хрипа,
От чёткого стука до ржавого скрипа –
Миг-ноль, миг-ноль.
Движенье по кругу, как цирка арена,
Смеюсь я, но смех на губах моих – пена:
Бег-боль, бег-боль.
И камни крошатся, и звёзды сторают,
Упав на безумцев, толкают их к краю:
Град-гром, град-гром.
Мечты на молитвы мерило меняет,
И реквием вечный вдогонку: меня нет –
Бим-бом, бим-бом!

ПАЛАЧ И ЖЕРТВА

Он тихо плакал в колыбели:
Звучал тоскливо детский плач,
И новорожденному пели
И повитуха, и палач.

А он мужал, тянулся к свету,
Уже с судьбой играя в мяч,
На всё он сам искал ответы –
Их выдавал ему палач.

Удача с ним была любезна,
Но приступили годы вскачь.
Из тихо тикающей бездны
Косится пристально палач.

Кажись, вот-вот из колыбели,
Да только возраст – хоть ты прячь.
Заглянет в зеркало – ужели
Оттуда шуруется палач.

Всё – точно в застаревшей сказке:
Промчалась жизнь – закончен матч.
Лежат они в одной могиле
Вдвоём – и жертва, и палач.

ТЕНИ

Словно тени, идущие в ногу,
 Подражаем во всём и везде:
 Подражаем Мамоне и Богу,
 Вторим Мраку и вторим Звезде.

Если ж честно, как пред аналоем:
 Мы, натуру свою обходя,
 Вторим трусам и вторим героям,
 Подражаем толпе и вождям.

Отвергая и чувства, и волю,
 По пустыням и по городам
 Подражаем богатым и голи,
 Вторим слугам и их господам.

Оттого наши лица – личины
 (Мы не в силах себя превозмочь),
 И, как дым от задугой лучины,
 Зыбкой тенью уносятся в ночь.

ПОБЕГ

Тихо шепчутся стрелки,
 Уходящие в вечность...
 Наши мысли так мелки –
 Нами правит беспечность.

Только смерть невозможно
 Оббежать, как по круту...
 Бьётся сердце тревожно,
 Кровью хлещет упруго.

За границею шага
 Нет обратно возврата:
 Там останутся блага,
 Здесь – таится расплата.

Обагрённая кровью,
 Помутнеет водица;
 Губы стынут на слове,
 На безумии – лица.

Замер миг на минутах,
 Сквозь молчанье – молитва
 Похоронкой кому-то,
 И... валяется бритва.

ССОРА

Словно черви нервы гложут,
 Словно сердце рвут кусками...
 Разум мысль одна тревожит –
 Неужели это с нами?
 Вижу каверзные взгляды,
 Слышу речь, что режет уши.
 Неужели это надо:
 Надорвать родные души?
 И уж мы – не мы, чужие,
 И уж яд струится в венах.
 Неужели мы так жили:
 Безрассудно и надменно.



Хлещет плоть дурная память –
Разум вносит равновесье:
Позабьть, простить, исправить,
И тогда мы вновь воскреснем.

Я в звёздном сиянии читаю загадку,
Я вижу в созвездиях ребус небес,
Мерещится, что во Вселенной украдкой
Невидимый кто-то исплакался весь.

Слезами летят метеоры на землю,
Горошиной катится в небе болид:
Я тихо ему, Неподвластному, внемлю
И осознаю, что, конечно, болит.

Попробуй сдержаться, когда под тобою,
Двуногие твари, себя возомнив
Богами, спуют по планетам гурьбою,
Топча благолепие солнечных нив.

Когда, изуродовав тело земное,
За тело небесное смело взялись,
Забыв об Атрахисе, Напишти, Ное,
Ракетой плюют в непроглядную высь.

Терзается небо пред выбором новым:
Всё заживо сжечь или снова потоп?..
Шифровки небесной опять не уловим
Мы смысла, чтоб выжить, исправиться чтоб.

Кроссворд вдруг осилю у россыпи звёздной –
Прошепчут разгадку Вселенской беды:
Одумайтесь, люди, пока что не поздно...
Узнал?! Так попробуй их сам убеди!

Спасти человечество – вот ведь забота,
Но, видя дрожащих небес окоём,
Глаза в нём ищу безнадежно кого-то:
Теперь мы ночами рыдаем вдвоём.

«МЕГАФОН»

В ШИРАЗЕ, НА РОДИНЕ РОЗ...

Михаил Синельников родился 19 ноября 1946 года в Ленинграде. Поэт, прозаик, эссеист, академик РАЕН и румынской Интернациональной академии культуры. Лауреат ряда премий. Награжден грузинским орденом Святой Нины III степени, армянской золотой медалью «За литературные заслуги», серебряной медалью Ивана Бунина и Почётной грамотой президента Кыргызстана. Автор семнадцати оригинальных книг.

Совместно с Игорем Шкляревским подготовил книгу «Сказаний золотая дань – Тысячелетию Казани». Составитель многих антологий: «Свидание с Тбилиси», «Киммерийская сивилла» (стихи о Коктебеле), «Петербург – Петроград – Ленинград в поэзии», «Русская няня». Переводчик многих персидских классиков, в том числе Хайяма, Рудаки, Хафиза, Анвари и собрания сочинений Хакани, поэта, которого называют восточным Данте Алигьери.

Стихи Михаила Синельникова – живое и весьма полное явление подлинного поэтического искусства, сильного и вполне самобытного. В его стихах нет деталей, которые не служили бы теме стихотворения. Его эпитет точен и не допускает вариантов: это очень редкое свойство!

Арсений Тарковский

Его поэтическая судьба трудна. Но ведь ещё древние поняли, что прекрасное трудно. Его стихотворения отмечены благородством вкуса и острым осознанием действительности. Мысли в них рождаются от душевного опыта, они согреты дарованьем духа и слова, напряжённостью нравственной мысли.

Александр Межиров

Его отец был военным журналистом, а мать директором одного из детских домов для блокадных детей. Кстати, именно по её родовой линии, где-то в глубине уплывших столетий, просматриваются и касимовские татары – предки поэта, пришедшие в город Касимов. После войны семья переехала в Ферганскую долину, в киргизский Джа-лал-Абад. Уже после наступившего тысячелетия поэт напишет об этом городе:

*Не зря над горбами верблюда,
Как милость и мой приговор,
Сияло небесное чудо
Небесных серебряных гор.*

Но это – локальные виды, а что касается людей, то кого только не было в городке: всякие ссыльные Советской власти, курды, ингуши, греки. . . Дочь петербургского градоначальника давала ему уроки французского, а секретарь Дзержинского посещал их дом и играл на скрипке. . . Сам писатель о тех временах вспоминает с теплотой и доверием к памяти: «Моё детство на Востоке – такое яркое и праздничное, наполнило меня ощущением чуда. Это, если хотите, религиозное чувство. Разумеется, сильно повлияли и восточные сказки, мне казалось, что и я персонаж всех этих аладдиновых и синдбадовых приключений». И этот праздник позднее станет частью рифмованной речи, не зря же Арсений Тарковский назовёт стихотворения Синельникова «цветными снами». Что же, добавлю я от себя, человек, которому в реальной жизни подфартило общаться не только с семьёй Тарковских, но и с Сергеем Параджановым, дружить с Семёном Липкиным и Евгением Рейном, Александром Межировым и Кайсыном Кулиевым, разглядывать миниатюры в лавке Исфохана, проникать во «Дворцы Ма-даина» одного из величайших поэтов средневековой Персии – Хакани, побывать на могилах Хафиза и Саади, потеряться в садах султана Лоди в Старом Дели, вполне может считать себя персонажем собственной сказки. Ведь это он сказал:



*И в Ширазе, на родине роз,
Мне вручили расцветшую розу
Для того, чтоб в Россию привез
От Хафиза подарок морозу.
И, замёрзшая, мне говорит,
Что отечество есть у поэта,
И, засохшая, нежно струит
Чёрный пламень персидского лета.*

«Читаешь Синельникова – и вспоминаешь фильм Сокурова “Дни затмения”, где среднеазиатский город жёлт, где о стекло бьётся муха... Возможно, их было в русской литературе только трое – Арсений Тарковский, Семён Липкин и он, более молодой Михаил Синельников...». Так написал покойный Александр Касымов. Написал, как мне кажется, очень верно.

Жизнь Синельникова накрепко связана с замечательным поэтом и переводчиком Арсением Тарковским, но Михаил Исаакович так много в последнее время написал об этом и частично опубликовал, что сильно заинтересованных я отсылаю к Всемирной паутине, а посему – мой первый вопрос о сыне Арсения Александровича – Андрее Тарковском.

Е.Ч.: Вы много провели времени в семье Тарковских, во второй семье писателя...

М.С.: Понимаете, говоря о таких тонких субстанциях, нельзя не отметить, что отец Андрея и сам был большим ребёнком. Засыпая, укладывал под белую бурку, подаренную Кайсыном Кулиевым, плюшевых медведей, шерстяных обезьян. Говорил: «Это – мои дети!» Он любил затевать игры с людьми разного возраста, с пожилыми и молодыми, но особенно легко привязывался к детям. Нежно относился к сыну Татьяны Алексеевны (второй жены поэта) Алёше Студенецкому... И не было мысли, что всё-таки это – не его сын. Пожалуй, Тарковский вообще не делил детей на своих и чужих. И, должно быть, его родной сын не мог не реагировать на это болезненно. Не мог не думать ежечасно, что отец, столь добрый и щедрый, в своё время ушёл из семьи. Незаживающая рана! Детям жилось тяжело без отца, он не всегда мог им помочь. Но я слышал и такие злые рассказы: поэт нёс деньги в старую свою семью, но вдруг видел какую-то прелестную безделушку и покупал её. И, держа в руках этот красивый кальян или чубук, забывал куда шёл. Да, он был дитя божье, готовое увлечься игрушкой, влюбиться в бабочку, уйти за летящей стрекозой. И этим тоже очаровывал. Некоторое безответственное сумасбродство ему было присуще. А позже он во многом каялся...

Вообще рассказы о сыне и случаях его жизни я услышал задолго до того, как впервые увидел Андрея Арсеньевича. И даже в первый день нашего знакомства с Арсением Тарковским он немного сообщил о сыне. Это говорилось как бы с покорностью судьбе и звучало примерно так: «...что я могу поделатать? Такой вот у меня родился гениальный ребенок. Ну, вот, он – гений...». И отец жаловался, что сыну ходу не дают... Говорил, что Политбюро ЦК, которое тогда окончательно решало судьбу кино, враждебно отнеслось к «Андрею Рублёву». И даже сидевший в кинозале Брежнев матерно выругался и покинул зал. И это произошло после того эпизода, где Рублёв говорит с Феофаном Греком и вдруг вспоминает, что его собеседник умер... «Ну, как там, Феофан?» – «Да не так, как у вас думают...»

И фильм запретили, но уже возникла легенда, о нём знали за границей. И его разрешили и послали на фестиваль... но при этом присвоили «низшую категорию». И это означало, что деньги, которые получил режиссёр, были так малы, что он едва смог рассчитаться с актёрами. Его отец говорил: «Вы подумайте, он – кинорежиссёр, ему нужны деньги на фильм, нужны актёры, аппаратура... А нам с вами, поэтам – что! Только бумага и карандаш!...»

В те времена, когда я бывал у Тарковских почти каждый день, Андрей Арсеньевич снимал «Зеркало». Картина автобиографическая, и режиссёр не зря вовлёк в съёмки своих родителей. Сначала отец не понимал замысла сына и со смехом рассказывал мне о своём участии в одном съёмочном дне, когда состоялась знакомство с актрисой, выбранной на роль матери главного героя. То есть, в сущности, на роль первой жены Арсения Александровича. И эта актриса, по словам Тарковского, захотела настолько «вжиться в роль», что попыталась завязать с ним роман... А вообще это была лучшая роль Тереховой... Однажды у отца и сына зашёл разговор о том, кому быть исполнителем роли отца: «Кого пригласить на роль тебя?» Тарковский-старший ответил: «Лоуренса Оливье». Надо сказать, что Андрей иногда советовался с отцом, выбирая актёров. Да и тема взаимоотношений отца и сына, кажется, присутствует во многих фильмах Андрея прямо или косвенно. Думаю, что Андрей продумал, осмыслил жизнь отца, а отец всё больше втягивался в калейдоскоп видений сына... Тарковский получил билеты на премьеру «Зеркала» и один отдал мне. Был выдающийся успех. Аплодисменты, овации... Несколько позже Тарковский сказал мне: «Я три раза смотрел “Зеркало” и каждый раз с валидолом в кармане. Только теперь я понял, какую травму нанёс своему сыну». Он был потрясён, в этом фильме есть какие-то глубинные погружения в страшные потёмки измученного детского сознания... И вот, переживая с опозданием то, что было пережито сыном, отец вдруг услышал льющийся с экрана собственный невесёлый голос, читающий стихи...

Е.Ч.: «А, в общем, жалок был усталый Параджанов, / Неряшливый старик и сокрушенный плут. . .». Так начинается одно ваше стихотворение. Но, помнится, вы говорили, что встреча с Параджановым – событие жизни! Нет ли тут противоречия?

М.С.: Один великий русский поэт, а именно Владислав Ходасевич, воскликнул: «. . . Блажен, / Кто среди разбитых урн, / На невозделанной куртине, / Восславил твой полёт, Сатурн, / Сквозь многозвёздные пустыни. . .».

Величие Параджанова в том, что он и в убогой обстановке умел быть Гаруном аль Рашидом, обладателем несметных сокровищ, магом. Даже в тюрьме, где бывало так страшно, что Сергей Иосифович закрывал глаза повязкой, чтобы не видеть творящегося в камере. И там он находил возможность для творчества – сочинил восемь сценариев, сделал сотни зарисовок. Руки у сына ювелира были умелые и жаждали работы. Ничего, что не было ни золота, ни серебра, Параджанов из кефирных крышечек делал тусклые серебряные пехины и позеленевшие дублоны. Платок превращал в плащаницу, из рогожи он смастерил куклу, и никогда не забыть «Лилю Брик», сделанную из сахарного мешка, грозно поблёскивающую бусинками глаз. Из тюрьмы Параджанов написал, что его могли бы сделать счастливым два килограмма мармелада, но ведь этот аскет и сладкоежка был властелином мира и Крезом. Когда я впервые вошёл в его дом, он вполне серьёзно – в знак симпатии – предложил мне в подарок бриллиантовое кольцо. Я отказался. . . Мне кажется, что и домашняя артистическая обстановка и само искусство Параджанова в равной мере были подчинены закону китайской эстетики: «Хаос – основа композиции. . .». Вдруг старик срывался с места и кричал художнице Гаянэ Хачатрян: «Едем немедленно в Ереван! Мне надо сделать там подарок. Берём твою картину, вот этот ковёр XVII века, вон то бронзовое блюдо, его наполняем гранатами. . .». Он любил красивые вещи и работал «на красивом материале», но ведь это труднее, чем работать на некрасивом. Мгновенно схватывал возможные сочетания вещей, составлял композицию трудносочетаемого. И в мгновение ока всё мог пересоставить, разрушить, раздарить. Остаться с чем-то новым или ни с чем. Мне сказал доверительно: «Всегда имей в доме миндальное печенье, и будешь богат».

Е.Ч.: В 2002 году вы побывали в Иране, а позже проговорились: «Тегеран оправдал ожидания, Исфахан превзошёл их, что же касается Шираза и Персеполя, то там я пережил величайшие мгновения жизни».

М.С.: Тегеран – огромный, богатый город, в нём тринадцать миллионов жителей. Напоминает крупные города Закавказья, только изобильней, роскошней. И сейчас в нём непрерывно создаются всё новые мечети, на рынках продаются, между прочим, прекрасные яркие платья, но женщина может показаться в таком наряде только мужу и домашним. На улице все взрослые женщины, девушки – в чёрном. Удивительное ощущение, когда на тебя, всплескивая крыльями, движутся эти стаи чёрных птиц – быстроглазых и веселоглазых. Я чуть было не попал в тюрьму, когда сел в автобус и направился к незанятым местам, но меня вовремя удержали – это было женское отделение. . . Не забуду пиры с главными муллами (они – крупные филологи, знающие наизусть всего Саади). Горы утончённых яств, запиваемых минеральной водой и местной фантой. За употребление спиртного – смертная казнь. Конечно, как российский литератор, я пожелал увидеть площадь, на которой некогда находилось наше посольство и где был убит Грибоедов, но пожелание сочли неуместным, а в доме, где заседали Рузвельт, Черчилль и Сталин, я побывал. . . Что касается Исфахана, то зеленоватое, меланхоличное строение его арыков, рассекающих улицу вдоль, напомнило мне родную Ферганскую долину, но, разумеется, столица средневекового Ирана несопоставима с тамошними городами. Сдаётся, век просидел бы на великолепном мосту, воздвигнутом Тамерланом – я вообще люблю плавные, могучие воды, а там они протекают под арками дивной красоты. . . От одной исфаханской Голубой мечети можно с ума сойти.

Она стоит рядом с рынком, в котором так легко заблудиться, и в каждой лавке чувствуешь себя Али-Бабой в пещере разбойников. Полюбил я одну лавку миниатюр: ею несколько веков владеет одна семья – старый мастер-уstad, рисует тонкой кистью, его сын занят красками, невестка торгует картинками. Для меня это некий идеал жизни. Я часто туда приходил и что-то покупал, но что не выбери, всё равноценно и прекрасно, всё – в каноне. . . Да, все персиянки в чёрном, но девочки в белом, и в исфаханском Саду птиц толпа «белых» девочек окружила павлина и пела хором, умоляя его раскрыть хвост. Но спесивый павлин не вял мольбам. . . В Ширазе, на родине роз, мне как поэту подарили единственную розу и сказали: «Много роз – от друзей и любимых, а одна роза – от народа!» Среди бесчисленных роз в благоуханной тишине высится мавзолей Саади с бирюзовым куполом. Думалось: вот где он упокоился, этот вечный странник, который говорил: «Первые тридцать лет надо учиться, вторые тридцать – путешествовать, третьи тридцать – писать. . .».

Е.Ч.: Благодаря вам великий Хакани заговорил по-русски. Однако для русского слуха это не всегда понятно. Мне вспомнилась арабская притча: наставник Аль Халладж шёл с учениками вечерним Багдадом, и вдруг их заворожила щемящая мелодия флейты. «Что это?» – вздрогнули ученики. «Это сатана оплакивает мир», – жёстко и загадочно ответил пергаментный старец. Не перекликается ли это с тем, что на Востоке называют «дозволенным колдовством»? Не в этом ли Хакани?



М.С.: Манделъштам назвал Данте «орудийным мастером поэзии», и это же относится и к ширванскому гению, ведь дозволенная магия, как нарекли соплеменники Хакани поэзию, требовала не только вдохновения (без него наше занятие бессмысленно). Но и величайшего мастерства. Хакани считался непревзойдённым мастером касыды, но писал также газели, рубай, кыта, месневи, автобиографические стихи, оставил огромную стихотворную повесть о хождении в Мекку и Медину, нечто вроде мусульманской «Божественной комедии» – думаю, её читал Данте, когда учился в Сорбонне. Я перевёл «Диван», то есть собрание сочинений Хакани в разных жанрах. Тогда я имел счастливую возможность на несколько лет целиком погрузиться в мир этого колоссального поэта. Делом чести переводчика было сохранить твёрдые формы оригинала, что адски трудно. Переводя одну знаменитую касыду «Дворцы Мадаина», основанную на одной рифме, я должен был найти ещё сорок пять рифмующихся слов. И если бы понадобилась сверх того одна рифма, я не нашёл бы её в русском рифмовнике (он беднее персидского). Но касыда тут и кончилась, а я уверовал в Провидение. Уверяю вас, что Бог у христиан и мусульман общий. Хакани, сын рабыни-христианки, это ведал. В Ширван прибыл наследник византийского императора Андроник Комнин (между прочим, предок советского лермонтоведа Ираклия Андроникова). Хакани в это время был заточён в темницу и сочинил обращённую к сиятельному гостю правителя величайшую свою касыду с мольбой о заступничестве. Даже обещал стать христианским подвижником, если его выпустят на волю.

Е.Ч.: Ну вот, под занавес мы вернулись в Россию. Какие места нашей необъятной вам близки, куда вы возвращаетесь стихами и сердцем?

М.С.: В России наибольшее впечатление на меня произвели Псков, рязанские края, прежде всего, Касимов с «мини-ампиром» архитектора Гагина и строениями Воронихина, а также олонецкая тайга, где на розовом закате слышен бесконечный волчий вой, на крыльцо избышки среди бела дня приходит медведица с медвежатами, и где я сталкивал лося с лесной тропы, чтобы дал дорогу... Красоту русского пейзажа я, конечно, способен почувствовать. Но дело в том, что всё-таки я биографически – человек империи, и в душе не расстанусь ни с Южной Киргизией, ни с таджикским Кулябом, ни с Крымом, ни с Закавказьем. В последние годы открыл для себя карачаевский Архыз, его звёздное небо. Первая обсерватория была там основана за тысячу лет до нынешней.

С Михаилом Синельниковым беседовал Евгений Чигрин

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

ВСЁ ПРОШЛО

На холмах за кустами фисташек –
 Легионного кладбища лом,
 Там – какой-нибудь Ян или Сташек
 Под железным латинским крестом.

Чуть пониже, на склоне сутулом,
 На киргизских колючих ветрах, –
 То, что было чеченским аулом
 И ушло, и рассыпалось в прах.

Всё полвека назад проржавело,
 Но вершинам тянь-шаньских громад
 Снится Терека буйное тело,
 Галицийский тоскливый закат.

Над скоплением хат и кибиток,
 В глубину отступающих лет
 Продвигается огненный свиток,
 Проливается мстительный свет.

На просторах имперской разрухи
 И в сумятице нынешних смут
 Только девочки детства, старухи,
 Как-то молятся, чем-то живут.



Так услышь этот поздний звоночек
И в пустых небесах обнаружь
Из телесных своих оболочек
Исходящее воинство душ.

ЗЕРКАЛО

Вот – зеркало . . . Напрасны шум и ярость.
Но это понимаешь под конец,
Лишь в старости постичь умеешь старость,
И я не знал, что думает отец.
Он вдруг увидел маску Гиппократы . . .
Не то чтоб смерть оплакивал свою –
Его моя печалила утрата
И наблюдал он, стоя на краю
Тех областей, откуда нет возврата,
Как я сейчас у зеркала стою.

МЫС ХАМЕЛЕОН

Солнечным прикинулся и милым
Мрачный кряж, хамелеон и лгун.
Повела тропинка к Фермопилам
Вдоль японских отмелей и дюн.
Вот он вновь, задымлен и обветрен,
Стал фиордом, скрылся за дождём,
Ибо мы с голубоглазой Кэтрин,
Говоря о Гамсуне, идём.
Мало жил жених её норвежец,
Многое умевший . . . Например:
Гонщик, живописец, конькобежец,
Алкоголик и миллионер.
Год назад сгоревший в авторалли,
Вновь горит он оттого, что мы
Жизнь свою друг другу повторяли,
Восходя на лживые холмы.

Что еще всплывёт из переката
Голубых столкнувшихся пустынь?
Мак цветёт, благоухает мята,
Слабо пахнет поздняя полынь.

Когда душа единственная в мире
Глядится в отражение своё,
Всегда один соблазн в пустой квартире –
Как в зеркало войти в небытие.

Скорей увидеть близнеца, с которым
Расстались мы на столько долгих лет . . .
Моя душа зеркальным коридором
К нему пойдет на слишком яркий свет.

Посмела передать нам кисть евангелиста,
Как смоляная прядь нежна и шелковиста;
Как нежен этот круг и сколько благодати
В тревоге этих рук, обнявших мир дитяти.



Но из потока дней душа летит всё чаще
 Не к юности твоей, а к старости скорбящей.
 . . . Виденья крестных мук и гулкий на помосте
 Ужасный этот стук по дереву, по кости.
 Седая голова и вечер на чужбине,
 И моря синева, кипящая доньне.
 Лет восемьсот поют на башнях муэдзины.
 Внизу – торговый люд, кафе и магазины.
 А я хочу, чтоб мне напомнили о Боге
 В туманной глубине моей земной дороги.
 Люблю воды речной застывшие мгновенья
 И этот праздный зной, и сладость омовенья.
 Забыт подземный храм, во тьме заглохла хрия . . .
 Я принял бы ислам, когда бы не Мария.

ТОЛСТОЙ

Розовые, бледно-голубые
 Томики Глугарха в сундуке . . .
 Кровь войны увидевший впервые,
 На войну он едет налегке.

До заката тянется каруца¹
 По степи молдавской в знойный день.
 Вот поют цыгане и смеются,
 И читать, и думать стало лень.
 Моря плеск и слово Фемистокла
 В синеве проносятся над ним.
 Но сегодня Греция поблёлкла,
 Потускнел Египет, выцвел Рим.

Через годы выплывут в тумане
 Только степь и неба благодать . . .
 Пушки на Малаховом кургане,
 Огрызаясь, будут грохотать.

Сладко, сладко низвергать Шекспира,
 Презирать и Цезаря и Пирра
 Всем наперекор и невпопад.
 Впереди – завоеванье мира,
 «Рубка леса», жизнь, «Хаджи-Мурат».

¹ Каруца – молдавская повозка, запряжённая волами.

Вновь берег моря, людный и пустынный,
 Он был тобою населён тогда . . .
 И всё несёт свои аквамарины,
 И всё темнеет быстрая вода.

Всё кажется, что недоговорили . . .
 И вдруг настала новая пора,
 Вот почернели всплески синей пыли,
 Заголосили все прожектора.

В исходе жизни, посредине лета
 За горизонт в отчаянье продлю
 Мысль о тебе, свирепый выкрик света,
 От корабля посланье кораблю.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Снова просят в России. И снова
 Просят яростно — ради Христа.
 И стущается мгла золотого,
 Храма грозная высота.
 Облик радостен, голос печален,
 В эти лица не надо глядеть,
 И насыщена плеском купален
 Литургии победная медь.

МОНАСТЫРИ

А. П. Межирову

Монастыри на севере Молдовы...
 Так сердцу опустелому нова
 Там весело-весенне-молодого
 На ветхих фресках неба синева.

Её не прячут от жары и стужи,
 Всю вынесли под вьюги и дожди.
 Сияют эти росписи снаружи.
 Безмолвно об исчезнувшем суди.

Хмелеет сердце от лазури пьяной
 И от того, что всё сотрут века,
 Но синей краски больше над поляной,
 Над облаком, глядящим свысока.

ШВЕЯ

Там всюду образцы и выкройки лежали
 И прыгали клубки.
 Казались тяжелы от счастья и печали,
 А в памяти легки.

Как, расшвыряв шитьё, шампанское мы пили!
 Не уставали пить...
 Вдруг распустила ты всё то, что мы любили,
 Перекусивши нить.

Когда в манто до пят с атласным псом в камзоле
 Пересекаешь дуг,
 Где эти выкройки, уколы, промельк моли,
 Где эта комната? И вдруг

Всю нашу жизнь вдохнёшь, и всю одновременно:
 Мгла, за окном — снега,
 Мой диковатый взгляд, и вата манекена,
 И запах уюта.

ТРОФЕЙНАЯ ЖИВОПИСЬ

А.И. Эпп, В.Г. Руденко

Конечно, Ивелину Лемонье
 Мане любил, и вечен взгляд влюблённый,
 К незримой прикоснулась польньё
 Рука Сезанна резкостью зелёной.



Недаром был запрещен и гоним
Сезанна Бог, прикинувшийся грушей!
Распалось мирозданье, и за ним –
Горячка переливов и удуший.

Кружащиеся женщины Дега,
Всезнающие, грезящие спины,
И дерзкая танцовщицы нога,
Оспорившая истину рутины.

Гогеном сотворённые цветы
И розы покупные Ренуара
Лицом к стене средь вещей пустоты
Стояли, не утратившие жара.

И вижу я, как жизнь моя пестра,
И нет конца мечтаньям и обманам,
И всю её изобразил Сера
На берегу пустынном и песчаном.

А жаждавшие чуда наяву,
Забывшиеся в обладанье мнимом,
В такую же густую синеву
Все вылетели с освещенным дымом.

ВОСТОЧНАЯ МОСКВА

Москвы восточной ветер летний,
Неосвязаемо-сквозной,
И в этом ветре всё заметней
Дыханье Азии родной.

Гул азиатчины родимой,
Речной и лиственной молвы,
Тот ветровей, который мимо
Восточной не пройдёт Москвы.

Вздохнёшь – и весь перед глазами,
И весь – как радужный туман,
Путь до Ташкента и Казани,
От этих чайных до чайхан.

Где жизни красочный излишек,
Где чайники и кренделя?
Лишь некий дух в толпе домишек
Блуждает, ветви шевеля.

В душе ношу его?.. Наверд ли...
Не в силах выразить... Но здесь
Понятней Хлебников и Татлин
И всё, что с нами стало днесь.

Свет облаков аляповатых,
Сирень в цвету – не разглядишь
Мглу балаганов и палаток,
Футуристических афиш.

Мир обречённый и нетленный,
С моей душой сгори дотла!
Ты в небо незапечатленной,
Русь Уходящая, ушла!

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ новелла

Давно ожидаемый конец наступил в 6.38 утра. Малоразговорчивый от усталости доктор констатировал смерть и назвал время неожиданно писклявым для его мощного телосложения голоском. Медсестра в голубой медицинской пижаме и надвинутом на брови, бодро накрахмаленном колпачке, еле заметно кивнула и накрыла покойную простынёй в зелёный горошек. Выходя из палаты, доктор попросил:

– Только не малюй ФИО зелёной у неё на бедре. Лучше бирочку подпиши, а то прозектор сердится и родственники обижаются.

Медсестра снова кивнула. Она молча вырубилла монитор, монотонно гудевший рядом с высокой кроватью, и вышла, плотно притворив за собой дверь.

Палата интенсивной терапии хранила следы последних усилий дежурной смены. На столике лежали использованные шприцы вперемежку с ватными шариками и обрывками лейкопластыря. На высоком тонконогом штативе полупрозрачной петлёй покачивалась капельница.

Реанимировали недолго, без особой надежды, по большей части потому, что было положено, ну и на всякий случай. Яркий, но какой-то отрешённо-безрадостный солнечный свет лился сквозь оконное стекло. В палате было пусто, если не считать неподвижно лежащего худенького женского тела под простынёй в зелёный горошек. Монитор безмолвно и безучастно тарачил потухший экран в центр палаты.

Вернулась медсестра. Она ступала почтительно тихо, стараясь не шуметь. Приподняв простыню и обнажив белую хрупкую ногу покойницы, повязала на щиколотку клеёнчатую бирку с кривыми синими буквами.

1.

Проснувшись, Елена открыла глаза не сразу. Утреннее солнце назойливо проникало под веки. Она осторожно шевельнулась и с удовольствием убедилась, что боли нет. Вообще не болит, ни капельки. И откуда-то взявшаяся уверенность: боль не просто временно загнана в угол анальгетиками – её не существует. И почему-то Елена не сомневалась, что мучения её больше не возобновятся.

Елена разомкнула веки. Оглядев свою спальню, она попыталась вспомнить, как вернулась домой из больницы. Но память будто споткнулась на длинной веренице однообразно-кромешных дней в онкологии. В голове никаких сведений ни о результатах лечения, ни об улучшении состояния, ни тем более о выписке не содержалось.

Елена медленно сползла с кровати и встала на ноги. Равновесие устойчивое, лёгкость во всём теле – непривычная. Удивительно и очень приятно! Несколько шагов по шелковистому ковру впечатления не испортили. Подспудный страх, что боль снова придёт, улетучился.

Большое зеркало отразило Елену от макушки до пяток. Она искоса глянула на себя. Была готова увидеть серое измождённое лицо, острые костлявые плечи, обтянутые одряхлевшей кожей ключицы, тонкие руки... Но из зеркала смотрела милая стройная розовощёкая женщина. Вполне свежая, разве что растрёпанная и немножко заспанная. И снова можно рассчитывать, что никто не даст ей её возраста. «Ни за что не поверим, какие такие пятьдесят с гаком? – опять будут говорить знакомые и малознакомые люди. – От силы сорок пять, да и то с натяжкой!» И это не лесть. Она и вправду мало менялась с годами – всегда лёгкая, смеющаяся, с задорным огнём в глазах. Вот и сейчас они горят. «Вид цветущий, а вот с мозгом, похоже, полное фиаско, – подумала Елена, рассматривая свою модную девчоночью стрижку. – Надо же, как Альцгеймер помолодел!.. У бабушки провалы в памяти начались лет после семидесяти... А мои-то какие годы... Никак в толк не возьму, когда это меня так подлатали? Экспериментальные препараты, что ли? Может, вспомнится как-нибудь...»

Взгляд Елены упал на окно. Дерево с крупными жёлтыми цветами среди листвы, похожими на тюльпаны, шевелило на ветру руками-ветками. Редкое, прекрасное, любимое «тюльпановое» дерево! Зацвело! И так пышно! Словно в последний раз!

Стоп! Елена подскочила к окну и принялась разглядывать листву. Июнь! Дерево зацветает в июне! А в больницу Елена легла в декабре. Не месяц выпал из памяти, а полгода! Прежде она за собой такого



не замечала. Наверняка какой-то побочный эффект от лекарств. Что происходило в эти полгода? Стоит ли вспоминать?

На календаре красненьким окошечком был отмечен понедельник, семнадцатое июня. День рождения! Матерь божья, сегодня ей стукнуло пятьдесят семь! Если только она не забыла сменить число вчера. Или позавчера? Или неделю назад?..

От пронзительного звонка в дверь Елена вздрогнула.

Подруга детства Лерка ввалилась в прихожую вслед за огромным букетом гербер и ещё большим плюшевым медведем-пандой. И герберы, и Лерка, и панда – всё показалось до мельчайших деталей знакомым, но в то же время ненастоящим, призрачным. . .

– С днём рождения, Алёшка! – взвизгнула подруга тренированным меццо-сопрано школьного завуча с двадцатилетним стажем. «Значит, всё-таки сегодня семнадцатое. . .» – мелькнуло в голове у Елены. От нарядной Лерки пахло дорогими духами и дорогими сигаретами.

– Да-а, родимая моя! Пятьдесят пять – это вам не тра-ля-ля! – продолжала Лерка, бросив на пол медведя и воззрившись на себя в зеркало у входной двери.

Елена чуть не уронила вазу, в которую собиралась поставить букет. У неё перехватило дыхание.

– Сколько?! – прошептала она.

– Ла-а-адно тебе, Алёшка! Не расстраивайся! Мы с тобой девчонки ещё хоть куда! – не отрываясь от зеркала, утешила Лерка.

А который год на календаре? Её пятьдесят пятый год! Ну, конечно! Ранне-утренний визит подруги, плюшевый медведь-панда в натуральную величину, Леркины духи, розовые герберы, необычайно буйный цвет «тюльпанового» дерева под окном. . . Это уже было, было, было! А всё, что запечатлела память после этого, после её пятьдесят пятого семнадцатого июня, это что – бред? Галлюцинация? Сон?

Горло сковал ужас. Елена мотнула головой, как будто желая вытряхнуть из неё и бред, и галлюцинации. Но вместо ясности вспышкой озарилось: больничная палата, на высокой кровати тело женщины, накрытое простыней в зелёный горошек и аккуратная бирка с фамилией на тощей лодыжке.

. . . Она сидела за кухонным столом лицом к лицу с говорившей без умолку подругой. Физически Елена чувствовала себя прекрасно. И если бы не наваждение, если бы не странное возвращение в давно прошедший день, чудесное исцеление, безусловно, осчастливило бы её. . .

И тут Елену осенило. На её пятьдесят пятый день рождения в ресторане готовили на заказ огромную фаршированную рыбку. Значит, теперь она должна быть здесь. Елена вскочила и ринулась к холодильнику. Точно, есть. . . Большой серебристо-серый остромордый осётр на блюде. . . Ноги у Елены стали ватными. Она захлопнула дверцу холодильника.

– Ты чего сегодня такая подорванная? – удивилась Лерка. – Утомнись давай, тебе вечером целую гоп-компанию гостей принимать! И заметь – без меня. В командировку еду.

Елена посмотрела на подругу. Располневшая и постаревшая, но молодящаяся изо всех сил дама. Броская одежда, блеск бижутерии. . . Хотя всё ещё хороша, чертовка. . . Добрая, весёлая любимая Лерка! Елена закрыла глаза и задержала дыхание, противные мурашки забегали по лопаткам. . . Лерка ведь погибла в прошлом году, на машине перевернулась! В прошлом году? В будущем году? Аккурат после пятьдесят шестого семнадцатого июня. . .

Елене опять невыносимо захотелось проснуться.

2.

Резкое побуждение словно вскрыло сознание Елены. Она широко распахнула глаза. Лепнина на потолке, припорошенная сероватой пылью. Давно не мытая старинная бронзовая люстра. Едва уловимый запах сырости и более выраженный запах застоявшегося табачного дыма. Так пахнет там, где много курят, но затем тщательно проветривают.

Елена в подробностях помнила этот день. И мерное похрапывание слева подтверждало её подозрение, что это именно тот день, её сорок пятое семнадцатое июня. Она вздохнула, вдруг легко и ясно осознав, что каким-то загадочным образом путешествует по собственной жизни. Может быть, она сейчас в коме и то, что происходит – всего лишь видения, продукт нарушенной работы мозга. Она, кажется, где-то о таком читала. . .

Или Елену преследуют выкрутасы памяти? Тяжкое психическое расстройство? Стоит, наверное, обратиться к врачу. Нужно позвонить Лерке, у неё весь город в друзьях-приятелях. Елена хотела встать и взять мобильник, чтобы набрать номер подруги. Но тут же поняла, что в год её сорокапятилетия никакой сотовой связи не было и в помине. Но этот факт не обескуражил Елену и не озадачил, а только слегка позабавил. Она даже улыбнулась старой люстре.

Сопение слева прекратилось. «Проснулось моё сокровище генеральское», – с радостью подумала Елена. И правда, артиллерийский генерал Миша Грибов приподнялся на локте, схватил Елену за подбородок и крепко поцеловал в губы. Она отстранилась от него, хотела что-то сказать, но он навалился на неё своими широченными плечами и снова поцеловал. Миша всегда так делал. Брал всё, что ему было нужно, без промедления и без колебаний.

Елена задыхнулась в его объятиях. Миша целовал её самозабвенно, отбросив одеяло, ловко и быстро избавившись от её пижамы. Елена вдруг подумала, что после развода она и не помышляла о новых отношениях, тем более о таком бурном романе... Но – нате вам, влюбилась! В самого молодого из генералов, ловеласа и позёра, чуть-чуть романтика, чуть-чуть солдафона, а ещё – упрянца, вольнодумца, но в глубине души – одинокого ранимого мальчишка.

– Алёшка! С днём рождения! – прошептал на ухо Елене Миша и надел на её запястье топазовый браслет.

Она даже не посмотрела на украшение, только потрогала его. Разглядывать не было надобности. Ведь она знала на нём каждый камешек, каждый изгиб серебра, каждую бороздку и царапинку... Такой драгоценный подарок, во всей жизни – самый драгоценный!

Вспышка в голове вывела Елену из эйфории: простыня в зелёный горошек, бирка на лодыжке, топазовый браслет на руке, тонкой мёртвой руке. Она не расстанется с ним до самой смерти! До самой смерти! *Смерти...*

Елена вспотела в один миг и села в кровати, прижимая к обнажённой груди браслет. Миша чмокнул Елену в плечо и, поднимаясь, спросил:

– Кофе варить как обычно? Пойду готовить завтрак в постель. Сегодня тебе как имениннице полагается отдыхать целый день.

Миша направился на кухню, что-то насвистывая.

Елена перевела дух и подумала: «Сейчас скажет – я приготовил сюрприз, но не сдержусь: мы едем кататься на лодке по Днестру».

– Алёшка! – донёсся из кухни Мишин голос, – я приготовил тебе сюрприз, но не сдержусь: мы едем кататься на лодке по Днестру! Ты рада? Ну скажи, что ты счастлива!

Елена снова легла и закрыла глаза. Сколько раз она крутила в мыслях кино этого дня? Сотни, тысячи раз, десятки тысяч! Только теперь совершенно ясно: это и есть её последняя любовь. От такой ясности любовь ощущалась с особой ослепительной силой. Елена до боли стиснула зубы. И из-за чего они расстались с Мишей? Из-за смехотворно ничтожного происшествия? Из-за связисточки в штабе округа, засмотревшейся на красавца-генерала? Елена никогда ревнивицей себя не считала, но тогда её как подменили. Она будто ослепла и оглохла, будто растеряла все свои чувства кроме раненого самодлюбия. Она упорно шла к разрыву, как самоубийца к краю пропасти. Дура! Идиотка! Елена сжала кулаки.

Но как бы то ни было, сейчас ей подарен этот день. И можно долбить, и доласкать, и дожалеть... Сегодня будет Днестр, сизая вода с ивами над заводями, с громогласно умиротворяющим хором птиц, насекомых, лягушек и ветра в камышах. Будет лодка с мотором и вёслами, островок как на фото в туристическом буклете. И Миша, такой пылкий, нежный, неистовый! И брезентовый полог палатки, и шипенье костра, затухающего под струями дождя... Запах прелой листвы, дыма, тройного одеколona от комаров, запах Мишиного пота...

А кроме всего этого будет разговор. Даже не разговор, а несколько слов, но очень важных слов. Елена скажет Мише: «Любимый мой! Я ни за что не хочу с тобой расставаться! Никогда-никогда! А если сойду с ума и стану похожа на злобную гарпию, не обращай внимания, не слушай и не отпускай меня! Держи меня покрепче, как ты умеешь! Побей, посади на цепь, но не отпускай, заклинаю, мой генерал!»

Елена обязательно всё это ему скажет во время дождя, в палатке на островке, прижавшись виском к его губам. Чтобы он мог чувствовать её пульс, но не мог перебить... Миша, конечно, посмеётся, но когда будет нужно, вспомнит эти её странные слова. И поймёт, что это была вовсе не болтовня опьянённой любовью женщины...

Лёжа нагишом, Елена продрогла. Она встала, набросила на плечи лёгкое одеяло и пошла навстречу кофейному дурману, летящему из кухни.

3.

Елена надеялась проснуться в Мишиных объятиях. Засыпая, она робко думала о том, что теперь, после сказанных правильных слов, время тоже пойдёт правильно и память оставит её в покое. И они с Мишей будут жить да поживать... Если не наяву, то хотя бы в долгом счастливом мираже, так похожем на реальность.

Но, вынырнув из многочасового мгновения сна, Елена поняла, что напрасно тешила себя пустыми надеждами. И сон оказался не многочасовым, а многолетним. Она печально усмехнулась: так прекрасно было *вчера, десять лет вперёд*. Ведь нынче тоже семнадцатое июня. Судя по запаху краски и клея – её тридцать пятый день рождения. А значит – отнюдь не безоблачный день.

Ремонт, будь он трижды неладен... Да бог с ним, с ремонтом. Всё равно позже, так его и не закончив, она поменяет квартиру на меньшую с доплатой.

... Елена спешила в больницу к маме. Дорога была до тошноты привычной. Будто не существовало после этого дня десятков лет памяти, похоронившей под ворохом мелочей самое главное. Когда-то, впервые переживая этот день, по дороге в больницу Елена уповала на милость providения, а точнее, на благоприятный результат биопсии. Она надеялась, что маму можно спасти, вылечить, вернуть... Тень былой надежды, жалкий бледный отблеск и сейчас брезжил где-то глубоко в сознании: а вдруг



на этот раз результат будет нормальным, а иначе, зачем ей повторно дана возможность пережить этот день?

«Я разделяю ваше нетерпение, — посочувствовал Елене лечащий врач. — Если желаете поторопиться по ответ, ступайте в прозекутуру к патологоанатому. Возьмите гистологию — и ко мне». Елена прошла по утопающему в зелени больничному парку. Вид маленького уютного домика со сказочной двускатной черепичной крышей абсолютно не вязался с табличкой «морг» на двери. Елена пересекла пустынно-гулкий траурный зал, преодолела длинный тёмный коридор. В кабинете патологоанатома слегка пахло формалином и потухшими свечами. Цветы на подоконниках, картины и фотографии на стенах. О предназначении кабинета ничего не свидетельствовало, ну разве что микроскоп на столе и надбитый в нескольких местах эмалированный лоток с десятком мутных предметных стекол. Высокая худая женщина средних лет в белом халате встретила Елену грустной улыбкой.

— Вынуждена сообщить неутешительный вывод, — с тяжёлым вздохом сказала женщина и добавила, — плоскоклеточный рак.

Елена приняла из её рук желтоватый бланк заключения. Бланк дрожал, тихо шелестя. Елена застыла, остановив взгляд на женщине. И вдруг по щекам сурового патологоанатома потекли слезы. И она, только что сдержанная и равнодушная, заговорила срывающимся громким шёпотом:

— Послушайте! Ваша мать очень скоро умрёт! Не повторяйте мою ошибку — пойдите к ней и попросите прощения за всё-за всё! Скажите ей, как тяжело вам её потерять. Пусть она знает, насколько вы цените то, что она сделала для вас, как вы любите её за то, что она отдала вам себя! Я не сделала этого, когда неделю назад умирала моя мама у меня на руках. Я врач и прекрасно знала, что она уходит навсегда, но не сказала ей ни одного нужного слова. Только бляяла какую-то чушь о том, что всё будет хорошо... Я смалодушничала! Уже не исправить, не исправить! А вы можете! Вы ещё успеете!

Они поплакали вдвоём, вытирая салфетками мокрые лица и шмыгая носами. А Елена почти забыла эту беседу. Ей врезался в память страшный диагноз и дрожащий в руке бланк гистологического исследования. Ещё она помнила себя, не чувствующую под собой ног на пути в мамину палату... Так вот для чего ей повторно ниспослан этот день! Чтобы пойти и сказать всё так, как просила та скорбящая женщина. Собрать все силы в кулак, сделать глубокий вдох и... Только вот справиться бы с бегущими глазами, трясущимися руками и дрожью в голосе. А какие придумать слова? Как выбрать нужные из несметного количества пустых и ничтожных?

Елена присела на диванчик в больничном вестибюле. Задумавшись, она даже не сразу заметила рядом с собой молодого человека. Интеллигентной наружности, в очках. Одет он был в тёмный спортивный костюм. Елена подумала, что спортивный костюм совершенно не идёт ему. И лучше бы он надел костюм деловой или, на худой конец, джемпер с джинсами... Где-то она уже видела этот слегка насмешливый взгляд сквозь очки... Хотя в прошлый раз в этом дне они точно не встречались.

Юноша пристально взглянул на Елену и негромко проговорил:

— Блуждаете по прошлому?

Елена содрогнулась всем телом от его, казалось бы, мимолетного замечания. Увидев её замешательство, он любезно пояснил:

— Я хотел сказать, что вы, наверное, погрузились в воспоминания. Или я ошибся? — он хитро прищурился и улыбнулся.

«Какое необычное выражение глаз! Как будто этот парень всех и всё давно простил, и себя заодно простил, чтобы суета не мешала чему-то первостепенному...», — подумала Елена и сама изумилась подобному выводу.

— Ума не приложу, как сказать маме... — начала Елена.

— Что она умирает? — мягко закончил за неё юноша. Елена поёжилась и отвела взгляд.

А собеседник продолжал:

— Да, это сложнее, чем признаваться в последней любви, когда и так всё ясно. Хотя справедливо-сти ради следует сказать — с этим тоже не все справляются. Лучше всего помогает природа, например, лодка и река.

Елена снова содрогнулась и не смогла не посмотреть ему в глаза. Такой молодой, а уже так много понял о жизни! Или просто много знает о Елене?

— На самом деле не столь важно, что вы скажете дорогому человеку, — продолжал юноша с видом старого философа, обожающего читать нравоучения, — страшно помереть в одиночестве и угодить под убогую простынку в зелёный горошек. Просто будьте с ней рядом и обнимите в решающий момент или пожмите руку. Вот так. — Он осторожно взял руку Елены в свою тёплую ладонь и сжал её пальцы так сильно, что их кончики побелели. Елена вырвалась и прошептала:

— Кто вы такой? Откуда вы меня знаете? Вы издеваетесь?

Молодой человек встал и, не меняя чуть насмешливого выражения лица, сказал:

— Проводите больше времени с близкими, мадам! А то не видите по полгода, а потом кто-то неожиданно на машинах переворачивается, и уже не вернуть. И не убивайте в себе младенцев. В себе нужно истреблять жадность и эгоизм, а не маленькие жизни! Блуждать по прошлому, как видите, бывает полезно... Глядишь, повезёт, и подправишь кое-что... — бросил он напоследок с извиняющейся улыбкой и пошёл прочь по коридору.

Елена судорожно сглотнула. Она смотрела ему вслед и была почти уверена, что этот парень – плод её больного воображения. Но пальцы. . . Пальцы всё ещё хранили следы его пожатия. Даже очередная вспышка с картиной больничной палаты и простыней в зелёный горошек не напугала Елену больше, чем этот дикий разговор.

4.

Её двадцать пятое семнадцатое июня. Неспешно выплыв из сна, Елена узнала этот день по огромным ромашкам в вазе на столе. Они – от Серёжи, от мужа. За окном пасмурно – монотонный душный дождик, а в комнате так светло от белых цветочных солнц. На подарок посерьёзнее у Серёжи не хватило денег. Но Елене с детства нравились ромашки. Так и тянет погадать: любит – не любит. . .

Елена встала со скрипучего колченого дивана, потянулась, с удовольствием ощущала свою упругую грудь и тонкую талию, посмотрела в зеркало на дверце старого шифоньера. «Хорошенькая», – частенько шептали у неё за спиной мужики. А в последнее время Елена просто светилась изнутри. Беременность явно шла ей на пользу. Ах, если бы не проклятая нищета!

Когда-то, в первом течении этого дня, ей было безумно страшно. Как они выживут, если она уйдёт в декрет и не будет брать сверхурочную работу? На что им жить? И где? Комната съёмная, а муж и комнату, и питание, и ребёнка на убогую инженерскую зарплату не потянет.

В записке около вазы с ромашками его рукой написано: «Алёшка! С днём рождения! Убегаю на работу. Умоляю – не ходи сегодня, повремени. Нужно ещё раз всё обсудить. Люблю. Целую. С.»

Елена на сегодня записана на аборт, и это сугубо её решение. Муж будто бы и понимает всё, но прямо ничего не говорит, только ходит смурной всё время. Подразумевается, что он против. Но ему тоже страшно, даже больше, чем ей. . .

Елена развернула записку. Та самая, написанная наспех, так и не убедившая её изменить свои планы. . . Но теперь-то всё можно сделать по-другому. Можно по-другому прожить этот день – можно не пойти к гинекологу-подпольщику, не подвергнуться операции без наркоза, не опустошить себя до самого доньшка.

Елена ткнула носом в жёлтую середину ромашки и поморщилась. Она и забыла, как они неприятно пахнут. А не отправиться ли ей на работу, не отменить ли с трудом выпрошенный отгул? Или лучше всё же не ходить, а уехать далеко-далеко на доисторическом чихающем автобусе. Да-да, устроиться между галдящими сельскими тётеньками, которые едут с утреннего базара по домам в обнимку с пустыми корзинами и бидонами. И пусть Елену мутит от токсикоза, запаха бензина и от дорожных ухабов. Зато дед Степан в деревне будет несказанно рад её приезду. И обязательно зарежет курицу и сварит домашний бульон, а пятнистая корова Маруся даст по такому случаю щедрый удой исключительно в целях полноценного питания будущей матери. А потом, ближе к вечеру, придут в гости соседи. Кто с винцом, а кто и с самогонкой. . . А уедет Елена обратно в город уже затемно. День детоубийства пройдет мимо неё, она сбежит от него в деревню к дедушке. Вот и прекрасно! И будь, что будет!

. . . Елена допоздна бродила по улицам и хотела так бродить до самого утра. Но утро не приближалось ни на минуту. Время словно застряло на без двух минут двенадцати.

А что, если уморить себя до полного изнеможения? Не засыпать, пока «рубильник» в голове не отключит сознание, как при перегреве. Может, тогда время потечёт в нормальном направлении, и она заживёт своей *исправленной* жизнью ещё раз?.. Который? Она не знала. И ей было страшно. Выпадет ли ей снова проснуться в каком-нибудь дне своего рождения? Она старательно припоминала их, свои семнадцатые июня, не всегда радостные, не всегда значительные, не всегда долгожданные. В общем, разные.

Елена спрашивала себя, хочет ли она проснуться, например, в своём двадцатом семнадцатом июня? А в пятнадцатом? Но ответа у неё не было. Она лишь чувствовала, что нечеловечески устала. Адски устала. Дарованные сверх лимита дни навалились на плечи грузом лишних десятилетий со всеми возможными промахами, страданиями и страстями. Весьма утомительное путешествие. Ноги подкашивались, глаза застилили слёзы. Стрелки на часах не двигались. Полночный город высился вокруг Елены пёстрым лабиринтом. Она слышала хлопанье луж и шелест дождя. Она тонула в этом дожде, задыхалась, не в силах найти выход из лабиринта. А он всё плотнее и плотнее смыкал свои стены у неё за спиной.

«Господи! Молю о забвении!» – подобно молнии сверкнула в голове чужая мысль. В гаснущем сознании понеслась череда лиц и событий. Чаще всего являлся юноша-философ в очках. Его сменяла мама, Лерка, муж, Миша. Миша, мама, опять Лерка. И снова: Миша, мама. . . И тускнеющие вспышки с картиной больничной палаты и простыней в зелёный горошек.

КРЕКС-ФЕКС-ПЕКС

1.

Крекинг бывает нефтяным и компьютерным. Я выбрал второй и вскоре «докрякался» сначала до условного срока, а потом — до реального «Бентли» и дома на Арубe. Крякнуть — на компьютерном сленге значит «взломать» — программу или систему. А начинал я простым заливщиком — ещё в шестом классе зарабатывал рассылкой сетевых червей по компьютерам братской Прибалтики. Потом «крякал варез» — заставлял бесплатно работать платные софты. Но я бы так и остался ламером, если бы в одиннадцатом классе не познакомился с Милицей — моей Лялей, она приехала на каникулы из Ванкувера, где изучала компьютерные технологии. Она и научила меня азам вирусописания. Я начал зарабатывать продажей самодельных троянов: пять штук за штуку. Вскоре мои детища уже обходили любые системы защиты, сами находили возможные входы и выходы и сами же замечали следы. Внедряя в бухгалтерские программы банковских систем липовые платёжки, мои трояны самостоятельно перегоняли бабки на специально открытые для этого счета. Моим главным рекордом стал взлом виртуального казино. У меня появился босс. Бывало, за день мы с Лялей перекачивали в его интернет-кошелёк до сорока тысяч долларов. И это только мы, а таких умельцев у него было — как я потом узнал — двести человек!

На свои «гонорары» я купил университетский диплом, дом на берегу моря и по «Лексусу» — для себя и Ляли. Ляля же вкладывала все средства в общества, занимавшиеся спасением собак и кошек с мясных рядов Юго-Восточной Азии. Дважды мы с ней летали во Вьетнам, сами выкупали несчастных смертников на бойнях и базарах и переправляли в более кото-лёсо-дружественные регионы. От тех вояжей остался у нас одноглазый кот Эмир. Когда он впервые увидел нас из своей грязной железной клетки, замурлыкал так громко, что сморщенная торговка-вьетнамка сжалась и отдала нам его просто так — безвозмездно. Мы привезли доходягу домой, откормили и на его голубом глазу целыми днями совершенствовали своё кибер-мастерство.

К сожалению, всё хорошее рано или поздно кончается: когда нашим ребятам «посчастливилось» сломать защитные системы одного из европейских банков и увести почти миллион евро — нашу группу накрыли. Не рискнув обналить электронные проценты, на всякий случай мы с Лялей убралась из России — к сожалению, в разные стороны. Ляля вернулась в Ванкувер и вышла замуж, мы же с Эмиром переселились в Одессу, где я пару лет проинженерил рядовым программистом, а потом выиграл гринкарту и вот я — в США. Опасаться мне было нечего — тот злосчастный банк вскрывали не мои крэки, да и под удар обычно попадают не профессионалы, а дропы — те, кто за пару процентов тупо обналчивает деньги и отправляет их боссу.

В США я быстро нашёл работу по специальности — и не где-то, а на Интэле, но через полгода не устоял и влез в его программное обеспечение. Влез чисто случайно, даже не поняв этого: просто вечером понадобились кое-какие данные и не хотелось ждать до утра. Но в США за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров — даже не корысти ради — по голове не гладили. Я получил полгода условно и потерял работу — с Интэла пришлось уйти. Временно я решил завязать со своей киберзависимостью и уделить, наконец, внимание своему второму хобби — машинам.

Машины — в отличие от компьютеров — я не вскрывал, а ремонтировал. Я устроился механиком в один из автосервисов Сиэтла, и жил, потихоньку обналчивая оставшиеся от лучших времён электронные деньги. И искал, искал свою любовь, свою Лялю.

Я искал её с первых дней на Американском континенте. Несколько раз ездил в Ванкувер, но и там эти поиски не увенчались успехом: ни в администрации её университета, ни в обществе защиты животных, ни в фитнес-клубе, который — как я знал — она посещала — никто не слышал о ней почти год. Не нашёл я её ни по интернету, ни по телефонному справочнику — тем более, что никто не знал её новой фамилии. Но, видимо, слухи о моих поисках дошли-таки до неё, потому что месяц назад на мой электронный адрес пришло вдруг долгожданное письмо.

Ляля кратко писала, что живёт в районе Твин Пикс, и что ей нужна моя помощь. Я тут же сообщил ей свой телефон и адрес, но больше её не услышал. Я писал и писал ей каждый день — безответно. Я переехал в район Твин Пикс — в полчаса от моей работы — и поселился в местном отеле над водопа-

дом, в номере с камином, о чём сразу ей написал, но это мне тоже ничем не помогло. Прошёл её день рождения, прошли Рождество и Новый год, и вот, накануне Старого Нового года, когда все мои надежды на чудо почти рассеялись, я решил после очередной обналочки нанять частного детектива.

Один уже давно был у меня на примете. Звали его Икака Аристотель Нигропулос. Я познакомился с ним в автосервисе чисто случайно: по своей расхлябанности он, не подняв ручник, решил собственноручно посмотреть, что у него стучит возле поддона. Машина – пятнадцатилетняя «Юго Кабрио» – покатила колесом ему прямо на голову, защищённую только наушниками с айподом. К тому же, это произошло, когда мистер Нигропулос, лёжа на асфальте, в глубокой задумчивости смотрел не на машину, а в сторону ближайшего Макдональдса. Увидев сию картину, я метнулся к Юго и вытянул ручник.

Хотя, возможно, его бы и не убило, Икака решил, что я спас ему жизнь. А ещё больше он решил, что мне скоро понадобятся услуги детектива. И, вместо того, чтобы просто поставить мне бутылку (пивную – ничего крепче я не пил), он при каждом визите настойчиво совал мне визитки, расписывая достоинства своей конторы.

Через пару недель после инцидента с «Юго» детектив явился с забинтованной-таки головой. Его авто – на этот раз тридцатилетний «Пежо» – был весь в безнадёжных царапинах, по словам детектива, во время последней операции ему пришлось пробираться сквозь кусты терновника. Кожаные кресла салона тоже были в каких-то подозрительных, по виду винных – пятнах. Салон я тщательно очистил, а царапины загипсовал специальной пастой так, что антиквариат засиял как новенький. Икака пришёл в неописуемый восторг и, не скупясь, отстегнул мне лично штуку, хлопнул меня по плечу и лихо выдал по-русски непечатную фразу, смысл которой заключался в том, что ему очень нравится моя работа. На этом его познания русского языка и исчерпывались.

Обычно он приезжал раз в неделю (именно с такой периодичностью ломался какой-то из экспонатов его «автопарка»), неустанно шутил, рассказывал всякие приколы, которых я не понимал, совал мне во все карманы отпадные чаевые и настойчиво предлагал воспользоваться его услугами. Он мне сильно кого-то напоминал, этот вертлявый Икака, причём кого-то, знакомого с детства, но точнее вспомнить я не мог. Он был на голову ниже меня, всегда небрежно одет, с непослушными пегими волосами и жёлтыми глазами, с лицом, всегда будто с хорошего бодуна, и с (на удивление) носом картошкой. Лет ему было около сорока или немногим меньше. Несмотря на греческую фамилию, он был настолько не похож на грека, насколько это было вообще возможно. Хотя он никогда не хвастался своими профессиональными успехами, я был уверен, что он был толковым мужиком.

И вот, наконец, пробил час, когда я решил воспользоваться услугами мистера Нигропулоса.

Я позвонил по номеру телефона, указанному на визитке – номеру детективного агентства «Ипподром» (!). Мне никто не ответил, лишь автоответчик прокуренным женским голосом порекомендовал оставить сообщение. Сообщения я оставлять не стал, потому что вспомнил, как Икака нацарапал мне на чеке номер своего мобильного. Я разыскал в карманах, среди десятков обрывков и огрызков тот чек и набрал записанный на нём номер.

Мне ответил неровный – будто с похмелья – голос.

– Хелло, Икака! – поприветствовал я его, как ни смешно мне было произносить это имя.

– Ик? . . . – то ли громко икнул, то ли переспросил, то ли попытался представиться Икака. (Дальнейший разговор шёл на доступном мне английском с использованием некоторых доступных Икаке русизмов; в меру своих переводческих сил я привожу здесь более-менее приличный вариант).

– Это твой русский друг из автошопа. Помнишь? – напомнил я, хоть и был уверен, что он меня прекрасно помнит – не позднее прошлой среды я очищал его очередную многострадальную тачку от каких-то радужных кругов.

– Факинг фрэнд! – воскликнул Икака после минутной заминки. – Что, хочешь ещё подзаработать? Жди завтра в гости – у меня как раз отвалился глушитель.

– Да нет, на этот раз я решил дать подзаработать тебе, – я перешёл на деловой тон. – Ты мне предлагал воспользоваться твоими услугами, так это. . . я скопил немного денег и хочу, чтобы ты разыскал одну девушку, она живёт где-то в Твин Пиксе, точнее я сказать не могу. Можешь ли это сделать, и сколько это будет стоить? – я выпалил это всё без передышки, ожидая соответствующей деловой реакции на том конце провода.

– Я могу не одну, а трёх девушек тебе разыскать, – услышал я его неуверенный ответ.

– Да нет, мне нужна одна. Что тебе для этого потребуется?

– Постой-постой! Нельзя же всё так сразу, да ещё и в субботу утром! – я услышал звук льющейся жидкости. – Сколько, говоришь, будет стоить? Я беру двести в час – и это дешевле, чем у моих коллег, а мне просто людей жалко. Шучу! Обычно я беру две штуки вперёд, но с тебя возьму три. Опять шучу! Хихиг! – он икнул прямо в трубку и замолчал.

– И сколько времени у тебя уйдёт на эту работу? – возобновил я беседу через добрую минуту молчания на том конце провода. Похоже, мистер Нигропулос тут же взялся за подсчёты, потому что до меня донеслись шелчки, шуршание бумаги и наконец, радостный вопль:

– Часа два-три, если без осложнений. Первый взнос для тебя лично – триста. Идёт?

– Идёт! Тогда я высылаю чек? – обрадовался я. Триста у меня на счету были и так, и значит, я мог не касаться пока своего «золотого запаса». – Устроит?



– Да какая мне разница, чек-крек, я-то тебя найду в любом случае, я же детектив! Шучу! Хихт! – Икака опять икнул и снова заглох. На этот раз в трубке повисла гробовая тишина, похоже было, Икака просто заснул.

– Ты что, выпивши? – догадался я.

– Нет, я – как раз протрезевши! – бодро сообщил он. – Короче, давай, друг, посылай мне имя, фамилию, дату рождения – всё, что знаешь об искомом человеке, – он продиктовал свой электронный адрес. – Ещё есть вопросы, а то мне пора – без пятидесяти грамм я работу начать не могу. Шучу. Я тебя потому и люблю, что русская водка – самая лучшая! И опять шучу! Кокуй тоже неплох. Знаешь, что такое кокуй? И вообще, будешь на родине, не забудь прислать мне ящик хорошей горилки!

Я услышал звон стакана о трубку, и в ухо мне пошёл отбой.

После такого «дискурса» я решил, что крепко лоханулся с детективом, но делать было нечего, других знакомых детективов у меня не было, да если и потеряю деньги – не жалко, электронный кошелек всегда был наготове. И почему-то он всё равно внушал мне доверие, этот сын греческо-подданного и латиноамериканки.

Подбросив в камин дровишек, чтобы он не выстудился к моему возвращению, я налил Эмиру свежей воды и поднялся на четвёртый этаж – там к услугам гостей отеля был небольшой бизнес-офис. Сев за монитор, я со щемящим сердцем описал свою Лялю.

2.

Я стоял над головокружительной бездной и смотрел, как в её черноту падало декабрьское мало-водье водопада. Над бездной растянулась радуга, в которую, широко раскинув длинные белые крылья, ныряли огромные птицы. Альбатросы? Буревестники? На Чёрном море я никогда не видел таких больших птиц. Огорчившись, наконец, от диковинного зрелища, я решил спуститься в гостиничный бутик. Вся моя одежда оставалась на работе – в подсобке автосервиса, к тому же, давно пора было обновить гардероб. В бутике я остановил выбор на «дивном, сером в яблоках костюме» – в таком будет не стыдно встретиться с Лялей. Я ведь не видел её почти три года – какая-то случившаяся перед нашим побегом глупая ссора, причину которой я даже не помнил, положила конец её любви. Но не моей.

Как только я, загруженный покупками, вернулся в свой номер – зазвонил телефон.

– Есть новости! – радостно сообщил Икака. – Твоя Ляля действительно сейчас здесь, и недалеко. Срочно приезжай в мой филиал в Твин-Пиксе – в квартале от твоего казино. Увидишь «Ипподром» – входи смело, и мы с тобой к ней подскочим.

Вне себя от радости, я заскочил в душ, натянул только что купленный костюм и приладил галстук. Сняв горящим глазом, Эмир обалдело носился из комнаты в ванную и обратно, будто предвкушая скорую радость. Бросив для него на пол весь пакет кошачьего корма и рассовав по карманам пачки соток, я как на крыльях полетел на встречу. Меня не насторожило ни то, что прошло менее часа с моего звонка Икаке, ни то, что он позвонил мне прямо в комнату, а не на мобильник, ни то, что он назвал казино «моим».

Через пятнадцать минут я был на месте. Кособокая вывеска «Ипподрома» скромно примостилась рядом с чьим-то гаражом. Наступали сумерки, и мне подумалось, что будет как-то неудобно так поздно явиться к Ляле. . .

Коридор офиса был безлюдным и абсолютно пустым, ни шкафов, ни кресел. Я сунулся в единственную открытую дверь и сразу увидел Икаку. С закрытыми глазами, поставив ноги на стул, а руки – на корпус компьютера, он сидел на столе. Кроме компьютера, пластикового стаканчика и самого Икаки, на столе не было ничего, не считая ещё огромного декоративного карандаша с колпачком в виде лошади. На мистере Нигропулосе красовался яркий индиго-синий пиджак явно не первой свежести, со съехавшим влево галстуком, украшенным парой пятен кетчупа и горчицы. Я даже сначала подумал, что это такой странный, астрономический рисунок: будто расположение красных планет вокруг солнца.

Икака, похоже, дремал.

– Как же ты нашёл меня в отеле, я же не говорил, откуда звоню? – хлопнул я его по шершавому плечу и взял со стола «карандашик». Он оказался неожиданно тяжёлым.

– А чего удивляться? – проснулся Икака. – Я же детектив, а не адвокат. Это адвокаты ничего не могут. А вот тебе, брат, скоро понадобятся адвокаты. Хи-хи!

– Какие ещё адвокаты? Я человек честный! – напрягся я, стараясь, однако, не терять невозмутимости.

– Я ещё не видел честного русского, только «Чёрного русского» и «Белого!» – скалambuрил грек. Он привстал со стола, глядя мне прямо в глаза снизу вверх, протянул руку и захлопнул дверь у меня за спиной. И продолжил:

– Да нет, конечно же, я видел честных русских, и не одного. Но честными только коммунисты бывают. Ты не коммунист?

– Что за шутки? Может, я американского юмора не понимаю? – недоумевающе оглянулся на запертую неизвестно зачем дверь и впил лошадиную гриву себе в ладонь.

– А у меня юмор европейский! – снова хихикнул он и вдруг резким броском выдернул из моего кармана пачку соток. – Я всё знаю.

У меня подкосились ноги, но я всё равно постарался сохранить самообладание и сел на единственный в офисе стул. Икака, быстро убирая со стула ноги, отмахнулся:

– Да ты не бойся, мы договоримся! Я же не америкос какой-нибудь, который бы тебя сразу сдал в кутузку. Нет, конечно, если ты предпочитаешь не договариваться, я тебя тоже сдам по дружбе, – ловко вкладывая пачку в мой карман, продолжал он. – Мы же с тобой лучшие друзья!

«Действительно, настоящая ты икака», – подумал я и повторил:

– Я ничего не понимаю!

– Это я ничего не понимаю в компьютерных делах, но даже мне смешно: человек увёл кучу денег из интернет-казино и остался невычисленным, а потом просто заглянул в рабочий компьютер – и загремел под условный срок – это же комедия. Чего ты прицепился к лошади? Ты ещё не привёз мне горилку? Тогда отдавай скакуна.

Он взял у меня из рук конский карандаш и открутил ему голову – конь оказался флягой. Икака налил из неё в стаканчик желтоватой жидкости и протянул его мне, а сам приготовился пить прямо «из горла».

– Ну, за наше совместное предприятие!

– Я тебя не понимаю! – упорствовал я, прекрасно видя, что это «сопротивление бесполезно». Не зная, как себя вести, я залпом осушил стакан – желтоватый напиток, несмотря на мягкость, оказался очень крепким. С непривычки у меня заложило уши и зашумело в голове. Икака же аккуратно отхлебнул из конского горла и задумчиво уставился на меня.

– Хватит дурака валять! – внезапно рявкнул он. – Если бы я хотел, ты бы уже сидел за решёткой в ЕС, или поджаривался на вертеле у русских бандитов – под хреном или горчицей, по их усмотрению. Ты ведь тогда умыкнул не только свои денежки... Короче, расслабься и слушай сюда.

Икака хлопнул меня по плечу и наполнил мой стакан жёлтой жидкостью. Я уже догадался, что это и был хваленый кокуй. Выпив ещё, я чуть успокоился. Со страху-то я начисто забыл, что мы собирались к Ляле. Икака мне напомнил:

– Как ты уже понял, госпожу Лялю я не искал, потому что обнаружил, что по тебе Интерпол плачет. Говорит, что ты – жулик, – упиваясь выражением моего посеревшего лица, протянул Икака. – А я в это не верю. Потому как, какой же ты жулик, если они лохи? Хихт. Так выпьем за то, чтобы они никогда не нашли ни тебя, ни деньги.

Я снова послушно выпил. Комната поплыла вокруг своей оси и вокруг Икаки.

– Так вот: слышал ли ты о споре Томаса Джефферсона с Буффомом?

– Президента Америки – с итальянским вратарём?

– Не итальянским, а французским, и не вратарём, а графом. Это знаменитый натуралист-академик граф де Буффон, автор «Естественной истории». Короче, в девятом и четырнадцатом томах своей книги он выдвинул идею дегенеративности Америки. Обосновал он это тем, что почти все животные в Западном полушарии меньше, чем в Восточном, кроме лягушек и комаров, что тоже доказывает их неполноценность: ну ничего же нет омерзительнее, чем исполнинские лягушки и комары. В Америке нет слонов, носорогов и бегемотов, а вместо верблюдов – ламы. Пумы меньше львов, рыба невкусная, а птицы не умеют петь. Более того, когда животных привозят в Америку, они начинают дегradировать, собаки, например, разучиваются лаять. То же и с самими американцами: они менее жизнеспособны, чем европейцы и – тут уж поверь – их не тянет к бабам. Бабы же их плечисты как пловчихи, грубы и вообще отвратительны. Причина – по Буффону – повышенная влажность и «ядовитые испарения» американского воздуха. Понимаешь, как интересно?

Я кивнул. Интересно мне было другое: всё ли у него в порядке с головой? Какая «повышенная влажность», например, в Канзасской пустыне? Да и по привезённому в Америку Эмиру я не заметил, чтобы он дегradировал, скорее, наоборот...

– Ну так вот, – продолжал детектив, – Джефферсон вбил себе в голову, что для того, чтобы доказать французу его неправоту, надо поймать огромного лося. И несколько лет гонялся за американскими лосями, доказывая, что он не верблюд. Когда его дружки убили, наконец, трёхметрового лося, Джефферсон на радостях нанял целый корабль, чтобы привезти останки лося во Францию. Но дружки – случайно или по приколу – потеряли останки, и корабль уплыл без них. Теория дегенеративности так и не была опровергнута – но и не была подтверждена. Так вот: я хочу здесь и сейчас доказать правоту Буффона! Я хочу развалить Америку в одном отдельно взятом штате – и этот конкретный штатишко мне вполне подходит.

Я тихо сидел, прикидывая, действительно ли он круглый дурак, или меня загружает, или же просто допил до чёртиков. Польщённый моим молчанием, Икака продолжил вопросом:

– Знаком ли тебе городишко Олимпия?

Я кивнул. О развалинах Олимпии я впервые услышал от Ляли – она часто бывала там, когда ещё жила в своём родном Косово. Позже в Олимпии я побывал и сам. Это ведь там начались когда-то олимпийские игры. Грецию мы с Лялей исколесили вдоль и поперёк. Видели и Спарту, и Аркадию, и Микены, и даже остров Итаку. Не увидел я вместе с Лялей только её родины: это было для неё – сербки – небезопасно, потому что её родной городок уже заняли чужие. Но мы побывали на Эвбее, где умер Аристотель, и на Самосе, где родился Эпикур. Хотя философия не была моим любимым предметом, в то время я просто помешался на ней. Я вообще не был дураком. О чём и поведал подробно Икаке.

По его отвисшей челюсти и остановившимся глазам я решил было, что он просто-напросто сражён моей эрудицией, но он во всё горло разразился сардоническим смехом.

– Микены! Итака! – кудахча от смеха, повторял этот странный грек. – Я тебе не про развалины толкую, а про высокоразвитый современный сити.



Тут я вспомнил, что Олимпией называется столица этого штата. Меня немного задело, что грек совершенно не оценил мои древнегреческие познания.

— Я там не бывал, — сухо ответил я. — Это километров сто к югу?

— И слава Богу, что не меньше! — завизжал на весь офис Икака, чем уверил-таки меня в мысли, что передо мной сидит самый обыкновенный сумасшедший. — Олимпия — это столица этого долбаного штатишки, а Сиэтл — самый крупный город этого же долбаного, сырого, дождливого штатишки, к тому же порт. А соединяет эти важные городишки — вот горе-то — одна вечно загруженная — причём, допотопная — автострада, по которой в час пик нужно добираться из города в город больше двух часов. По моим каналам я получил разработки планов... Слушаешь?

— Каких планов?

— Планов строительства скоростной железной дороги, которая пройдёт через Сиэтл и Олимпию. Дорога будет вести с юга штата — из южного Ванкувера — почти до северного Ванкувера — до канадской границы. План ещё в разработке, ничего ещё не утверждено. Так вот, мне нужно, чтобы ты вошёл в их систему и скачивал информацию о ходе дел и о том, где именно они собираются купить землю под строительство. Это нужно делать оперативно — когда проект утвердят, никто тебе недвижимость там не продаст: зачем, если можно будет содрать втридорога с корпорации. А пока об этом и речи нет, в основном это заброшенные земли вдали от городов. Я уже договорился с несколькими владельцами таких наделов — они давно мечтают сбавить их — меньше доллара за квадратный фут, всё вместе потянет не больше чем на шестьсот тысяч...

Икака помолчал и добавил:

— Поэтому мне и нужен ты. И если ты согласен — сейчас же едем к боссу!

Я быстро подсчитал в уме:

— Так ты что же, полштата решил купить?

Икака молча кивнул. С ним было всё ясно. Одним словом, нужно было сваливать. Преувеличенно воодушевлённо, как и следует разговаривать с пьяными и помешанными, я воскликнул:

— О-о-очень интересный план! Да ты просто гений! Классная идея, она мне самому очень нравится. Значит, завтра бабки тебе сюда привезти?

Икака сидел на столе, обхватив голову руками и опершись локтями на компьютерный монитор, но как только он услышал слово «завтра» — выпучил глаза, выпрямил плечи, икнул. Ударил о стол кулаком и помахал коротеньким пальцем возле самого моего носа, чуть не выколов мне глаз:

— Мне твои деньги не нужны. Я тебе уже сказал: мне нужно, чтобы ты вошёл в их систему. Как ты сделаешь своё виртуальное дело — не моя забота, моё же дело конкретное: обвалить рынок недвижимости. Это приведёт к кризису — сначала здесь, потом по всей стране, потом — по всему миру. Как ты знаешь, из кризисов рождаются революции, мировой же кризис — это начало мировой революции. Верхи не могут, низы не хотят — ну, ты в курсе.

Я был в курсе: это напоминало страстную речь Остапа Бендера перед васюкинцами. У Икаки тоже из местной искры разгоралось мировое пламя.

— Ладно, уговорил! — кивнул я. — Где здесь туалет?

Икака отпер дверь, и я вышел в широкий холодный коридор с твёрдым намерением: поскорее сесть в машину и, заскочив в отель за котом, валить как можно дальше. Однако входная дверь оказалась наглухо запертой, а окон не было. В конце коридора обнаружился туалет, тоже без окон. Делать было нечего. Я щёлкнул дверной задвижкой туалета и вынул из внутреннего кармана всё ещё записывающий диктофон. Отмотав чуть назад, я приложил его к уху и остался доволен качеством записи. Есть ещё минимум два часа свободного места — можно было записать и разговор с Икакиным боссом. Икака был у меня под колпаком. Если я решу послать это куда надо — ему не сдобровать, по крайней мере, лицензию детектива он точно потеряет.

Когда я вернулся, мистер Нигропулос разбирал какие-то чертежи и фотографии. Увидев меня, он сбросил всё это в ящик стола и воскликнул:

— А теперь — две новости, отличная и хорошая: никакой Интерпол тебя не ловит, а письмо от госпожи Ляли мы написали сами. Мы держали тебя на примете несколько месяцев именно затем, чтобы убедиться, что всё в порядке. Не волнуйся: на нас работает не один хакер, и все они — твои соотечественники. Вы же, товарищи, лидируете и по числу созданных вирусов и по их сложности. Но ребят твоего уровня у нас нет. Жить и работать можешь в нашем ашраме — там тебя никто не потревожит.

— В ашраме?

— Ашрам — это место, где нет боли. А в залог того, что я хоть и пьяный, но серьёзный человек, я подарю тебе всего за двадцать тысяч свой «Бентли» — всё-таки, ты Микены видел.

Я тут же притих. Когда мы вышли на улицу, совсем стемнело. Икака нажатием кнопки открыл дверь прилегающего гаража, внутри которого и оказался сверкающий чёрный «Бентли Континенталь». Детектив, немного подумав, сам сел за руль и заявил:

— Поехали, но сначала мне нужно помолиться, я же грешу — пьяный за рулём!

Мы подехали к... мечети, он вышел из машины, поднял руки к небу и прокричал:

— О Аллах, прости меня, а-а-а-а-а!

Я понял, что он — мусульманин.

Через пять минут мы подехали к католическому храму, и он опять выскочил из машины.

– О, святая дева Мария, прости мне грехи мои! – и перекрестился... слева направо.

Я понял, что он – католик.

А чуть подалее мы притормозили возле греческой православной церкви. Икака вытащил меня из машины и поволок за собой внутрь. Вечерняя служба уже заканчивалась, люди расходились. Икака купил себе и мне свечки, и мы подошли к иконе Николая Чудотворца, а потом – к иконе, на которой была изображена женщина с короной. Вглядевшись в надпись на иконе, Икака перекрестился, справа налево, и заявил мне:

– Это икона святой Миллицы. Клянись на неё, что не будешь чудить!

Я, конечно, человек совсем не религиозный, более того – почти атеист, но немного струхнул. Икака будто прочитал мои мысли и, покачиваясь, стоял и ждал. Делать было нечего, я перекрестился на изображение коронованной женщины и поклялся, уже не понимая, ни какой я веры, ни кто я сам.

Через пару минут мы вышли из церкви, Икака продолжал отрешённо молчать, погружённый в свои мысли. В этот раз он сел на пассажирское сиденье и молча протянул мне ключи. Я наконец оказался за рулём вожделенного «Бентли».

– Икака, – обратился я к нему, – объясни мне эти движения: то ты мусульманин, то католик, то православный...

– А какая разница? Бог-то един, и ему всё равно, через какой носитель я с ним свяжусь, а чтобы наверняка, я связываюсь через все доступные, – и, взглянув на часы, он с досадой вздохнул. – Так, в синагогу уже не успеваем. Сворачивай вот сюда, через три светофора поверни налево – там и будет наш ашрам. Босс ждёт.

А у ашрама я ещё издали увидел Лялину фигуру – её длинные чёрные волосы и красный шарф до земли – я сам когда-то подарил ей его. Я сунул руку в карман и выключил диктофон. Взлом защитных систем единого бога в мои планы не входил...

... Стоял цветущий 2005 год. Развал мировой экономики в одном отдельно взятом штате начался.

ГАЛИНА МАРКЕЛОВА

«ГДЕ ЭХО ДЕВОЧКА ТАИТСЯ...»

Бессонница открыла мне глаза
и, оглядевшись,
ясно вижу —
как сломан стул,
как еле жив диван
и сталью стонущей унижен...
Как щепки в море —
суть овеществление трагедий,
они торопятся поведать,
каких стихий был злой разгул,
каких страстей здесь ветер дул,
и суд каким числом проведен...

Все та же перепись,
ночь первородного черней греха,
на царстве Ирод.
В хлеве пастуха,
что держит стадо возле Вифлеема,
остановились странные евреи:
он — кряжист, выработан,
стар и, несомненно, — скряга,
она — девчушка с животом
под нос, бедняга,
и кто ему — дочь, внучка,
но никак уж не жена?!
Одега кое-как, босая,
но если взгляд она бросает,
то тонешь в удивлении зрачка,
доверчивость просторы раскрывает,
лишь обозначенные вскользь,
а лёгонький раскос,
а веера ресниц
на панораму зренья намекают.

Марина, Вы точно знаете уже...
Ах, горло узкое небытия прогрызши,
вкусили ль соли вожаделенной —
той —
бессмертия крупницы?
Там ли — в безмерности —
искус инаковый нам мнится?



Помилуйте напыщенность мою —
 не ведаю — ни —
 «на каком» — в раю.
 ни — в оппозиции —
 бормочут —
 я попыгаюсь . . .
 Так.
 Короче.
 Привык к чужим созвучиям язык —
 тональности иной мелодия российской речи,
 утеряны полутона.
 Теперь:
 скупее — жёстче — резче . . .
 «Дискавери» — подменной
 Арины Родионовны нам днесь,
 А «млечный» — то — «гремуча смесь» —
 особенно в провинции — вот здесь,
 где музыка строки
 из тишины глушизн . . .
 Запаривает круто глянец жизни:
 рекут рекламы без-дыханно,
 но ударения, ребята, но акцент
 олбанский при общении,
 совсем как в анекдоте
 про проценты . . .
О гордости, о славе, о любви . . .
 Давно хочу я справиться у Вас
 о времени, о синеве небес —
 как там?
 Ах, неужели — без?!

Простите, но толпа друзей, верней их тени,
 что окружают,
 на части разрывают,
 сжимая круг теснее —
 бессловесны —
 я их намёков не пойму никак . . .
 Строкой своею мне подайте знак,
 ведь Вы продумывали всё
 заранее
 и в текстах . . .

Толпа друзей сужает круг тесней,
 студёные фантомы их сбивают с толка —
 не столько — вверх иль
 вниз —
 а чаще — на чей вкус
 верней уход из жизни —
 пра-вильней —
 вольней . . .
 Что раньше ставить —
 право,
 волю,
 веру?
 До Страшного Суда, увы, видения безмолвны,
 кровавой взятки больше не берёт Аид . . .
 А дальний круг — он жёстче,
 рассудочней,
 бездушнее и потому страшней,
 что далее . . .
 Что дальше? —
 веки Вя . . .



Прости Литература и Россия
 нам новояз и храмов новострой,
 что возникают в прежнем месте –
 у судьбы на повороте –
 с учётом интересов всех вождей
 от малых фирм
 до тех, кто поважней.
 Глядишь, и новый Русский Мир построим...
 (Отсель мы в храм заходим строим
 под неусыпным бдением
 си-кю-ри-ти)...
 Ах, Господи, мою мне дурь прости!
 (Навеяло недавнее открытие...)
 А вот как – жить,
 как – умирать
 и прав ли Эпикур?
 Марина, не смущать же постсоветских кур,
 махнувших от шеста да под епитрахиль
 строкой об этикете
 (как умирать нам стоит),
 понятно, нынче стоит чересчур,
 но дело в том – *кто* – ставит точку?
 Лукавый бес ли,
 лапа эскулапа,
 Иль ангел тихий должен пролететь?

Взметнув батист сорочки
 бутон доверил ветру запах...
 Бесстыжи – непорочные –
 их бытие без страха –
 невинна детскость рая,
 где нет почти запретов:
 «что хочешь – то и делай,
 но только вот не –
 Это...»
 Извилистою тропкою
 змеится сквозь Эдем
 исток границы робкой
 между добром и тем,
 что опускает ловко
 и наречётся злом,
 что будет перекручивать
 судьбу шальным узлом...
 Ах, белладонна, деточка,
 беспугтен мрак ночей –
 ведь ты годишься всякому,
 особо – для врачей!

Рука поставлена –
 ей не сыграть иначе,
 всё кончено...

Вот чётко обозначен свод
 над всплеском звуков, судеб, вод,
 вернее, всем, что льётся, что течёт
 и обладает свойством длиться
 до утлых уголков,
 где Эхо девочка таится.

А вздох её откатит вспять
туда, откуда звук рождается,
где возбуждёнью суждено продлиться
замерев,
как своду рук, что стали костенеть.

И пишутся стихи всё реже,
и чётче боль, суставов скрежет
при скрипе трущихся фонем,
когда евангелию вонмем,
и понимаешь, как изношен
загадочный угробы аппарат,
из шума звук, отцеживающий подряд
без мелкого намёка на нюансы –
синкоп резона в гласных танце
с ударной нотой бытия,
когда рокочет лития...
Лишь чуешь – вот сознание морщит,
как будто камушек бежит
почти не тронув смысла глади –
но ощущаешь, жив ты Бога ради,
что ждёт он, шанс даёт тебе –
весь долгий перечень грехов
на диком прошептать жаргоне.

ИЛЬЯ РЕЙДЕРМАН

РАЗГОВОР С ПЛАТОНОМ

Сквозь безнадёжность этих дней
любовь свою неся,
люблю тебя ещё сильнее,
хотя сильнее – нельзя.
Пусть говорят: на свете нет
любви, не может быть, –
из недр души возникший свет
сумел всё озарить.
Свет – всей вселенской тьме назло.
Всё видеть – без помех!
Тебе светло, и мне светло.
Нам жаловаться – грех.
Мы – зрячие среди слепых.
Мы – не в своём уме.
И знаем мы, как светел миг,
сгорающий во тьме.
Он – как падучая звезда.
И мы с тобой – сторим.
А всё же истина – проста.
Её понять – двоим.
Пусть смерть свою хранит Кашей,
не смеющий любить.
Не вещью быть среди вещей,
а светлой вестью быть!
Ну а о чём же эта весть?
Она о том, чего не счесть.
Что быть должно – то всё же есть:
любовь. И творчество. И честь.

День открыв, как новую страницу, –
сеять ли овёс или пшеницу?
Иль заняться вовсе и не делом, –
мысль свою записывая мелом?
Да, записывая и стирая –
вслед за ней появится вторая,
а вдогонку, может быть, и третья.
В промежутках – только междометья,
в промежутках – знаки препинанья,
суета и споры, препиранья.
И когда в конце поставишь точку –
в камеру навеки, в одиночку,
в подземелье – знаешь, чем чреватом.
Где отдельным станет каждый атом.

День открыв как новую страницу –
выпустишь ли мысль свою, как птицу,
на свободу, в голубую бездну?
Ей ведь в черепной коробке тесно!
День открыв, как новую страницу,
вдруг поймёшь, что время – измениться.
Выскользнув из нашей крутоверти,
прежде, чем умрёшь, – уйти в бессмертье.
Где не борются и ненавидят,
где не купят всё – и не исчислят.
В мир, в котором, не глазают – видят!
В мир, в котором не считают – мыслят!
Где, житейским вопреки законам,
продолжают разговор с Платоном,
и, презрев любую неуместность,
мысль свою бросают в неизвестность.

Не выше и не ниже я растений,
я только существо – не божество.
Любой цветок среди пустыни – гений.
Всё, что живёт – имеет естество.
Естественно оно – ибо на свете
есть в самом деле, – не жалея сил,
всю сущность вкладывая в формы эти,
пока огонь безумный не остыл.
Живая жизнь – живёт, не рассуждая,
живёт, как ей повелевает страсть.
... Но в нашем небе – птиц железных стая.
Но в нашем море – рыб железных власть.
Но в нашем мире – в проводах железных
запугалась крылатая душа.
К чему она? Забыв о звёздных безднах,
мы, по асфальту шинами шурша,
спешим. Среди железа и бетона,
среди пестро раскрашенных пластмасс, –
Ты, робот, тычешь в кнопки полусонно,
да и живёшь, не поднимая глаз.
Чтоб, заглянув в глаза, не угадали
твою от нас скрываемую суть:
не человек! Из кремния и стали!
Да биомассы гаденькой – чуть-чуть.

Ну а день-то, ну а день-то каков!
Как подсвечен нижний край облаков!
Вот слепящая, как солнце, кайма.
Зимний день сошёл, должно быть, с ума.
Не тоскует – что ему холода!
Он ликует, он горит без стыда.
Он на серую грунтовку холста
бросил небо, землю, снежный простор.
Серебрится и сияет, чиста,
эта даль. Ну а всё прочее – вздор!
Вздор – заботы и болезни, хандра.
В суете ли охмуряющей – суть?
Этот день, что так прекрасен с утра,
неужели хочет нас обмануть?



И не скроет облаков пелена
свет светила, что незримо пока.
И внезапная небес глубина
намекает нам, что жизнь – велика!
Велика. Но так от нас – далека!
Хоть и ближе ничего нет для нас.
До неё бы дотянулась рука –
лишь скажи два слова: «здесь и сейчас»!
Где ты? Кто ты? Ты и вправду ли – здесь?
Ну а день – не утаил себя – весь,
несмотря на хмурь и зимнюю хмарь,
вписан в космос, в бытие, в календарь...

Хайдеггер нам дал совет –
видеть бытия просвет,
Что в просвете бытия
вижу? Может, муравья?
Ну а этот муравей
лезет в небо, дуралей,
свалится со стебелька
от порыва ветерка.
Том возьму Розанова, –
себя открою заново.
А с ребёнком пообщаюсь –
сам в себе не умещаюсь!
Я бы выпрыгнул из клетки
тела, в небо дверь открыл.
Но, увы – мгновенья редки,
да и Бог не дал мне крыл.
Переполниться простором!
Поглазеть на облака!
Но, конечно, скажут хором,
что похож на дурака.
Полежу под деревом –
став совсем потерянным.
Я и Дерево. И нет
телефонов и газет.
То, о чём шумит листва, –
новость, что всегда нова.
Ей, единственной – и верьте!
... Тихий лепет о бессмертье.

Снег летит – и сразу тает,
не укроет прозы пошлой.
Зря он в воздухе летает,
зря упорствует – он прошлый.
С каждым днём весна всё ближе.
Белый свет в оконной раме.
Снег, как чистое двустигишье,
не слышанное нами.
Торопились сбросить шубы.
Что нам этот тихий шёпот,
холодеющие губы,
трезвость мысли, горький опыт?
Строки в воздухе косые.
Весть, написанная бегло.
Ну а мы уже другие.
Нам из холода бы – в пекло!



Снег летит – и сразу тает,
Он – из тьмы – и снова в темень.
Ибо время убивает,
если ты – не своевремен.
Ибо время убивает,
ибо время убивает.
... Только тех оно и помнит,
кто о нём не забывает.

Жизнь – перед её лицом
скучно быть безгласной вещью.
Лучше быть её птенцом –
и восторг в тебе заплещет.
Ведь душе, что так вольна, –
не на чем остановиться.
Ты птенец, и ты волна,
ты и дерево, и птица.
На себе поставить крест?
Только как себя отыщешь?
Ибо ты – не тот, кто ест.
Да и ты ли – это пищешь?
Или жизнь твоей рукою
пишет – и в тебе живёт?
... То ли – тихо течь рекою.
То ли – птицей – в небосвод.

Птица, несущая в клюве звезду,
я тебе верю, я тебя жду.
В космосе чёрном – пряма и светла
эта серебряная игла.
Птица, должно быть, один у нас враг –
этот повсюду клубящийся мрак,
силы высасывающая мгла,
тьма, от которой сходят с ума.
Вот и верши среди страшных высот
радостный, непобедимый полёт,
перед вселенской тьмой не дрожа,
птица с звездой в клюве, душа...

ИРИНА ДУБРОВСКАЯ

«В ТВОЕЙ БЕСКРАЙНЕЙ КЛАДОВОЙ...»

ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ

1.

Я люблю весны начало:
Голых веток трепетанье
И воды – досадной, талой –
Виноватое журчанье.

Тает снег, повсюду тает –
Спешно, шумно, бестолково,
И уже весну встречает
Растревоженное слово.

И природа по соседству,
Как хозяйка, суетится,
И растроганное сердце
Хочет песней поделиться.

2.

Я люблю весну любую,
Запоздалую – особо.
Вижу землю чуть живую
Из-под рыхлого сугроба.

Вижу лица из-под шапок,
Нахлобученных пугливо.
На мостках весенних, шатких,
Жизнь кипит без перерыва.

И хлопочет, и судачит
С прилетевшими грачами.
И тихонько сердце плачет
От прихлынувшей печали.

3.

Как милы мне эти слёзы,
Это таянье земное!
Эти робкие мимозы,
Юный март, число восьмое.

Жизнь как будто только-только
Начинает путь свой дальний
И ещё не знает толком
Ни желанья, ни страданья.

И, опять навеяв грезы,
 Воскрешают дни былые
 Эти нежные мимозы,
 Эти юноши седые...

4.

Я люблю весенний ветер –
 Это жизнь летит навстречу.
 Для меня и солнце светит,
 И язык земных наречий

Мне понятен с полуслова.
 Всё смогу и всё сумею!
 И к любой борьбе готова,
 И любого отогрею...

От весенних дуновений
 Ожил в сердце трепет ранний
 Тех прекрасных заблуждений,
 Тех напрасных ожиданий...

5.

Я хочу к реке широкой
 Одолеть крутые сходни.
 Мне прекрасное далёко
 Открывается сегодня.

Мне весна ключи вручает
 От неведомых владений
 И надеждой согревает,
 И от тягостных сомнений

Исцеляет светом дальним,
 Шепчет, кличет издалёка.
 Здравствуй, время ожиданий,
 Не развенчанных до срока!

ВЕХИ

1.

Создатель мой, ты боль мою качал,
 А я металась, плача и тоскуя.
 Искала я заветный свой причал,
 Счастливую судьбу свою земную.
 Ломала я в слезах карандаши
 И вниз летела со скалы отвесной,
 Пока открылся мне причал небесный,
 Единственно заветный для души.

2.

Опасен путь: повсюду ждёт беда.
 Опутанная сетью вероломной,
 О Господи, зачем иду туда,
 Где будет хрупкий стебель мой надломлен?
 Податливую хрупкостью греша,
 Напоминаю тяжкого больного,
 И знает искушённая душа
 Всю прелесть и тоску плода земного.



3.

Что это, Отче? Паводок? Гроза?
 Разрушившее дом землетрясение?
 Слезятся от усталости глаза,
 И нет уже надежды на спасенье.
 И, долгой закалённая борьбой,
 Я не ищу сочувствия в ответе.
 Душа моя испытана Тобой,
 Как всякая, живущая на свете.

4.

– Утешь меня, – просила я Отца, –
 Душа моя измучена жестоко.
 Немалая была со мной морока,
 А Он терпел, не изменив лица.
 Но вот иному дню пришёл черёд:
 Мучений всех осознана причинность,
 И Он мне утешение даёт,
 Когда уже я плакать разучилась.

5.

Ну наконец! Не нужно ничего,
 В душе моей всё тише трепетанье.
 Из благ земных прошу я одного –
 Свободного и лёгкого дыханья.
 И милостив небесный мой Отец:
 Повсюду мрак, лихие ветры свищут,
 А я живу и знаю наконец,
 Что счастлив тот, кто счастья не ищет.

ПАМЯТЬ

Не возвращайтесь к бывшим возлюбленным. . .

А. Вознесенский

1.

Ну, нет, меня не соблазняй
 К бывшим возлюбленным вернуться!
 Пусть в тех краях, где вечный май,
 Они навек и остаются.

Мне, память, дорог голос твой –
 Зовущий, трепетный, щемящий.
 В твоей бескрайней кладовой
 И мёд такой, что нету слаще,

И дёготь – горше не найти,
 И всякой всячины в избытке.
 Не обмани, не подведи!
 Дороже, чем золотые слитки,

Твой тяжкий, твой бесценный груз.
 Пусть невозвратны наши лета –
 Я с невозвратностью смирюсь:
 Живую, ноющую грусть
 Я не отдам за их скелеты.

2.

Под прошлым — черта. Ни к чему ворошить.
 Уж слишком в нём много того, что забыть
 Хотелось бы мне. Но забвенью едва ль
 Способно объять необъятную даль,
 Чьё имя — бессмертная память моя.
 Нахлынет порою, накатит струя
 Со дна, где, казалось бы, всё уж мертво,
 Где кроме застывших камней — ничего,
 И острые брызги лицо обожгут,
 И вспыхнет тревога: на хлипкий уют,
 На хрупкий покой покушается вновь
 В глубинах вскипевшая чёрная кровь.

В КВАРТАЛАХ ГОРОДСКИХ

1.

Так молод любимый город,
 как будто вчера родился.
 В кварталах его уютных,
 приютных для душ бездомных,
 мне радостно и спокойно,
 и солнце меня ласкает
 так бережно и умело,
 как будто бы точно знает,
 где боль ещё не утихла,
 где сердце ещё живое
 и помнит свои порывы . . .

Здесь детство моё осталось
 и юность с пожаром сердца.
 По этим вот переулкам,
 мощёным тоской желанья,
 мы долго с тобой гуляли.
 Петляли, спускались к морю,
 купались в лучах заката,
 следили, как зреют звёзды,
 свисая с ветвей небесных,
 и пили солёный воздух
 из жаждущих губ друг друга.

Мы, дети ветров приморских,
 мы, птицы вершин мятежных,
 забыли, спустясь на землю,
 что солью едва ль напьёшься —
 измучишься только жаждой.
 Истаешь совсем, устанешь
 и будешь блуждать, как призрак,
 по этим вот переулкам,
 где памятен каждый камень —
 свидетель минувшей жизни.

Сюда прихожу — как будто
 на родину возвращаюсь.
 Будь счастлив, весёлый город,
 с тобою я не прощаюсь.
 В тебе я уже навечно:
 вот в этих камнях старинных
 и в детской твоей улыбке,
 и в ветре твоём солёном,



что так подшутил жестоко,
и в славе твоей бессмертной...
И всюду, и повсеместно
присутствую я незримо —
как призрак, как дух небесный,
как путник, идущий мимо...

2.

Да будет мир над городом моим —
Таким родным, таким чужим порою.
Я в нём не житель — только пилигрим,
Прибрежной зачарованный волною.

Мой голос и не громок и не тих,
Для слышащих всегда он будет внове.
Я только тень в кварталах городских,
Я только дух, запечатлённый в слове...

КРИСТИНА КОРНЕЕВА

«КАК ТЕТИВА, НАТЯНУТ ГРОЗНЫЙ МИР...»

Уж тёмна час, но всё ж в тьму крат темней,
чем Тьма, безверья траурные ткани
от копоты расстрелянных огней
безвинно убиенных упований...

Их пепелинки выются там и тут,
но спит душа, лишившаяся зренья.
И сны приговорённые бредут
пустыми коридорами смиренья.

Как тетива, натянут грозный мир —
от «я» до «Я» — пульсируя упруго.
Моя душа — скопление чёрных дыр,
Безвольно заглядевшихся друг в друга.

Она дрожит, зажата в тиски
объятий темноты неопалимой...
И, как огня, боятся огоньки,
её — слепую — пролетая мимо.

...Но что-то в ней живеет её самой
(ожог ли от невидимой кометы?)
саднит и шепчет, претворившись Тьмой,
что Тьма всего лишь — слишком много Света...

И вновь слова волшебны и просты:
всё не напрасно и ничто не поздно.
...Ильются из последней пустоты
горячие безудержные звёзды...

ГИМН ГРАФОМАНА

Гвоздь — в мозг. Как разгадать? Как вспомнить? —
Сквозной озноб. Зудящий зной.
Тьмы жизней. Километры комнат.
Так тяжко спорить тишиной!

Так близко проплывают (только
льни!) образы и образа...
И в пропасти высоковольтной
Горит надмирная гроза.
...Но глухотой опутал громы
вспригупляющий покой,
И в пыльной паутине дрёмы
залип небесный позывной.



Всё так же мертво страница
бледна... И наползает тень
на мысль: веление забыться
плёт воспалившаяся лень...

Прорвись! Пали из всех орудий,
со всех разбуженных сторон —
всем своевольем словоблудья
в свой распоясавшийся сон!

Вспори космическую полость,
чтоб в черновой, рабочий чан
летели звёзды... Вырви голос,
что приказал тебе молчать!

Крепчай, задумчивая сошка!
Борись, чтоб содрогнулась тьма
вселенских смыслов... Что с того, что
холодным циркулем ума

словарный глобус весь исколот...
— Мир расчерти наоборот!
До полусмерти и не «полу»
долби бетонный небосвод!

Бей! До всерушающего крена,
чтоб пала Правь, как пал Рейхстаг.
Над запрещённой Иппокреной
взорви упорный саркофаг!

Взлетай над крахом и над прахом,
над немотой безликих лиц! —
над оккупированной страхом
пустыней снеговых страниц!

Займись безжалостным отловом
бацилл сомнения. Дави!
Из бледной, льдисто-холодцовой,
парализованной крови

выгравливай отравный вирус
неверия! Вскипай, взбесись!
И лавой в собственные жилы —
противоступорной ворвись!

Жги до «ничто»! — чтоб и не снилась,
чтоб не воскресла даже тень! —
саркому «непреодолимость»
в сакра-ментальной кислоте!

Рой! Прополи напропалую
строй нежилых словесных сёл!
И вот тогда, быть может, будет,
наградой радостной за всё —

за дрожь беспомощного гнева,
за душевные, больные сны —
тот долгожданный крик из чрева
живородящей тишины...



СТИХОТВОРНЫЕ ДИАЛОГИ С НАТАЛЬЕЙ ХМЕЛЁВОЙ

1.

*Приглашаю
к со-бытию.
Событийствуй, мой маленький, запертый!
Всё, что было и есть – отдаю.
Вот, разложены блюда на скатерти:*

*Это я. Причашайся и Будь
Мною сладкой, солёной ли, разной ли...
– Снаряди нас! Отправь нас в со-путь!
– Чтоб себя, как Событие
праздновать?*

*– Не себя... А Другого – в себе:
Непонятного! Странного! «Лишнего»!
...Со-живи. Со-люби. Со-жалей.
Мы – огромное сердце Всевышнего.*

Наталья Хмелёва

Принимаю... Но в том ли резон?
Ведь ни «нашего» нет, и ни «лишнего»!
Всё – одно. Наша разность – лишь сон
беспокойного сердца Всевышнего.

Сопричастный до самых основ
Вселюбви, нераспознанной истоиво,
здесь – на древе божественных снов –
каждый лист обречён событийствовать!

Он таков! Чтоб вертелась земля –
без раздумий, с рыдающей радостью –
тяготенья всемирного для
раскroивший себя на полярности.

– Всеединый безудержный вспых,
от избытка огня безвозмездного
ради блажи влюбляться в иных
разделивший себя на созвездия

душ...
...Узнай! *Он* тобой говорит,
затаясь в непорочном незнании,
ради дерзкого права со-быть
отдающий себя на закланье.

Так взгляни же – чтоб мир изнемог
от святого сверх-светлого жжения –
мне в глаза, мой неузнанный Бог,
улыбнись своему отражению!

2.

*Если бежать от обрывков чужих речей
суетных, как от града и города
Вокруг – эта жуткая пустота
молчания с абсолютным слухом
моя отрада
жадная к слову любому,*



*к первой попавшейся речи, к любым отрепьям,
способная всё понять – пусть даже особо нечего –
так приводят к Богу, держа за плечи
так приводят в трепет, приводят в трепет.*

*я отражалась в её лице,
я говорила с ней об её отце,
и в чёрную пропасть
летели слова – снегири –
она обретала
форму и цвет, и цель
всего, всего
что так и осталось внутри.*

Наталья Хмельёва

Если бежать от речей –
бойких, как рыночный торг,
мир – непорочно ничей –
пересечением строк

вкривь не изрезанный, не
знавший разборчивых стрел
рифм, в нелюдской тишине
так и останется – бел.

Цел. Целомудрен. Сплоти
радужно-сбивчивый град
слов – немотой. Расплети
косы стареющих правд –

ливнем. . . Распутай пути!
Там, где не Всё, – ничего!
К Богу нельзя «привести»,
не уведя от Него. . .

Смысл – в нелокальность Любви
тоталитарный анклав
Слова! Нельзя, не делив,
выбрать! Нельзя – не предав!

Тише! Прочь буквенный строй!
Пусть просияют листы
мудростью сверхзвуковой –
сверхсмысловой пустоты. . .

– Тайны не бойся. . . Покров
Тонок. . . И призрачна глушь.
В переплетенье миров –
сквозь демаркацию душ –

сны в неразбавленный свет
слиты одной тишиной.
Знай: не бывало и нет
тайн между миром и «мною».

. . . Полог молчания – ложь.
В небо взгляни – и замри.
. . . И неизбежно прочтёшь
всё, что осталось внутри. . .

АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ

КРЕПОСТЬ повесть

Начало читайте в №2, 2011

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Не верьте, если говорят, что дети добрые, это неправда. Дети любят мучить друг друга, как, впрочем, и взрослые.

Доктор меня часто просит рассказать о детстве. Я слышал, что один чудак, Фрейд, придумал такую ахинею, что якобы, если избавиться от страха, который тебе вбил в башку в детстве, то тогда ты выздоровеешь. Вот почему этот умник, который так любит свои ногти, всё время и копается во мне. Только зря он копает, у меня-то другая история.

В десять утра по средам он проводит со мной беседы: спросит, писался ли я в постель, снились ли мне голые покойники, и любил ли я подсолнухи, и кого я больше любил – папу или маму, и какое у меня самое яркое воспоминание о детстве.

Чего он от меня хочет, не пойму. Он сам мне напоминает шинзика: губы тонкие, улыбочка ехидная, а глаза рачьи так и прокальвают, как иголки, колют в самую душу, колют даже больше, чем эти уколы, которые мне делают перед сном.

Зачем он меня мучает, не пойму. Доктор ещё называется, я бы таких врачей подвешивал на площадях, чтобы все видели. Всё пытается выведать у меня, а я прячусь, как улитка, в раковину, и сижу, и смотрю на него, и хихикаю, и ничего не говорю. Я, как в разведке, но в конце допроса меня не поставят к стенке и не поведут на эшафот, а обрекут на вечный ад холодного одиночества, и потому я путаю ему карты. Главное – сбить его с толку, запутать, главное – не дать ему понять, что ты его раскусил, иначе конец, – сразу отведут в соседнее серое здание, и ты вернёшься оттуда с пустыми стеклянными глазами, будешь тихо сидеть в парке, на солнышке, кормить воробышков и тихо улыбаться, – я не хочу этого, не хочу!

Вижу, что он недоволен моими ответами, записывает себе что-то в блокнот и вновь ногти свои розовые разглядывает. А потом вдруг спросит, типа: «А скажите, вы любили кушать в детском саду рыбный жир?». Или: «А как вы думаете, дети добрые?».

Ну, я на все вопросы отвечаю: «Да». Понимаете, он так задаёт вопросы, что мне приходится отвечать на них «да».

Но потом эта игра мне надоела. И я ему стал противоречить. Вот это его почему-то заинтересовало, он стал делать больше пометок в блокноте и даже повеселел, сказал, что я теперь начну поправляться, не понятно, с какой такой радости. А когда я ему рассказал, как меня однажды повесили... он вообще развешился.

А что? Ну как тут быть, если он мне такую кость кидает, лапшу вешает. «А ведь дети добрые», – говорит. Слышите, такое мне вяжет. Вот я ему и ответил: «Да, – говорю, – очень». И рассказал, как ясноглазые детки накинули мне на шею петельку, перекинули через сук, четыре года мне тогда было, и повесили. Игра была такая, и мне, как новенькому, выпала роль пленника...

Так вот, я был взят в плен, а потом меня должны были казнить. Наверное, меня бы и казнили, потому что я уже задыхался, стоя на цыпочках с петлей на шее, если бы не тётя Варя, наша нянечка, – она меня спасла, когда я там один стоял на цыпочках, хватаясь руками за воздух, а все обо мне забыли, убежав на обед.

На следующий день я нашёл дома булавку, и во время тихого часа, когда все дети забралась в кровати, и некоторые уже тихо посапывали во сне, я взял и всех моих палачей поколол этой булавкой.

Был скандал, и я помню слова отца, который произнёс их в тот момент, когда на него орала старшая воспитательница, тётя Фира; я помню её большой рот, с одним чёрным зубом, и одним золотым. Отец тогда сказал мне: «Правильно сделал», – и крепко прижал меня к себе.

Это всё я рассказал доктору, он даже покраснел от удовольствия, так ему понравилась моя история. – Мы на правильном пути, – сказал он мне в то утро и уколол своими зрачками-буравчиками.

Честно говоря, мне было всё равно, что он мне сказал, мне уже даже понравилось жить с этими психами. Пугают иногда крики, которые раздаются по ночам из других палат, но после того, как мне стали делать укол перед сном, я сплю хорошо.



Теперь я не слышу криков, и мне не снятся кошмары, в которых за мной всегда гонится Василий Петрович Жосан на огромном чёрном коне. Лицо его окровавлено, изо лба сочится кровь, и кровь льётся под кровать. Я вскакиваю, вглядываюсь в мерцающую темноту, но рядом никого нет, только за окном почему-то всегда сияет луна. Я ложусь в кровать, и только засыпаю — как вновь страшная, окровавленная рожа доктора лезет на меня изо всех углов.

Когда я жалуюсь ему на это, он потирает довольно руки и говорит, что всё хорошо, что так действуют лекарства.

Не знаю, иногда я ему почему-то верю, а иногда нет. Врёт он всё, потому и глаза прячет, когда я его прямо спрашиваю, освободят ли меня. Вижу, что тогда он юлит, уходит от ответа. Говорит, что вот, мол, когда я допишу эту историю, тогда и стану свободен, что это-де правильный путь к выздоровлению.

Посмотрим, посмотрим, я-то её допишу, но если он врёт, тогда уж я ему врежу по полной программе, всю правду выложу, всё скажу, что думаю о нём, — всё, уж поверьте.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Эту лодку мы нашли случайно в камышах, недалеко от дебаркадера. Несколько минут мы пытались столкнуть её с берега, но днище так увязло в песке, что мы едва её сдвинули.

— Хас, д-давай, помогай! — прикрикнул Мишка.

— Ну, чего уставился! — взвился Марио. — Тащи его на горбу, как осёл.

Он стоял у правого борта по колено в воде, мы с Мишкой упирались в нос лодки, а Хас топтался у левого борта.

— На три, — сказал Мишка. — Марио, с-считай.

— Раз, два, три, эх, понеслась родимая, — крихтя, выдохнул Марио. Лодка чуть подалась, но днище её по-прежнему глубоко сидело в песке.

— Лосик, тащи, давай, не сачкуй! — бросил Марио Хасу.

— Да пошёл ты! — огрызнулся тот.

— Раз, два, три, — вновь считал Марио, и мы снова навалились на деревянную плоскодонку.

Наконец, лодка подалась и с тихим шуршанием вошла в воду.

За широкой протокой, которую пересекала лунная дорожка, ясно проступали очертания острова. Странно, но мы совсем не думали, как будем возвращаться домой. Нам было всё равно, ищут ли нас, когда мы вернёмся, и что будет потом. Вряд ли мы понимали, что происходит и что может случиться — всё это была чешуя, ветер, который веет сквозь пальцы, когда выставляешь пятерню в небо и кричишь звёздам: «Эй, вы там наверху, вы слышите меня, вот я весь стою перед вами, вот я весь, и вы меня не получите, слышите, это я говорю вам!».

Запрыгнув в лодку, мы стали с Мишкой подгребать по бортам, как на каноэ, он — обломком весла, а я — куском фанеры, который подобрал недалеко от лодочной станции. Течение стремительно несло нас на середину реки. Нам повезло, остров был немного ниже по течению, и мы удачно сплавлялись, направляя лодку.

Было уже далеко за полночь. Откуда-то издалека, со стороны дач, доносился радостный девчачий визг, слышалась музыка магнитофона, свежий ветерок приносил запах нагретых солнцем трав. Вода в реке была тихая и тёплая, и струилась, как расплавленное стекло, за кормой. Мы двигались вдоль лунной дорожки как призраки, окутанные дымным сиянием.

Загребая, я то и дело замечал, как у Мишки влажно вспыхивала серебром лопасть весла. Тишина вздрагивала от всплесков наших гребков.

Я первый заметил, что в лодку начала просачиваться вода.

— Эй! — крикнул я Хасу и Марио, которые сидели на корме, глаза по сторонам. — Чего расселись, вычерпывайте, вещи на корму, живо!

— Налегай! — крикнул я Мишке.

Лодка тяжелела с каждым гребком.

— Да чего в-вылупились! — рявкнул Мишка. — Сейчас из-за вас утонем!

Хас и Марио принялись лихорадочно вычерпывать воду пустыми консервными банками, которые всплыли с тихим цоканьем из-под скамейки, но вода прибывала. Я оглянулся, — мы только миновали середину протоки, а воды набежало уже по щиколотку.

Быстро нашёлся Марио. Не раздеваясь, он прыгнул за борт, через мгновение вынырнул и, отфыркиваясь, закричал:

— Эге-ге! Ребзя, айда за мной! Водичка, как парное молоко.

Следом прыгнул Мишка, бросив мне весло.

Я налегал изо всей силы, а Хас черпал воду, как бешеный, но она всё прибывала.

— Прыгай! Прыгай, давай! — кричал я ему, забыв, что он почти не умел плавать.

Но он вычерпывал уже двумя банками, не поднимая головы, будто оглох. Мишка и Марио подталкивали лодку, плывя рядом, но она уже наполнилась на треть и почти не двигалась.

До берега оставалось метров двадцать, когда я сиганул за борт. Дыхание у меня перехватило — на середине реки вода была прохладнее, чем у берега. Втроём мы подталкивали лодку к берегу.

А Хас теперь суетливо грёб, свесившись с кормы и окатывая нас брызгами.

К счастью, у острова был пологий берег, и очень скоро я вдруг почувствовал дно под ногами.

– Эй, в-вылезай! – крикнул Мишка Хасу, выжимая футболку.

В неверном свете луны и звёзд лицо Хаса было белое, как мел, а глаза округлились, как у филина. Как слепой, он выставил вперёд руки, шагнул, зацепился за скамейку и, перелетев через носовой выступ, распластался на песке.

Лодку мы не стали выгаскивать, она плотно села на мель, и течение её едва колыхало.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

– Та-ак, – свесился Мишка над бортом, – п-приплыли.

– Точно приплыли, – плаксиво отозвался Хас, – как же мы выберемся отсюда?

– Да замолкни ты, – повернулся к нему Марио, – хватит ныть.

Он, как ни в чём не бывало, с любопытством вертел головой по сторонам.

– Рассохлась, – кивнул я на лодку.

Положение было невесёлое. Конечно, завтра нас наверняка бы заметили дачники, но разве мы об этом мечтали?

– Может, удастся законопатить, – размышлял я вслух, – расплавим смолу на днище и зашпакуем щели. а?

– А что, д-давай, попробуем, – положил мне Мишка руку на плечо.

Остров был тих. Слышен был едва уловимый шелест листвы в зарослях да наше сбивчивое дыхание, да всплеск редкой волны у берега. Ломило плечи, затекла шея, но вместе со всеми я лихорадочно вычерпывал воду. Мы черпали банками, пригоршнями, злились, чертыхались. Наконец, показалось днище.

– Нужен рычаг, – поднял Мишка голову.

– Секундочку, – Марио ловко выпрыгнул из лодки и долго рыскал в кустах, ломая с треском ветки. Наконец, пыхтя, он приволок деревце, видно, вывороченное бурей.

Мы вытащили лодку на песок, только корма, где ещё бултыхались остатки воды, осталась на плаву.

– Блин, – ругнулся Мишка, уколов руку, – я же просил рычаг, а не кактус!

Деревце оказалось дикой акацией. Мишка достал из рюкзака тесак и обрубил ветви с шипами.

Вскоре нам удалось просунуть ствол под днище; вчетвером мы налегли на него, лодка приподнялась, зависнув на какие-то секунды, а потом глухо, как бочка, ухнула и перевернулась, тяжело шлёпнувшись на песок. Вода с шумом рванула из-под неё.

– Йес! – победно вскинул вверх кулак Мишка.

Руки, ноги гудели, но мы не стали отдыхать, а сразу принялись собирать хворост.

Лёгкий ветерок едва слышно перебирал листву, и в зарослях раздавались странные шорохи. Мы старались не терять друг друга из вида.

Вдруг из-под моих ног с писком выскочил зверёк и скрылся в траве.

– Суслик, наверное, – сглотнул я.

– Суслик на острове? – удивился Марио.

– Но это же большой остров.

– Дела... – протянул Марио, оглядываясь по сторонам, – не думал вчера, что придётся ночевать в таком месте.

Вскоре мы развели костёр рядом с лодкой. Мишка поджёт сухую траву, которой мы забросали хворост, трава вспыхнула, задымила, пламя взвилось, а потом спало, охватывая всё больше веток. Огонь завораживал.

– Тим, н-надо бы канаву вырыть, а то ещё огонь лодку прихватит, – сказал Мишка.

И мы с Марио быстро набросали невысокий вал из песка между костром и лодкой.

Жар от костра постепенно нагревал днище, но чтобы его высушить, одного костра было мало, поэтому мы развели другой с противоположной стороны.

Нас снесло к южной оконечности острова. Тёмная громада крепости нависала над обрывом, полная луна, которая стояла в зените, ярко освещала бастионы.

Внезапно мне померещилось движение на ближней башне.

– Говорят, что если разроешь могилу, то дух умершего может схватить тебя и потом мучить всю жизнь, – вдруг произнёс Хас.

Я давно не слышал от него ни звука, поэтому его голос зазвучал так неожиданно, что я вздрогнул. Мишка перестал подбрасывать хворост в костёр, а у Марио даже улыбка с лица сошла.

– Это ты специально, да?

Хас молча окинул его долгим взглядом и тихо произнёс:

– Ты же ничего не боишься. Вот схватит тебя за горло и утащит в могилу, ты же самый мелкий, тебя легко утащить.

– Да чушь это, – махнул рукой Мишка, – с-слушай его больше.

Но мне эти слова Хаса не понравились. Как-то он странно улыбался, когда выдал всё это.

– А ты сам, что, не боишься? – спросил я его и сильнее сжал ветку, которую держал на огне.

– Нет, я не боюсь, я просто цепенею от ужаса! – брякнул он вдруг. – Но вы же не бросите меня, если он вдруг меня схватит, правда?



В этот момент пламя костра вспыхнуло, осветило его, и мне вдруг показалось, что вместо глаз у Хаса зияли два чёрных провала.

– Чушь! – презрительно бросил Мишка и звонко переломил ветку об колено.

– Ты думаешь? – взглянул на него Марио.

– Да ладно тебе, рилэкс – шлёпнул я его по плечу, и Марио подскочил, как ужаленный.

Серебряный диск луны уже стал цепляться своим краем за башни верхнего замка крепости, когда нам удалось, наконец, расплавить несколько блямб смолы и прощпаклевать ими трещины между досками.

Один костёр погас, но его угли мерцали розовым жаром, вспыхивая тонкими язычками пламени. На другом костре Мишка и Марио разогревали тушёнку и поджаривали кусочки колбасы. Кишки в животе подпрыгивали к самому горлу, а рот так наполнился слюной, что я чуть не захлебнулся, когда сказал:

– Мишка, долго не держи, а то выкипит всё.

– Б-будь спок, не в-выкипит, – поднял он выше банку двумя скрещёнными ветками над шипящими углями, и пряный, сладковатый аромат зашекотал ноздри.

Теперь серебристая лунная дорожка пересекала западную протоку. Течение у мыса, к которому мы пристали, было тихое, ни один всплеск не тревожил тишину, из зарослей не доносилось ни звука. Было далеко за полночь, и я чувствовал, как у меня непроизвольно слипаются веки.

Отражения костров на воде превращались на тихой зыби в фантастические видения, а рядом плясали наши гигантские тени – было в этом что-то нереальное, сказочное.

– Налетай! – крикнул Мишка, поставив банку на песок.

Я отбросил дымящуюся головню и вместе со всеми накинудся на еду. Это была армейская тушёнка, в жестяных золотистых банках.

Поджаренное мясо потрескивало, терпкий дымок шекотал ноздри, в животе урчало; с колбасы, нарезанной на тонкие веточки, капал жир. Я попробовал откусить кусочек – и обжётся.

Марио полез за мясом в банку, но тут же отдёргнул руку.

– А есть-то чем будем? – жалобно протянул Хас, жуя сухой хлеб.

– Сейчас, сейчас, – откликнулся Мишка.

Он отломил тоненькую веточку от акации, наколол кусок мяса, подул на него, потом кинул себе в рот и, обжигаясь, зафыркал:

– Вот чем, у-у-ф-ф, горячо. У-ф. . .

Тушёнка была пряная и сладковатая, она таяла во рту, обжигала. Вскоре мы уже забыли про самодельные шампуры и хватали мясо руками, один Хас ещё привередничал, но потом и он, с удовольствием чавкая, облизывал жир с пальцев. А Марио, так тот и банку попытался вылизать изнутри.

– Эх, язык короткий, – облизнулся он и потянулся с блаженной улыбкой: – Закурить бы. . .

– На, держи, – кинул ему Мишка сигарету. Мне с Хасом он тоже выдал по сигарете.

С наслаждением, откинувшись на песок, мы закурили. Песок был влажный, поэтому я вытащил из рюкзака свитер, подстелил его под спину и улёгся, подложив рюкзак под голову.

– Благодарь, – сказал Марио.

Смолистый дым приятно шекотал ноздри, пощипывал язык и горчил во рту чем-то приятно терпким. Я смотрел на небо и считал звёзды. И вдруг вспомнил, как когда-то вокруг меня возились щенки и лизали мне ладони своими влажными язычками, принимая меня за мамку, а бабушка звала меня, всё звала, даже не догадываясь, где я. А когда она подходила к будке, Альма всегда рычала, и рычание это было грозное, враждебное, и бабушка уходила, и всё звала меня: «Тим, Тим, где ты, где ты?». А я лежал за спиной Альмы, и эти пушистые клубочки поскуливали и лизали мне ладони и лицо, и было так приятно и шекотно, что я смеялся. . .

Несколько раз на небе вспыхнула падающая звезда, оставляя за собой серебристый росчерк, и я загадал желание. Мне было так хорошо, что я забыл о Жосане, о Лере, я простил Хаса. Да, в этот момент я его простил. Или во мне что-то простало его. Новое чувство росло во мне, наполнило меня до краёв необычайной лёгкостью и покоем.

Почему-то теперь мне всех их стало жалко: и Мишку, и Марио, и Хаса. Мне так их было жалко, и так мне было хорошо, что я хотел каждого из них обнять и ничего не говорить, просто обнять и всё.

Наверное, я действительно немного чокнутый, иначе отчего это меня так типает. Не знаю, не знаю. Но иногда мне кажется, что все эти слова о любви, что пишут в книжках и которые говорят взрослые – пустые и холодные слова, слова-бульжники. А настоящая любовь – она без слов. Это вот так, когда тебе без причины очень жаль человека, и ты хочешь его обнять, просто обнять, понимаете, просто прижать его к сердцу и молчать, и ничего не говорить. . .

Иногда, когда я остаюсь один, и прислушиваюсь к тому, как на зеркало тишины падают жемчужные капли рассвета, мне кажется, что я никого никогда так не любил, понимаете, никого, никогда, как моих друзей Хаса, Мишку, и Марио в ту ночь, понимаете, никого и никогда. . .

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Догорающие угли потрескивали, дрёма одолевала меня.

– Миха, Миха, – позвал я тихо, – скоро рассвет. – Лодку надо перетащить.

– Переправимся здесь, – пробурчал он, укладываясь рядом с Марио.



– Мы в запретной зоне, заметят – умыться не успеем.

– Ладно, только покемарим немного, – сказал Мишка и свернулся калачиком, положив руку под голову.

Хас и Марио уже посапывали во сне, забыв обо всех сокровищах мира.

Я запрокинул голову. Луна своим краем уже касалась зубцов крепостных башен. Стало прохладнее, но жар костра согревал, было уютно и тепло. Звёзды постепенно меркли, и казалось, что на гаснущие угли можно было смотреть вечно.

Перед рассветом меня разбудил пронзительный вопль.

Я слышал такой только раз, когда резали в деревне свинью. Её прижали к земле трое мужиков, и потом один пырнул её длинным ножом, но свинья вырвалась и с визгом стала носиться по двору, разбрызгивая кровь по снегу.

Бабушка оттаскивала меня от окна, но я вырвался и увидел, как сверкающий нож торчал у свиньи из горла и как кровь хлестала на снег, и как они за ней гонялись и падали, поскальзываясь в крови, а потом накинули на неё сетку для ловли рыбы, и она билась в ней ещё долго и жутко визжала. . .

Я проснулся и никак не мог сообразить, почему так холодно. Наверное, Ритка открыла балконную дверь, всё ей душно. . . Одеревенела спина, затекла шея, и вдруг я осознал, где я – кто-то настойчиво дёргал меня за плечо.

– Тим, Тим, вставай, – тряс меня Мишка.

Я проснулся окончательно, приподнялся на локте, и в этот момент на противоположной стороне острова раздался вопль. Рядом вскочил Хас.

– Это его дух, слышите! Я же говорил.

– Эй, ты, чего там воешь?! – привстал Марио. – А ну-ка посмотрим, кто там!

Мы выгаращились на него, как на безумца.

Марио даже сделал несколько шагов в сумерки. Неожиданно вопль повторился ближе. Наверное, так кричит при родах женщина или дикая кошка в период гона, или больной в сумасшедшем доме, когда пропускают ток по его телу. . .

Мгновение, и вот уже Марио метнулся обратно к нам и вдруг вцепился мне в плечо с такой силой, что я сам чуть не взвыл от боли.

Мы сбились в кучу, прячась за перевёрнутой лодкой. Хас повторял, как заведённый:

– Папочка, забери меня отсюда, я буду выносить за мамой горшок, я буду всегда покупать тебе молоко. . .

– Кто это? Как ты думаешь? – спросил меня Марио.

– Не-е знаю, – пробормотал я, почувствовав, как у меня трясутся губы.

– До того берега метров двести, – вырвалось у меня.

– Доплывём, – выдохнул Марио.

– А Хас? – повернулся к нему Мишка.

– Вы что, хотите бросить меня?! – Мне показалось, что в синеющей темноте его глаза полыхнули бешенством.

Вновь раздался леденящий душу вопль, ещё ближе.

Мишка зачем-то полез в рюкзак, я взял лопатку, а Марио выхватил из тлеющего костра головню.

Над водой стелился густой белый туман, сплошная волна его наплывала на берег и заросли, даже воздух насытился туманом, и я почувствовал во рту его молочный вкус. Наши фигуры проступали темными силуэтами в этой молочной реке.

Небо на востоке стало бирюзовым, звёзды гасли одна за другой, луна почти закатилась, сошла, тонкий серп её завис за крепостью, на горизонте. Стало прохладно, но щёки у меня горели.

Неожиданно в зарослях послышалась возня, писк, потом что-то там ухнуло, хлопнуло, как пробка из бутылки шампанского, рвануло пронзительным визгом, и серая тень, светлее, чем воздух вокруг, вынырнула из кустов и стремительно понеслась в сторону лодочной станции, а через мгновение скрылась в молочном тумане.

Мишка в сердцах ругнулся и шмякнул ладонью о днище лодки.

– С-сова, блин!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Прошло, наверное, много времени, прежде чем мы успокоились. Небо на востоке заалело, и вскоре у самого края земли появилось оранжево-золотистое сияние. Слышно было, как, шурша, скатывается роса с листвы.

Мишка сосредоточенно завязывал рюкзак, притихший Хас бродил вдоль берега, Марио сидел возле потухшего костра, зевал и зачем-то разбивал угли палкой. Они крошились, и ветерок разносил пепел вокруг.

Я взглянул на струящуюся у ног воду, которая неслась из Карпат до самого Чёрного моря, и подумал о том, что вот, наверное, также вставало солнце и в тот день, когда не стало гетмана. Также трепетала земля на рассвете, также пылала в тумане река, но его уже не было.

Мишка поднялся и сказал, кивнув в сторону лодки:



– Рассветёт и п-проверим, как зашпаклевалась. – Прогуляемся? – предложил Мишка мне, указав на дальнюю оконечность острова.

Я кивнул, но, видимо, лицо у меня было такое кислое, что Мишка рассмеялся и хлопнул меня ободряюще по плечу:

– Не боись, мы вместе!

Странно он смеялся. Знаете, есть такой смех, не смех, а сдавленный кашель.

Сначала я думал, это у него оттого, что он заикается, но потом где-то прочёл, что так смеются обычно скрытные люди. И это верно, Мишка был скрытный. Он был не такой, как мы. Он был серьёзен не по годам. Конечно, дурачился, как все, но был рассудительнее Хаса.

Хас – всезнайка, но в вопросах практических он был туп, потому что за него всё делал папаша, а Мишка вырос на улице, и главное – он был смел. Не отчаянно смел, как я, например. Я мог прыгнуть с высоты только с закрытыми глазами, а он – с открытыми. Вот что я имею в виду, вот что главное. Он на всё смотрел с открытыми глазами, а это, согласитесь, большое дело для папана в тринадцать лет.

Несколько минут мы шли вдоль зарослей. Утренний ветерок сдувал с реки хлопья тумана. Вскоре мы достигли мыса, справа и слева по берегам поднимался дымно-зелёный лес, течение вынесло на отмель много мусора: таблички с дачных участков, пластмассовые пробки, щепки, куски фанеры.

Я подцепил ногой фанеру с названием «Бриз».

– Классно подгрести.

Мишка умылся.

– Т-тёплая, – заметил он с удовольствием. – Тим, – обратился он ко мне после долгой паузы.

Я вопросительно взглянул на него.

– Как думаешь, чем он её з-зацепил?

– Кто? Кого? – мигнул я непонимающе.

– Ну, Жосан Лерку...

– Ты меня спрашиваешь? – спросил я угрюмо и вдавил ракушку в песок.

– Да-а, – протянул он, – всё-то им, этим богатеньким...

У меня зачесалось под лопаткой, и я никак не мог дотянуться до неё. Ветер усилился, и по воде побежала мелкая рябь. Пахнуло свежестью, но чувствовалось, что день будет жарким. Я оглянулся и увидел, как вдалеке над холмами совсем неожиданно всплыл оранжевый шар, который быстро стал наливаясь янтарным золотом, и когда на него уже невозможно было смотреть, тишина вдруг лопнула и обрушилась на нас птичьим щебетом. Голова кружилась и была ватной от недосыпа, дрожали руки и ноги.

– Ну, ничего, мы ещё п-посмотрим, кто кого сделает...

Я уставился на него исподлобья. Он взглянул на меня и рассмеялся:

– Расслабься, парень... Мы вместе! – вскинул он вверх руку со сжатым кулаком.

Представляю, какое у меня было лицо, когда он говорил всё это.

Мишка задумчиво почесал локоть и продолжил:

– Н-ничего, прорвёмся. А остальное всё – тьфу, чещуя, – и при этих словах он далеко плюнул в воду.

Плевок пролетел несколько метров, плюхнулся и расплылся в струящейся вдоль отмели зыби.

Послышался протяжный свист Марио.

– Подождут, – рубанул он воздух ладонью, – г-главное, миновать запретку...

Я прикусил себе ладонь.

– Да-а... – протянул он после паузы, – Лера... и чего она в нём нашла.

Я молчал. Так и хотел ему крикнуть в лицо: «Блин, заика, чего прицепился!».

– Ого-го, э-э-эй, Мишка, Ти-им! – донеслись крики Хаса и Марио.

И вдруг Мишка произнёс с нажимом:

– Ну, ничего, мы их сделаем по-любому. З-запомни, по-любому!

Он покраснелся, рыжая шевелюра торчала космами, табличка выскользнула у меня из рук, и он наклонился чтобы подобрать её...

Всю дорогу, пока мы шли обратно, мне было не по себе, как-то неловко, что ли. Пару раз я порывался говорить, но смолчал, а Мишка, вроде, и думать забыл о нашем разговоре. Он стал рассказывать о том, как брат Егор провалился под лёд в феврале и кричал, звал на помощь, обламывая лёд руками, а когда догадался попробовать дно, там было по колено. Егор пришёл домой весь мокрый, а отец ему налил стакан водки и сказал: «Пей сынок, от всех болезней вылечит». Егор сдуру и выпил целый стакан, а потом встретил во дворе Колу, и они пошли в подвал соседней пятиэтажки, и там ещё выпили портвейна, и Егору привиделось, будто на него набросилась большая крыса, и он схватил железную трубу, и стал гоняться за Колуей.

Мишка рассказывал с воодушевлением, и история эта была смешная, но то ли оттого, что он заикался, а может, из-за его настроения, выходило совсем не смешно.

Знаете, есть такие люди – рассказывают анекдоты, а вам плакать хочется. Они из кожи вон лезут, и им кажется, что вот сейчас все грохнут от смеха, а все молчат, и лишь ради приличия кто-то хихикнет. Так и с Мишкой выходило, не умел он развеселить, слишком серьёзный был, – уж точно не по годам.

Да, пока он всё это рассказывал, заикаясь, делая долгие паузы, я молчал и напряжённо, до боли в висках думал о том, с чего бы Мишка затеял этот разговор.

Я смотрел, как он, жестикулируя, изображал убегающего Колу, и понимал, что лучшего друга у меня не было на всём белом свете.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Солнце поднялось высоко и уже припекало, гудели ноги, проснувшиеся оводы налетали, как бомбардировщики, и так и норовили ужалить в потную спину, но мы упорно тащили лодку против течения: Хас — по берегу, а мы втроём — по колено в воде. Лодка была тяжёлая, а течение здесь, на середине реки стремительное, поэтому нам пришлось попахать.

— Раз, раз, раз-два-три! — командовал Марио.

Мы делали несколько шагов, останавливались, потом делали ещё несколько шагов, потом ещё...

Протасив лодку метров сто, мы даже разогнались, но посадили её на мель и долго стаскивали, так запарились, что пришлось окунуться, да и жара усилилась. Всё бы ничего, но я сильно расцарапал ногу о корягу, обросшую ракушками, и ступня саднила. Я осматривал ногу, пытаясь обнаружить царапину или порез, но вода быстро смывала кровь.

Марио командовал с удовольствием, его потная шея и затылок всё время маячили у меня перед глазами, а от тела шёл резкий, специфический запах. Я вдруг вспомнил, что девчонки всегда отворачивались и демонстративно зажимали носы, когда он, разгорячённый, вбегал в класс после перемены. Марио расстраивался, но нам было всё равно. Он был наш друг, а это главное.

Моя капроновая верёвка, которую мы привязали к кольцу на носу лодки, выскальзывала и больно врезалась в ладони. Рядом кряхтел Мишка, лицо его покраснело, краснота проступила даже через загар на шее. Судя по всему, он и думать забыл о нашем разговоре. Зато Хас, чьё белое, оплывшее с боков тело подрагивало, как желе, при каждом шаге, по-моему, только изображал усилия. Пару раз он даже упал на колени, поскользнувшись на мокром песке, но толку от него было мало.

После каждого такого падения Хас вскакивал, чертыхаясь, сплёвывал, и плевки летели прямо ему в лицо, потому что свежий ветерок дул нам навстречу.

— Эй, Хас, не сачкуй! — кричал ему в спину Марио.

— Да пошёл ты! — огрызался Хас.

Наконец мы добрались до северной оконечности острова, описали полукруг на отмели и втащили лодку на берег.

— Та-ак, — запыхавшись, протянул Мишка, — перекур.

Он достал из рюкзака сигареты и выдал нам по одной.

— Забычкуйте, осталось всего пару штук, — добавил он.

Мы с наслаждением задымили, Марио баловался, пускал дым кольцами, но ветер быстро рассеивал их. Хас сосал сигарету, как соску, зря только табак переводил.

Он как-то странно вёл себя. Смутное подозрение мелькнуло у меня в голове, но я отмахнулся, вспоминая, сколько всего мы вместе натерпелись.

— Ну что, пора? — поднялся я. — Надо торопиться, а то скоро патрули на реке появятся.

— Ребзя, я сейчас, — на ходу расстёгивая джинсы, убежал Марио в кусты.

Хрустнула ракушка на песке, и через мгновение за ним сомкнулись ветви дикого винограда. У Марио была какая-то болезнь, ему нужно было часто бегать по-маленькому.

Прошло пару минут, я потушил сигарету и положил бычок в карман. Мы быстро побросали рюкзаки в лодку. Хас уселся на корму и настороженно поглядывал по сторонам — ему первому надоело ждать:

— Эй, Марио, ты где там?

— Марио?! — позвал вслед за ним Мишка.

В ответ — ни звука.

— Вот шизик, — ругнулся Мишка. — П-пойду посмотрю, где он там.

— Я с тобой, — бросил я ему вдогонку.

— А я? — вскочил Хас.

Пошатываясь, он перешёл на нос лодки и спрыгнул на берег.

Вместе мы пересекли пляж, раздвинули кусты и сразу увидели Марио, он стоял к нам спиной. Впереди, на сухом жёлтом песке, греясь на утреннем августовском солнце, лежала гадюка. Это была явно гадюка, потому что у неё не было жёлтых пятнышек на затылке, как у ужа.

Когда мы с шумом раздвинули ветки, она угрожающе зашипела и стала собираться кольцами, подняв свою маленькую голову, и в её пасти страшно затрепетал раздвоенный язык. Марио стоял, не шелохнувшись. Мы сами на мгновение оцепенели.

Он, видимо, не заметил змею, когда вышел из тени на полянку, солнце — оно как раз поднималось напротив — ослепило его. Марио стоял в полуметре, справа от меня, рот чуть полуоткрыт, верхняя губа дёргается... Он не шелохнулся, когда мы с шумом и треском вломилась на полянку. У меня перехватило дыхание. Змея шипела, ярилась и готовилась дать нам отпор, её глаза были холодны, как лёд на дне самого чёрного колодца зимой, и казалось, будто это не я, это кто-то другой смотрел через меня в эти глаза смерти.

Хрустнул сучок под ногой у Хаса. Мишка схватил его за руку, и тот замер, скривившись от боли. Казалось, ещё мгновение, и змея атакует. Я слышал, как гулко стучала кровь в висках, и в голове вспыхивала только одна жаркая, как солнце, мысль — бежать, бежать, бежать.



И вдруг я замечаю, как Мишка медленно, очень медленно наклоняется, и также нестерпимо медленно поднимает длинную сухую жердь, потом неожиданно делает выпад, отгаливает остолбеневшего Марио в сторону, прямо на меня, я хочу кричать, но цепенею, и в тот момент, когда гадюка кидается, Мишка успевает ей прижать голову к земле. И только тогда я слышу его хриплый голос, срывающийся на крик:

– Тим, дай камень, ка-амень!

Я помню, как всё вокруг завертелось, заходило ходуном, как с шумом и грохотом, спотыкаясь и падая, рванули из кустов Хас и Марио, я помню, как сунул Мишке обломок сухого пня, неведь откуда там взявшийся, я помню эти прыгающие, рвущиеся из-под ветки кольца, будто кипящее олово, я помню, как Мишка колотил по этой маленькой голове, и один голос во мне кричал всё время: «Беги, беги отсюда», а другой кричал: «Стой и смотри». И второй голос победил, и я остался. И смотрел, и смотрел, как Мишка бил по этой маленькой юркой голове, а потом отскочил в сторону, тронул змею веткой, и она не двигалась. Тогда он поддел её, и она повисла теперь на ветке, как плеть.

– Чего ты, что, змеи не видишь?!

И тогда то, что содрогалось у меня в желудке, окончательно взбунтовалось и, обжигая горло, рванулось наружу, и меня стало рвать сильно, больно, до желчи.

И Мишка, счастливый победитель, чуть ли не напевая, побежал к Хасу и Марио, волоча за собой на ветке метровую змею, а я не мог остановиться, я стоял на коленях, упершись лбом в холодный песок и, сотрясаясь всем телом, меня рвало до слёз. Поверьте, мне никогда не было так плохо. Никогда, поверьте.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Марио сидел у лодки и плакал. Трудно было поверить, что Марио, наш Марио, который мог прыгнуть с любой высоты и залезть на любое дерево, так испугался.

– Ну, успокойся, ну, вот, с-смотри, что мы с ней сделали, – успокаивал его Мишка, обняв за плечи.

От змеи остались одни обрубки. Рядом валялась сапёрная лопатка. Но Марио долго не мог успокоиться, его била мелкая дрожь, плечи вздрагивали, особенно когда он всхлипывал на вздохе. Как заводной, он повторял:

– Отец всегда говорил: сынок, самое опасное – это змея. Она подползает незаметно, и от её укуса нет спасения.

Мы с Мишкой переглянулись, и я криво улыбнулся. С каким-то странным чувством опустошённости я смотрел на останки змеи, на её ромбовидную голову, которая лежала отдельно, почти засыпанная песком: на её страшный глаз, и мне казалось, что жёлтое веко вокруг него ещё подёргивается.

Во рту противно пекло и горчило, я хотел подойти к воде, чтобы прополоскать рот, но этот чёрный глаз гипнотизировал, и я не мог сделать ни шагу.

Хас вновь забрался в лодку и сидел на корме, поднимая ноги на скамейку и уткнувшись лицом в колени. Он был потрясён, молчал и украдкой, с любопытством поглядывал на Марио. Время от времени он окунал руку в воду и смачивал себе затылок.

А Марио всё повторял:

– Бойся змеи, бойся змеи, – говорил отец.

– А п-помнишь, как мы подложили капсулю под стул Пьере, помнишь, как она подпрыгнула, когда он грохнул? – спросил его Мишка.

Я вспомнил. Нас ещё тогда, всех мальчиков, допрашивали с пристрастием в кабинете директора, не допрашивали, а, можно сказать, пытали. И мы все догадывались, кто это сделал, но молчали.

– А помнишь, как ты выиграл у Колы в секу, а он не отдал долг, и мы тогда стырили у него шенка питбуля и п-продали его.

– Не питбуля, а ротвейлера, – шмыгнул носом Марио.

– Да, точно, ротвейлера, – Мишка подмигнул мне, подобрал сапёрную лопатку и позвал его, – п-подойди, не бойся.

Марио послушно поднялся, он почти успокоился, только шмыгал носом.

– На, возьми.

Марио долго смотрел на лопатку, потом на Мишку, не понимая, чего от него хотят.

– 3-закопай её, ну, давай, не бойся.

Наконец Марио понял. Осторожно ступая босыми ногами, он обошёл ещё шевелящиеся, как мне казалось, обрубки змеи, а потом с неожиданной яростью начал копать. Песок был мягкий, поэтому за пару минут он зарылся на полметра.

– Хватит, хватит, – останавливал его Мишка.

Но Марио будто не слышал его, он копал и копал. Тогда Мишка подошёл к нему и резко встряхнул за плечи.

– А теперь брось эту гадость в яму!

Трясущимися руками, с блестящим от пота лицом, Марио поддевал обрубку лопаткой и бросал их в яму, потом он лихорадочно её засыпал, и только после этого лицо его прояснилось, и он немного повеселел.



А вот мне было не по себе, тошнота вновь стала подступать, когда я представил, как вновь возьму эту лопатку в руки. Перехватив мой взгляд, Мишка спокойно забрал у остолбеневшего Марио лопатку, подбросил её, ловко поймал, и, подойдя к воде, начал чистить лезвие песком. Я отвернулся, — звук был такой, что внутри всё переворачивалось.

Потом Мишка вымыл руки и кинул лопатку на дно лодки. Она с грохотом упала рядом с Хасом, и тот испуганно поджал ноги.

— Эй, п-парни, а не перекинуться ли нам в картишки, — хохотнул Мишка, — может, проверим, кому фарт сегодня, а?

Но нам-то было совсем не смешно. Я всё ещё переминался с ноги на ногу, не зная, что теперь делать. Так я и стоял бы, наверное, ещё час, но вдруг почувствовал, как кто-то стукнул меня в плечо, да так больно, что я вскрикнул. Так больно мог стукнуть только Марио. Он бил в самую болевую точку на мышце, и боль была резкая и острая.

— Очнись, Тим, замёрзнешь.

Я его оттолкнул, и он отскочил, как кот, проворный, гибкий.

Несколько минут мы сталкивали лодку с берега.

— На три, — командовал Мишка.

— Раз, два, три! — закричали мы хором, и лодка шумно съехала на воду.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Оранжевый диск вспыхнул лучисто и поплыл над горизонтом, наливаясь золотом, пока не превратился в огненный шар, окутанный дымным ореолом. От воды поднимался стеклянный пар, не туман, а более лёгкая, прозрачная, зыбкая взвесь. Течение нас разворачивало.

— И раз, и раз, и раз! — звонко выкрикивал я, вкладывая всю силу в гребок.

Мы с Мишкой гребли по левому борту, стараясь держать лодку под углом к течению, а Марио — по правому. На берегу мы наметили себе небольшую бухту, укрытую вербами.

— И раз, и раз, и раз! — командовал я, чувствуя, как пощипывает ладонь, на которой лопнула мозоль.

Вода просачивалась сквозь днище, но теперь Хас успевал её вычерпывать.

Уже стали видны норки ласточек на крутом глинистом склоне и корни осин и дубков, вцепившихся в карниз обрыва.

— Смотрите, что это?! — указал Хас на пучок соломы, который пересекал нам курс.

— Притормози, — попросил Мишка.

Я стал табанить, подгребая, чтобы лодку не развернуло течением. Пучок соломы был уже почти рядом, когда Хас вскочил и заверещал так, будто его задницей посадили на сковородку:

— Утопленник! Утопленник!

— Да сядь ты, чего р-разорался! — прикрикнул на него Мишка.

Он подтянул пучок к борту, — неожиданно тот перевернулся.

— А-а, мамочка! — взвыл Хас.

— Смотри, как разбух, — шумно дыша, проговорил Марио.

Он, как пиявка, впился взглядом в синюшное, одутловатое лицо утопленника, один глаз которого закатился, а другой смотрел прямо на нас.

У меня возникло странное ощущение, что где-то я это лицо видел, и видел совсем недавно.

— Да бросьте, бросьте вы его, — просил Хас.

— Слушайте, пацаны, а давайте его к берегу оттащим, — предложил я.

— А что, д-давай, — загорелся Мишка.

— Да бросьте вы его, потом не отмажемся, — подпрыгивал на скамейке Хас.

Пока мы спорили, течение относило нас всё дальше к крепости.

— Привязывай к корме, — кивнул я Мишке.

— Что вы делаете?! — вскочил вновь Хас, и лодка так накренилась, что он чуть не вылетел за борт. Марио успел схватить его за руку и толкнул на скамейку.

— Да усохни уже, дебил, ты что хочешь, чтобы мы тоже так плавали?!

Хас как шлепнулся на скамейку, так теперь и сидел там, отвернувшись, всем своим видом показывая, что он не хочет больше участвовать в этом деле.

Тем временем Мишка отвязал верёвку с носа лодки, ловко накиннул её на утопленника, и стал подтаскивать его под корму, но сильное течение мешало, и всё время волна с глухим стуком била того головой о борт, и после каждого такого удара Хас повторял:

— Бросьте его, хуже будет, бросьте его!

Наконец Мишка подтащил тело, выбрал верёвку и уже стал привязывать её конец к кормовому выступу, как вдруг совсем близко послышался рокот мотора. Звук будто выпрыгнул из тишины и стал стремительно приближаться.

— Бросай его, бросай, Мишка! — крикнул я.

— А, чёрт с ним! — ругнулся тот и бросил конец верёвки за борт, течение быстро развернуло утопленника и понесло дальше.



Мы кинулись к «вёслам» и стали грести, что есть мочи.

Вот уже показалась песчаная отмель, прибрежные кусты, и мы сходу врезались в берег.

Нас так швырнуло, что я не удержался и вылетел за борт. От неожиданности я даже не успел вскрикнуть и наглотался воды, — вода была липкая и отдавала тиной и машинным маслом. Мишка помог мне выбраться.

— Скорей, Тим, скорей.

Гул моторки раздавался совсем близко.

Мы втащили лодку в кусты под ивой, укрыли её ветвями, а сами, упав на траву, с замиранием сердца стали следить за протокой.

— Вот они! — выдохнул со свистом Марио.

По протоке на катере неслась целая толпа народу.

— Милиция. Снапали бы нас, как лопухов, — бросил сквозь зубы Хас.

— Да... — протянул Марио. — Повезло.

На фуражках милиционеров несколько раз блеснули кокарды. Но вот что странно, они искали совсем не того, о ком мы думали. Они быстро пронеслись мимо того места, где мы спрятались, и исчезли из поля зрения.

— Вот тупари! — ругнулся Мишка. — У них что, биноклей нет?!

— Может маякнём им как-то, а, Мишка? — предложил я.

— Да ну их, пусть сами ищут, мне эта милиция вот где, — провёл он рукой под подбородком.

Совсем близко от нас зеленел наш остров. Повсюду щебетали птицы, слепило солнце, отражаясь острыми сверкающими бликами от зеркальной глади реки. Утренний ветерок стих, и духота вновь стала набирать силу.

— Сколько нам ещё топать, как думаешь? — повернулся я к Хасу.

— Не знаю, — пожал он плечами, — они говорили, курган недалеко от крепости.

Но я не почувствовал уверенности в его словах, честное слово, совсем не почувствовал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Как мы и рассчитывали, нам удалось причалить вне запретной зоны. Мишка прилёт в тени под ивой и попытается раскурить бычок. Спички отсырели, он чиркал ими о тёрку, они ломались, и он с раздражением бросал обломки в реку, а течение уносило их к крепости.

Крепость была построена турками ещё в шестнадцатом веке. Со всех сторон её окружал высокий земляной вал и глубокий ров, с юго-востока по фронту защищала река. С места, куда мы причалили, был хорошо виден нижний замок в виде длинной каменной стены с круглой башней.

На ней показались фигурки людей, донеслись отголоски музыки.

— Ч-чего это они там засуетились? — выпустил кольцо дыма Мишка.

— Наверное, на смену заступают, — предположил я и подсел к нему.

Ноги гудели от усталости, поэтому я опустил ступни в воду и откинулся на траву. Вода была тёплая и прозрачная и приятно ласкала ступни, приятная истома разливалась по всему телу. Высокие стебли травы кольхало течение, и к ним на глубине подплывали мальки, взмахивая плавниками.

— Спать тут надо, — Мишка взглянул на меня. — Эй, Марио, — позвал он. — Где там головань?

Марио свистнул один раз, другой, третий. Свистел он тихо, но пронзительно, с шипением, свистел так, что свист пробирал до костей, до кончиков пальцев, так свистел, что во рту появлялся металлический привкус. Противно свистел, надо сказать.

— Хас! — позвал я негромко.

— Ч-чёрт, куда он делся?! — крикнул Мишка. — Марио, иди, посмотри, где он там.

Марио сразу сник. Показалось, что даже слёзки заблестели в уголках его глаз, но он сжал кулаки и пошёл, пошёл намеренно медленно, вразвалочку.

Неожиданно, ломая кусты, с шумом и треском, на прогалину выпрыгнул Хас. Лицо у него было такое, будто за ним гнался динозавр. Трудно было ожидать такой ловкости и прыги от этого увальня, но он так ловко кувыркнулся, что любой тренер по айкидо захлопал бы в ладоши.

Вскочив на ноги, он подбежал к нам и, ловя ртом воздух, стал показывать в сторону кустов.

— Да скажи уже, что случилось? — тронул его за руку Марио, отчего Хас отскочил от него на полметра и дико выпучил глаза, будто видел его впервые.

— Он, он там... — выдохнул Хас.

— Кто, кто он? — попятился Мишка от Хаса, который вдруг пошёл на него, поднимая руки с растопыренными пальцами.

— Утопленник! — взвизгнул Хас.

— Где-а? — протянул удивлённо Мишка. — Да не трусь ты, почтальон, д-давай веди нас.

Птицы щебетали, как сумасшедшие. Гуськом мы пробирались через заросли, стараясь двигаться как можно тише. На этот раз Марио выпала роль замыкающего, и он всё время подталкивал меня.

Из-под ног вспорхнули воробьи, обдав нас ветерком, над рекой вновь стремительно зачертили ласточки. С востока наплывало косматое сизое облако, оно накрыло серой пеленой солнце. По кронам деревьев пробежал ветерок.

– Где он? – обернулся Мишка к Хасу, когда мы обогнули кусты бузины.

– Там, – показал в сторону реки Хас.

Не знаю почему, но в этот момент мне вдруг стало смешно. Ощущение было такое, будто кто-то другой следил за мной, следил за нами, то ли я, то ли не я, и от этого внутри вдруг стало щекотно, и смех сам выскочил из меня. Да, я вдруг увидел нас со стороны, четверых перепуганных полуголых мальчуганов со всколоченными волосами, – и я рассмеялся.

Я рассмеялся так неожиданно, что Марио, который шёл следом, отскочил и ошарашенно уставился на меня, а я раскачивался и смеялся, хватаясь за живот.

– Тим, что с тобой? – спросил удивлённо Мишка, – ты что, парень?

– Галюники смешливые наехали, – потряс я головой, и мы пошли дальше.

На мелководье, у самого берега, лежал утопленник. Вода подтекала под волосы, шевелила их, и это создавало жуткое впечатление.

Поток, видимо, развернул и выбросил тело на берег, потому его и не заметили с катера.

Мы остановились поодаль, не решаясь приблизиться.

– Давай перевернём его, – вдруг предложил Марио.

– Не т-трогай, – остановил его Мишка.

– Почему?! – Марио вошел в азарт, африканские ноздри его раздувались, глаза мерцали антрацитовым блеском. Он чуть из штанов не выпрыгивал доказать, какой он смелый. Но нам-то всё это было до лампочки. Мертвеца мы видели впервые.

– А вдруг он заразный, – выдал свои опасения Хас.

И, кажется, именно тогда я по-настоящему понял, во что мы все вляпались.

– Я возвращаюсь, – глухо произнёс Хас.

– Что-о? Куда? – повернулся к нему Марио.

– Куда, куда. Домой. С меня хватит.

– А как же клад? – спросил я и заметил, как у него забегали глазки, но, видимо, на этот раз страх пересилил жадность, потому что он в отчаянии рубанул по воздуху кулаком и отрезал:

– Хочешь сам так плавать?!

А потом я вдруг сделал такое, от чего до сих пор содрогаюсь. Неожиданно я подошел к утопленнику и перевернул его.

То, что мы увидели, повергло нас в ужас. У него не было того, что находится у всех у нас между ног, будто кто-то отсёк это грубым мясницким ножом. Там зияла кровавая рана, не рана, а дыра, чёрная, глубокая и страшная. Разрез шёл к животу, и из вспоротого живота вывалились кишки, и от тела шёл очень тяжёлый дух.

– Сом пожрал, наверное, – глухо обронил Марио и слотнул.

– Или раки, – произнёс я механически.

– Или раки, – эхом отозвался Мишка.

Приблизился Хас, он мельком взглянул на утопленника, а потом его затрясло.

– Зачем вы его трогали? Зачем, зачем вы его трогали?! – взвизгнул он, схватившись за горло. – Да вы хоть знаете, кто это?!

И если до сих пор я ещё крепился, то теперь у меня всё поплыло перед глазами, и желудок вновь стал сокращаться в спазмах, но я сдержался. Глотая воздух и страшно потев, я отвернулся и повторял про себя всё время: «Держись, Тим, держись!».

Я помню эту фразу из детства, из того детства, когда отец ещё катал меня на санках, и однажды мы с ним поехали на Суворову Горку, и, летя по снежному скользкому склону, санки вдруг свернули в овраг, и уже падая, я успел схватиться за стебли травы, торчащие сквозь мёрзлый наст, и санки полетели вниз, а я висел, висел, и когда отец подбежал, он повторял всё время: «Держись, Тим, держись!».

А потом он крепко и радостно целовал меня в щёки, и нос, и всё время гладил по голове. А после того, как достал со дна оврага санки, он бегом вёз меня домой по заснеженному шоссе несколько километров.

Я помню, как сверкал снежный ветер в наплывающем сумраке зимнего вечера, как мигали фонари вдоль дороги, и смеющееся лицо отца, когда он подбрасывал радостно шапку вверх, ловил её и кричал мне оборачиваясь: «Держись, Тим, держись!».

Тогда я не понял, почему он так радовался и какой опасности мне удалось избежать, я только понял, что нужно держаться изо всех сил, когда становится тебе невмоготу или когда тебе тошно, и тогда какая-то сила обязательно тебя поднимет и вынесет, вынесет обязательно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

– Это же двоюродный брат Колы, Витька Меркулов! – тихо произнёс Хас, попятившись.

И точно, я сразу вспомнил его. Он окончил недавно школу и работал охранником в зале игровых автоматов, который держал Шеф. Не раз я заставал его там, когда он, вращая ключи на пальце, прогуливался между «однорукими бандитами». И хотя, наверняка, ему перепало с барского стола за верную службу, но всё же он держался всегда в тени, не задавался. Кола, по сравнению с ним, был дерзкий, отвязный тип. Они были не особенно похожи, но что-то общее в лице всё же было.



Но сейчас, конечно, Витьку было трудно узнать. Что говорить, мы струхнули по-настоящему. Шутки закончились. Что там собаки, что там змеи по сравнению с холодным, исполосованным трупом парня, которого ты видел живым всего пару недель назад.

— Надо возвращаться, пока не поздно, — повторял Хас.

— Кто ж его так, а? — взглянул на меня Мишка.

— Мало ли, — пожал я плечами. — Ты не знаешь, у родственников Колы нет дачи поблизости? — повернулся я к Марио.

Тот пожал плечами, а потом вдруг сказал:

— Слушайте, а что если Кола проболтался о кладе, вот Витьку и порешили при дележе. Курган-то где-то там, — указал он вверх по течению.

— Что будем делать, а? — обвёл я всех глазами.

Мишка нервно грыз ноготь, Марио притих, а Хас махнул рукой и сказал:

— Делайте что хотите, я возвращаюсь.

Его трясло, как в ознобе, хотя парило нестерпимо. Мы все истекали потом, а его колотило, будто он голышом оказался на Северном полюсе.

— Куда, куда ты возвращаешься? На остров? Заварил кашу, а теперь в кусты. Сцькло дебильное! — набросился на него Марио.

— Заткнись! — прикрикнул на него Мишка. — Ч-чего привязался?

Он подошёл к телу, которое мерно покачивалось на мелкой зыби, дотронулся до него ногой. Оно чуть кольхнулось. Постояв несколько секунд в задумчивости, Мишка обернулся и сказал:

— Спрячем его пока здесь, а в милицию потом позвоним, когда дело сделаем.

— Правильно, — кивнул Марио.

— Тим, Марио, помогите, — бросил Мишка вполоборота, склонившись над трупом.

И пока ошавевший Хас стоял в стороне, мы перетасили труп под раскидистую иву и быстро забросали его ветками — получился небольшой стог.

— Ну что, Сусанин, веди, давай, — повернулся Марио к Хасу, вытирая лоб. — Я возвращаюсь, я возвращаюсь, — передразнил он его и ещё раз прижал набросанную сверху листву.

Но Хас даже не взглянул на него. Он обречённо махнул рукой и пошёл к нашей стоянке.

Мне и самому было не по себе, мало сказать, мне было очень плохо, хотелось и плакать, и смеяться, и никак я не мог избавиться от того другого, который вдруг стал вновь следить за мной.

Честно говоря, теперь мне было всё равно, куда идти и зачем. Мне жаль было этого парня, который лежал там, на берегу, присыпанный ветками. Я всё представлял, как страшно ему было тонуть в реке, и дыхание у меня перехватывало.

Я всё ещё брёл куда-то за товарищами по тропинке, петляющей между деревьями, мы поднимались по глинистому косогору, и потом двигались в тёмном, душном сумраке утреннего леса прямо через колючие, фиолетовые дуги ежевики, спотыкаясь и на ходу запихивая в рот кисловатые чёрно-бурые ягоды, не обращая внимания на оскомину, от которой скоро заныли скулы и зашипало язык. Я всё ещё шёл за ними, пронизанный солнечными лучами, птичьим щебетом и острыми, терпкими запахами августовского леса, я шёл за ними и почти плакал, слёзы неволью наворачивались мне на глаза... Я чуть не рыдал от отчаянья.

Недавно доктор сказал, что я иду на поправку.

— Понимаете, — сказал он мне и посмотрел на свои отполированные ногти. — У некоторых людей иногда проявляется такой феномен, как раздвоение личности, — он сделал многозначительную паузу, выжидая, пока я понимающе кивну, и продолжил:

— И вообще, шизоидность — это особенность любого творческого человека, плохо только, если она перерастает в шизофрению.

«Вот же гад, — подумал я, сидя под кондиционером в его сверкающем кабинете, — плети, плети, не верю ни единому твоему слову».

Всё время они пичкают меня какой-то дрянью, от которой голова делается ватной и пустой, а в сон проваливаешься, как в пуховую перину. Всё время они меня уговаривают, что я скоро поправлюсь, и голоса больше не будут преследовать меня.

Когда я бунтую и кричу, что я здоров, что мне просто нужно выплеснуть эмоции, они мне отвечают, мол, да, да, мы всё понимаем, вот поэтому мы и хотим вас немножечко подремонтировать. Они пытаются внушить мне, что я — кретин. А я — не кретин, я просто хочу во всех подробностях вспомнить, что со мной случилось когда-то.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Солнце поднялось уже высоко, а мы всё шли и шли по лесу. Сквозь листву пробивались яркие снопы света, и солнечные зайчики прыгали повсюду, то замирая, то ускоряя свой бег. Ветер усилился, но в лесу особенно парило, и пыль на тропинке курилась под ногами, как порох.

Когда туча, которую мы недавно заметили, укрыла южную часть небосклона и, набухая грозой, стала яриться в золотисто-оранжевых всполохах, мы сделали привал, и пока лежали и смотрели на

громоздящиеся в вышине сизо-фиолетовые дымные башни, я почувствовал, как по шее ползёт божья коровка, взял её, посадил на палец и проговорил: «Божья коровка, полети на небо, там твои детки кушают котлетки». Затем подул на неё, но она не улетала, крепко сцепившись лапками за кожу, но вот дохнул ветер, и её крылышки замелькали в воздухе, а глаза от усталости начали сами закрываться, и чей-то голос вдруг произнёс: «Ты должен встретить одну из моих дочерей и полюбить её».

Раздался гул, и меня унесло в темноту, возникло лицо, изборождённое глубокими морщинами, лицо, у которого вместо глаз зияли два чёрных провала. Тонкие нити липкой паутины тянулись в темноту, опутывали меня, пласты бурой глины отпадали с этого лица, я пытался перекреститься во сне, как меня это учила делать бабушка, но рука онемела, я не мог и пальцем шевельнуть, а голос повторял вновь и вновь: «Ты должен встретить одну из моих дочерей и полюбить её».

Я очнулся оттого, что кто-то дёргал меня за руку.

— Тим, в-вставай, надо идти, — склонился надо мной Мишка.

Как лунатик, я поднялся и поплёлся за остальными.

Теперь, к полудню, стало ясно, что мы заблудились. Но это меня мало тревожило, я то и дело смахивал с лица паутину сна, вздрагивал от каждого шороха и всё думал, чтобы мог значить мой сон, и уже хотел рассказать об этом видении, когда мы вдруг остановились, и Мишка сказал:

— С-стойте, куда мы тащимся, курган же где-то на берегу?!

— Да, да, — закивал Хас, — там дубы ещё должны расти.

Я осмотрелся. Вокруг росли только осины, дикие акации, пару клёнов да ежевика.

— Сейчас выясним, где мы, — засуетился Марио, — секундочку, ребзя.

Сбросив рюкзак на землю, он стал взбираться на осину, крона которой терялась высоко в небе. Мы с восхищением следили за его движениями; я вновь почувствовал, как закружилась голова, дыхание участилось, и вновь поплыло на меня лицо гетмана.

— Берег недалеко, а кургана не видно, лес как стена! — крикнул, спускаясь Марио.

— Может, он дальше, на север, — обронил Хас.

Пахнул свежий порыв ветра, листья деревьев затрепетали с сухим шелестом. Вдруг всё затихло: шорохи, звуки, птичий гомон. Запахло прелью. Я поднял лист клёна, надкусил его и пожевал, — он был терпкий и вязкий на вкус.

Под ногами хрустели прошлогодние семена акаций. Неожиданно ещё один порыв ветра пробежал по кронам, воздух наполнился свежестью и замерцал в медном сумраке леса.

— З-значит, ничего не заметил? — спросил Мишка.

— Какое там, сплошной лес, — махнул рукой Марио.

— Сворачиваем к реке, — предложил Мишка.

Чумазы, заплётённые по самую макушку, с воспалёнными глазами, нечёсаные, мы походили на обезьян, пробирающихся через чащобу на тропическом острове. Вдалеке громыхнуло, глухой, раскатистый удар потряс небо. Молнии мы не увидели, но над нами сверкнуло так, что заныло под ложечкой.

— Скорей, скорей, на открытое пространство! — закричал Хас. — Молнии бьют в деревья! Бежим, скорее!

Перепрыгивая через поваленные стволы и сухой валежник, мы понеслись к берегу.

Хас опередил нас. Он нёсся вперед, как жираф, прыжками, с такой скоростью, что мы не сразу его нагнали.

Вновь громыхнуло — треснуло так, что в ушах зазвенело.

— А-а-а! — кричал Марио.

Теперь он летел впереди всех. Наконец, с визгами и криками, мы выбежали на край обрыва. Громкая туча затянула полнеба. Река бурлила. Ветер трепал деревья, рвал листву и бросал её пригоршнями в лицо. Листва кружила в фосфоресцирующем воздухе, налипая на глинистый склон, на стволы деревьев, на траву под ногами. Теперь удар следовал за ударом. Помню округлённые глаза Марио.

Вот он прыгает и начинает съезжать по склону, за ним поднимается желтоватый столб пыли, следом прыгает Мишка — на короточках съезжает к кромке воды; долго возится Хас, наконец, и он прыгает, опрокидывается навзничь и несётся вниз, подпрыгивая на выбоинах.

Вот уже их фигурки маячат далеко внизу, Мишка машет мне, кричит, но слов не разобрать. Я бросаю рюкзак вперёд, синий сполох трезубцем пронзает чёрную тучу, жёлтый взрыв, я прыгаю, хлёткий ветер бьёт по щекам... Внизу я не удерживаюсь и падаю, успеваю выставить руки, меня подхватывают, Мишкино лицо, вновь взрыв. Я читаю по его губам слово «укрытие», мы бежим, ветер сбивает дыхание. Мы бежим по сухому, белому песку, спотыкаемся, падаем, снова бежим.

Неожиданно ветер стихает, и тяжёлые, как градины, капли, ударяют по листве, насыщая влагой песок и глинистый склон. Начинает пузыриться вода в реке. Где-то вверху лопнуло с треском дерево, а потом огромный кряжистый дуб стал падать на нас своей раскидистой кроной. Дерево падает, а мы не можем сделать ни шагу, стоим и смотрим, как оно падает на нас, осыпая градом листьев и желудей, и кажется, что вот сейчас оно обрушится на нас ветвистой кроной и навсегда погребёт под собой.

Но вдруг тёмно-зелёный шатёр зависает над краем обрыва.

— Вот оно, вот оно! — визжит Хас, перекивая шум грозы. — Это здесь, это здесь!



– Ты что, рехнулся?! – кричит Мишка.

– Молния, молния, там есть металл, молния метит клады! Это здесь, здесь! – Хаса трясёт, мокрые волосы облепили шишковатый лоб, – это здесь, это здесь!

Мы карабкаемся по откосу, и вдруг меня откидывает назад, перед глазами мелькает жёлтая сетка, я вижу каждую трещинку на земле, каждую травинку, как сквозь увеличительное стекло. . . Будто током прожигает мозг, и я припадаю к холодному откосу, замираю на секунду и шепчу: «Мама, мамочка, спаси меня». Я припадаю к земле, как ящерица, впиваюсь в неё ногтями, я впиваюсь в неё, как расплавленный свинец, хватаюсь цепко за бурьян, который глубоко врос корнями в склон, и жёлтая сетка только на миг, на миг вспыхивает и гаснет.

– Давай, давай! – кричат Мишка и Марио, схватив меня за руку.

Мгновение – и я падаю лицом в мокрую траву, и тягучая, вязкая тишина наполняет теплотой голову. . .

Я приподнялся – недалеко от корневища, выпроставшего из-под земли скользкие свои щупальца, лежало то, что мы так долго искали.

Говорят, что дубы стоят и по семьсот лет. Я не знаю, сколько было этому гиганту, но то, что он пережил тысячи бурь, – это уж точно.

Дерево было такое огромное, что, даже разбитое молнией, оно всё равно заслонило кроной полнеба. Густая листва задерживала дождь, а ствол и впятером можно было не обхватить. Кора дерева была вся в трещинах, рытвинах, два огромных дупла зияли там, где ствол расходился на ветвяные потоки.

Впереди, недалеко от расколотого молнией дерева, лежал мокрый от дождя камень, его поверхность отливала свинцом, а сколы и грани поблёскивали, как кварц. На верхнем фесе виднелась почти стёртая надпись, похожая на арабскую узорчатую вязь.

Марио обошёл камень и восхищённо погладил его.

– Неужели мы нашли?

– Нашли, – отозвался Хас.

– Йес! – вскинул Мишка кулак.

– Ура-а-а! – победно закричал Марио, и его крик врезался пронзительной нотой в монотонный шорох дождя.

Спусти мгновение Мишка подрубал дёрн лопатой Марио, Хас долбил землю ледорубом, сам Марио рыл Мишкиным стилетом, а я орудовал сапёрной лопаткой, забыв, что недавно содрогался от одной мысли прикоснуться к ней.

Земля была рыхлая, ещё не размокла, поэтому поддавалась легко. Нам и в голову не приходило, что можно переждать, что ливень скоро закончится. Лихорадка трясла нас, и мы копали и копали. Но дождь всё не стихал, вновь громыхнул раскат грома, и тут раздался возглас Марио:

– Вот он, смотрите!

На глубине чуть больше метра лежал череп. Мне померещилось, что внутри него что-то шевелится.

– У-хы! – вцепился Хас в плечо Марио.

По шее у меня забегали мурашки, мелькнули перед глазами зелёные искорки дурноты и тотчас растаяли; я хотел крикнуть, но распухший язык будто прилип к нёбу.

– Давай, давай! Там что-то есть! – воскликнул Марио, оттолкнув Хаса, ноздри у него раздувались, а мокрое от дождя лицо лоснилось, как печёное яблоко, облитое сахарным сиропом, глаза-сливы блесгли.

Уже и не помню, сколько я махал ледорубом Хаса. Помню, что в какой-то момент он сменил меня, размахнулся, – и сразу ледоруб звякнул и отскочил со скрежетом.

Мы очистили от земли крышку сундука, кованую железом; мы попытались его приподнять, но не смогли даже сдвинуть, так он закил в земле. Дождь хлестал, не переставая. Вода срывалась листья и веточки, и мы затаптывали их в чёрную жижу ямы. Ветер подсекал дождевые нити, и они больно жалили нас, врываясь под крону. Схватившись за нижний край сундука, я обломал ноготь на безымянном пальце, но боли не почувствовал.

Наконец нам удалось приподнять сундук – показались обрывки полусгнившей одежды, на мгновение мы отпрянули, но Мишка крикнул:

– В-вытаскиваем!

И мы, теснясь, и мешая друг другу, рванули сундук от земли.

Ещё один мощнейший громовой раскат потряс небо.

– А-а-а! – закричали мы, слившись в едином усилии, привалили сундук к краю ямы и едва удерживали; ноги скользили в жидкой грязи.

Я ещё успел заметить, как Мишка открыл рот, как вдруг из зарослей послышался пронзительный визг:

– Уи-и-и!!!

Именно так визжала свинья, которую зарезали у бабушки во дворе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

– У-и-и-и!!! – это был визг Жосана.

С ним были Кола, Егор, Радик Липский и ещё пару парней. И – с ними была Лера.



Она шла чуть поодаль от Жосана, и хотя лицо её скрывал капюшон штормовки, я узнал её.

Они напоминали водолазов, крадущихся по дну моря среди коралловых зарослей; их скрывало поваленное дерево, поэтому мы их и не заметили сразу.

– Нашли-и-и! – верещал Жосан, – Нашли, засранцы! Решили мой клад заграбастать?! Это какая же крыса проникла, а, Кола? – бросил он через плечо.

К нему подошёл Кола, презрительно сплюнул под ноги и сказал с вызовом:

– Говорил я тебе, что нас кто-то подслушивает.

Встряхнувшись, он стал крутить головой, разминая шею, как перед выходом на ринг.

– Интере-есно кто? – процедил сквозь зубы Жосан и, заметив, как Хас втянул голову в плечи, бросил ему, – уж не ты ли та самая крыса?!

– Ну что, тюфяк, допрыгался! Сейчас мы из тебя пыль-то повыбиваем, будешь знать, чмо, как подслушивать, – и Кола со всей силы хряснул кулаком о ладонь.

Повернувшись к своим, он захохотал, как гиена:

– А классно мы их вставили, по самые гогошары, га-га-га! Ну что, кроты, – повернулся он к нам, – теперь мы вам устроим праздник!

– Я тебе не тюфяк, понял! И сам ты, сам ты чмо! – выкрикнул неожиданно Хас.

Он стоял с ледорубом в руках у дальнего края ямы. Мотнув головой, он стряхнул град капель со лба, а потом неловко утёр скулу плечом; насадка ледоруба матово блеснула.

Мишка сжимал кулаки, исподлобья глядя на Жосана, Марио изумлённо вертел головой.

Я смотрел на Леру и никак не мог понять, что она здесь делает.

Мы стояли в нескольких метрах друг от друга: я в яме, по щиколотку в грязи, а она в серебристом потоке ливня, и мне казалось, что всё это – продолжение того странного сна, что я всё ещё не выпутался из его душной, липкой паутины.

– Что?! – воскликнул опешивший Кола.

Вид у него был как у кота, которого бросили в тазик с водой, а потом вытащили оттуда и, держа за загривок, вдруг щёлкнули костяшками пальцев по носу, – что ты сказал, ты, ты... – он как-то весь выгнулся и подался к Хасу, выпучив глаза.

– Подожди, потом им займёмся, – удержал его за локоть Жосан и бросил нам с угрозой, – ну, чего уставились, выгаскивайте давайте!

– Не повезло вам, пацаны! – хохотнул возбуждённо Кола и вновь хряснул кулаком о ладонь. – Хорошо, что заметили их, да? – повернулся он к Жосану.

– Заглохни! – осадил его тот. – Вы долго там торчать будете, чего вылупились, давайте, выгаскивайте! А мы пока подумаем, что с вами делать! – крикнул он.

– А морда у тебя не треснет?! – крикнул я срывающимся голосом, и почувствовал, как вновь с шумом кровь прилила к голове.

Всё то, что заставляло меня раньше содрогаться: когда называли мою фамилию на уроке, когда приходилось проходить водоворот под мостом, когда меня подзывали старшеклассники, когда я сталкивался с Жосаном в городе, – всё это куда-то улетучилось, выгорело во мне, а пепел развеялся по ветру, и не осталось ни былинки, ни пылинки, ни паутины, ни щепотки страха. Страх во мне кончился.

Запугивания Жосана не стоили ни гроша. Я чувствовал, как мои товарищи изменились. Теперь мы были не каждый сам по себе. Теперь мы были вместе, теперь мы стояли непоколебимо, как крепость. Даже Хас, теперь и он пойдёт с нами до конца. Я заметил, как он весь ошетинился.

Марио придвинулся к самому краю ямы и всё порывался что-то сказать, но, видимо, та быстрота, с которой мелькали у него в голове картинки, опережала язык. Так и хотелось крикнуть ему: «Эй, Марио, закрой рот, а то ворона залетит». Но было не до шуток, поверьте.

Боковым зрением я уловил, как Мишка попятился под крону, где лежали наши рюкзаки, но вскоре я его потерял из виду.

Покалывало подушечки пальцев, налетел шквал, но мне стало вдруг весело, да, весело, волна необъяснимого восторга несла меня!

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

– Вы что, не поняли? Валите отсюда! Валите, пока целы! – воскликнул вдруг Хас.

Краем глаза я заметил, как трясся в его руках ледоруб.

– Ах ты гадёныш! – дёрнулся к нему Жосан.

– Дай-ка я ему зубы посчитаю, – подался вперёд Егор.

– С-стой там, где стоишь! – неожиданно из-под кроны закричал Мишка.

– Это кто там ещё вякает? Мишка, это ты, что ли? Давно в дыню не получал? – двинулся к нему Егор, но Жосан положил ему руку на плечо.

Егор обернулся и понимающе кивнул. Жосан был хитёр, что-то он уже придумал, так, наверное, решил Егор. Он засунул в карманы свои пудовые кулаки и угрюмо вперился в Мишку взглядом. Сейчас он напоминал дрессированного питбуля, ждущего команды «фас» от хозяина.

– Постой, Швед, постой, – произнёс Жосан, – не торопись. Пусть выгасчат сундук сначала, зачем в грязи ковыряться, правда, Тим? – бросил он мне вдруг.



Но я его не слышал. Я до боли сжал сапёрную лопатку, изготовившись рубануть любого, кто приблизится, и смотрел мимо него на Леру. Это она все подстроила – ошарашила меня внезапная догадка. Но почему, почему, почему?! Неужели ради этого смазливового богатенького хлыща, неужели ради него?!

Вот он стоит, ухмыляется, довольный, уверенный в своём праве сильного, уверенный, что ему всё сойдёт с рук. Прилизанный маменькин сынок, за которого всегда всё делали, которому всегда всё подносили на серебряной тарелочке, которому не нужно было думать о том, что надеть на школьный вечер, как правильно произнести слово, чтобы тебя не высмеяли, которого всегда могли родики отмазать, и который украл у нас самое дорогое, самое драгоценное... Пришёл, увидел и украл.

Конечно, мы тоже хороши, кладоискатели. Но мы за всё заплатили сполна: мы могли утонуть, нас чуть не разорвали собаки, Марио едва не укусила змея, а меня до сих пор водило от солнечного удара. Мы, наконец, откопали этот сундук, и теперь он принадлежал нам по праву. А этот тип украл у нас, украл у меня, у меня, не заплатив за это ни гроша. Но он ответит, – уж я позабочусь об этом. Кровь во мне бунтовала, обида жгла нестерпимо, и я крикнул:

– Предательница! Это ты всё подстроила! Промеяла нас на этого урода!

– Что-о? Что ты сказал?! – обалдело переспросил Жосан, откинув капюшон куртки.

Именно «урод» сорвал его с катушек, очень уж он любил себя, красивого. Лицо его перекосила судорога, и он пошёл на меня с кулаками.

– Что слышал, урод! Иди, иди ко мне, рожа!

Злоба пылала в глазах его. Я видел эти глаза: один дымчатый чёрный, а другой жёлтый, как топаз. За ним угрюмо двинулись Кола и Егор, а Радик с друзьями, ещё не понимая, что происходит, топтались на месте, опасливо озираясь.

– Ну, всё, debil, тебе конец. Сейчас я буду выбивать тебе зубы! – прорычал Жосан.

В этот момент я ещё успел подумать о своих плохих зубах, которыми мучаюсь с самого детства, но вдруг в мерном шуме ливня что-то, фыркающая и разбрасывающая снопы искр, с протяжным свистом пролетело над нами, плюхнулось в лужу далеко впереди, – и: «Ба-бах!!!» – раздался оглушительный грохот – и мир раскололся на сотни звенящих осколков.

Взметнулся фонтан брызг и грязи, под нами вздыбилась земля, и на какое-то время мы оглохли. С верхушки осины, которая росла на краю прогалины, будто гигантской косой срезало несколько веток, и они, медленно планируя, опускались на землю...

Смешно подпрыгнул Жосан, испуганно завертел головой Кола, Егор присел, будто ему врезали по шее, а Радик и двое других парней упали прямо лицом в грязь, и так и лежали, прикрыв головы руками.

– Стоять! – вспорол плёнку глухоты Мишкин возглас. – Стоять, или я вас всех угрохаю!

Все ошалело уставились на Мишку, – в руке у него была ещё одна граната. Он только что поджёг фитиль, и тонкая просмоленная нить из пакли задымилась, шипя и разбрасывая снопы искр.

Этот бенгальский огонь до сих пор брызжет у меня в мозгу. До сих пор я вижу, как судорога пробегает по лицу Жосана. Вижу, как он смешно вращает головой. Испуганный малыш, вот кто он был теперь. Маленький мальчик, у которого отобрали игрушку, а из-за угла вдруг выглянуло привидение и стало подманивать его. А он ещё не понял, то ли ему бежать к мамочке, то ли плакать навзрыд. Весь гонор, вся прыть улетучилась – как корова языком слизала.

– Эй, парень, не дури! Затупи! – крикнул Мишке Егор, трясая головой, как полоумный.

– Валите к чертям отсюда! Пять секунд, и я вас угрохаю! – замахнулся Мишка.

Напряжение схватки преобразило его – горели рыжим пламенем волосы, горели ярким, синим блеском глаза. Он был такой рыжий, что его было видно, наверное, за километр отсюда.

Егор был совсем не похож на него, коренастый, медлительный, с водянистыми бесцветными глазами, он походил на скандинава, его так и звали «швед».

– Да ты что, свисток свихнулся?! Чуть брата не укокошил! – взревел Егор.

– Вали отсюда, колченогий! Раз! – начал считать Мишка, глядя на брызжущий искрами фитиль.

– Послушай, – вмешался в перебранку Жосан, губы у него так и прыгали, как пиявки, на белом лице клоуна.

– Корешок, успокойся, успокойся. Да затупи ты, блин, эту дрянь! Что вы будете делать с этим теперь?! – затараторил он. – Сладите государству – а вам за это кукиш! А я бы продать помог. Зачем тебе эти сосунки, брось ты их, мы с ними ничего не сделаем, обещаю. Ну, Мишка, давай, решайся, ну, ты же разумный парень.

И тут заговорил Марио. До этого он всё время только скидывал руки, пытаясь что-то сказать, а теперь его прорвало, наконец, и он выпалил:

– Да пошёл ты! Вали, пока цел!

Именно в это мгновение совсем близко завывала тревога. Вой взметнулся, как вопль, как жёлтое знамя над полем боя. Первым подорвал Кола. Промычав что-то нечленораздельное, он громко взвизгнул, подпрыгнул, и, нелепо взмахнув руками, так стартанул, что, наверное, побил мировой рекорд по спринту. За ним сломя голову понёсся Радик с парнями. Они подскочили, как лягушки, и, не оглядываясь, понеслись через чащобу к реке. После секундного замешательства Швед тоже пустился наутёк.

Но Жосан остался. Он – как остолбенел. Осталась и Лера.

Мишка выдернул фитиль из цилиндра, бросил его в лужу, и тот, зашипев, скрутился спиралью, фыркнул и перестал искрить.

– Дураки, вы ничего не знаете! – заслонила Лера собой Жосана.

Слёзы текли по её лицу, или это был дождь, не помню.

– Забирай свою подстилку и улепётывай! – крикнул я.

Звук тревоги нарастал.

– Ну всё, тебе конец, сам напросился, – отстранив Леру, процедил сквозь зубы Жосан. – Придурки... сейчас тут солдатня будет. Теперь клад никому не достанется, никому! – сорвался он на вскрип.

Несколько мгновений он ещё сверлил меня взглядом, потом схватил Леру за руку, и потащил её за собой, шлёпая прямо по лужам и неловко дёргая плечом. Обернувшись, он крикнул:

– До скорой встречи, дебил!

Я поднял ком земли и хотел запустить в него, но побоялся попасть в Леру, поэтому лишь ответил вдогонку:

– Чепи, урод!

Лера покорно трусила рядом с ним, лишь один раз обернувшись и что-то крикнула нам, но мы не разобрали её слов. Вскоре они скрылись за деревьями; и рёв сирены погас.

Мы с Мишкой переглянулись, взгляд у него был чужой и тяжёлый. Ливень неожиданно кончился. Земля чавкала под ногами, дождь смыл нанос земли, и сквозь маслянистый чернозём вновь желтела носовая кость черепа, а в его пустых глазницах сняли два оконца воды.

– Хы-а... – натужно засипел я.

Марио перехватил мой взгляд и попятился.

– Вон они! – показал Мишка, не обращая на нас внимания.

Вдоль берега, по направлению к крепости, медленно шёл катер, на котором, сбившись в кучу, стояли Жосан и компания. Я заметил, как Жосан тряс за грудки Колу. На борту катера ярко алела надпись «Бриз».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

– Эй, давайте быстрее! – крикнул нам Мишка и прыгнул в яму.

Из земли повывлезали дождевые черви, и мы утрамбовали в грязь, наверное, миллион их, пока вытаскивали сундук наверх.

Штыком сапёрной лопатки Мишка энергично очищал крышку сундука; мы с Хасом тёрли её травой, Марио скрёб стилетом, – но всё без толку, замка мы не обнаружили.

Руки у меня тряслись, как у пьяницы. Честно говоря, я уже плохо соображал, что происходит.

– Надо что-то сделать, надо что-то сделать! – на короточках прыгал возле сундука Марио.

Мишка размахнулся ледорубом и со всей силы грохнул им о сундук. Раздался скрежет, и в крышке образовалась вмятина с пятак. Размахнувшись ещё раз, он вновь грохнул им по крышке, полумесец ледоруба скользнул и сорвал кусок грязи, показался утопленный заподлицо замок. Выхватив у Марио стилет, Мишка вставил его в отверстие и ударил по ручке ледорубом так, что замок треснул. Ещё несколько ударов, и крышка откинулась.

Первым нырнул в сундук Марио. Мне показалось, что его короткие волосы на затылке зашевелились.

– Ёшкин кот! Да тут пусто! – воскликнул он.

– А ну, дай-ка, – отпихнул его Мишка.

– Это ты всё взорвал, занка, мой сокровища взорвал! Клад, где мой клад?! – кинулся на Мишку Марио, но мы с Хасом его вовремя оттащили.

Правда, Марио так больно укусил меня, что я со всей злости двинул ему по шее.

– Да успокойся ты! – заорал я, но он, как помешанный, упал на землю, и стал молотить по ней кулаками, разбрызгивая грязь во все стороны:

– Ненавижу, ненавижу! Вы украли мой клад! – кричал он.

– Там что, пусто? – спросил я Мишку.

– Да нет, что-то есть.

Мишка стоял на короточках, лицо его от напряжения стало кирпично-красным, рыжие волосы клочками торчали во все стороны.

– На, держи, – бросил он маленький плоский кожаный футляр Марио.

Марио с жадностью схватил его и попытался открыть зубами.

– Да стой ты, – выхватил у него футляр Хас, – вот же застёжка сбоку.

Он откинул латунную застёжку – на бархатном ложе, в золотой рамке, инкрустированной разноцветными камешками, лежал медальон, размером с брелок от ключей. Сквозь прозрачную глазурь медальона на нас глядели удивлённые глаза молодой девушки в восточном одеянии.

– И это всё, и это всё?! – восклицал Марио, повернувшись к Мишке.

А тот вскоре выудил со дна сундука кинжал в деревянных ножнах и два старинных бронзовых пистолета.

– Да, а что, мало? Смотри, какой супер! – поднял Мишка двумя руками пистолет с круглым набалдашником на рукоятке и прицелился им в Марио. – Настоящий! – довольно присвистнул Мишка, посмотрел в ствол, потом дунул туда. – Это полка для пороха, вот сюда он накладывается, а это замок, рычаг для взвода, – указал он на штырь, выступающий сбоку.



Забыв обо всём на свете, Мишка присел на край сундука и зачарованно рассматривал пистолет. Он был счастлив. Он получил то, что искал. Он сидел, раскачивался в такт своей речи, он ни разу не занкнулся, — все это заметили, даже Марио, который подходил к каждому с медальоном и причитал:

— Неужели это всё, неужели это всё?!

Наверное, Мишка перестал заикаться ещё в момент схватки, но мы заметили это только сейчас. Наверное, так бывает. Человек болеет, а потом «бах» — что-то происходит, и он выздоравливает.

Чудо, это было чудо, и мы стали его свидетелями. Мы подскочили к Мишке, начали его тискать и тормозить, он ничего не понимал, увёртывался от нас, едва удерживая пистолет в руке.

— Ты говоришь, ты говоришь, ты не заикаешься, совсем, совсем, слышишь, — толкал его Марио.

Взявшись за руки, мы стали танцевать вокруг него, неуклюже подпрыгивая на стёртых до крови ногах, крича и подбывая, будто дикари.

Это была радость, это была настоящая радость. И чудо, и всё!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Неожиданно стало необычно тихо. Слышно было только, как редкие дождевые капли, шурша в листве, тяжело шлёпаются в лужи.

— Ура! — ещё раз крикнул Марио, но тут же осёкся.

Мне почудилось, что кто-то следит за нами из-за плотной стены леса. Показался среди деревьев бо-родач, но я потрянул головой, и видение исчезло. Мишка обернулся и стал напряжённо вслушиваться. Вдалеке послышался собачий лай.

— Бежим! — воскликнул Марио, прижимая к груди футляр с медальоном.

— Мы не можем так всё бросить, — глухо произнёс Мишка.

Он попытался столкнуть сундук в яму. Лай собак, одной, другой, третьей приближался.

— Мишка, ты что, сдурел?! — взвизгнул Марио.

— Испугался? — спросил Мишка и посмотрел на того диким, блуждающим взглядом.

Сам не зная почему, я вдруг врезал ему по плечу так, что у него остался багровый след от ладони.

— Эй, парень, очнись! — заорал я.

Он вздрогнул, провёл рукой по лицу и произнёс с сожалением:

— Эх, жаль лодка далеко, — и добавил, — если не закопаем, он нас найдет.

— Его-то мы задобрим, а этих вряд ли, — мотнул я головой в сторону.

— Ты думаешь?

— Уверен.

— Вы что, совсем рехнулись?! Да нас тут сейчас точно слопают! — заорал Хас.

В подтверждение его слов, хриплый, захлёбывающийся лай раздался буквально в сотне метров от нас, и, едва успев похватать рюкзаки, мы рванули, удирая во все лопатки.

Кто он был, этот человек, похороненный здесь? Что за девушка была изображена на медальоне? Почему таким странно знакомым показалось мне это лицо? Вопросы вспыхивали у меня в голове, но ответа на них не было.

Справа теперь над нами возвышался курган, который вдруг поднялся, как волна прибоя над лесом. Его вершина едва поднималась над кронами деревьев, поэтому мы его и не заметили. Это был обычный невысокий холм, с плоской вершиной, густо поросший кустарником. Только на мгновение мы замешкались и вновь понеслись вперёд, потому что лай приближался.

Я заметил, как на бегу, Мишка подхватил футляр с медальоном из рук Марио, когда тот упал, переле-тев через валежник.

— А-а-а! Помогите! — орал Хас.

Сколько мы бежали, не помню. Кажется, я тогда бы и марафон пробежал с мировым рекордом. Только зря мы так парились. На этот раз нам не повезло. Когда мы выскочили на опушку леса, нас поджидало уже несколько милицейских машин. Сзади приближался лай собак, путь к отступлению был отрезан.

Удивительно, но в отделении нас приняли, как родных, — не угрожали, даже угостили конфетами, составили протокол. Хас, Мишка и я держались спокойно, ни от чего не отказывались, рассказали всё. А Марио плакал, он был очень расстроен и постоянно всхлипывал.

У нас всё отобрали, всё до последней отвёртки. С Мишкой ещё отдельно беседовали, я услышал только пару фраз типа «заведём дело» и «колония» — сквозь тёплую, обволакивающую дрему полусна-полуяви.

Нас положили спать на полу в помещении рядом с дежуркой, а Мишку ещё долго терзали. В какой-то момент и он лёг рядом.

Перед рассветом, когда чуть засинело за окном, приехал на уазике отец.

Он приехал сам, без водителя. Отец был очень возбуждён, размахивал руками, без фуражки и без кителя, и всё время поправлял сержанта, который ему втолковывал, что тот майор. Отец поглядывая на меня с интересом. Удивительно, но мне он не сказал ни одного плохого слова.

Домой ехали мы больше часа, сначала по ухабистой просёлочной дороге, потом по шоссе, потом через мост, и уже на рассвете въехали в город. Всю дорогу, пока мы то дремали, то всматривались в

сиреневые предрассветные сумерки, отец гнал машину. Он посадил рядом с собой Хаса, а Марио и нас с Мишкой – на заднее сидение. Всю дорогу отец молчал. Он только качал головой и посмеивался. Не знаю почему, но он был очень доволен. Это было удивительно. Иногда мы с Мишкой переглядывались, и я пожимал плечами, а он мне показывал большой палец.

Во двор мы въехали, когда солнечный диск уже поднялся над рекой. Часов семь было, не больше. Небо на востоке стремительно наливалось розовым цветом, из подворотни вышел дворник с ведрами и застыл, наблюдая, как мы подкатили к подъезду.

Я смотрел, как удалялись Хас и Марио. Они ни разу не оглянулись. Только перед дверью в подъезд Марио замешкался и крикнул:

– Увидимся в школе!

При этом он попытался состроить рожу, но вышло у него это совсем не смешно. Что сказать, настроение у нас было не очень. Мишка ещё постоял какое-то время у машины, поглядывая то на отца, то на меня, потом протянул мне руку, я пожал её крепко и вдруг ощутил, как он мне что-то вложил в ладонь.

На ладони у меня лежал медальон.

– Ну ты даёшь! – только и выдохнул я.

Он слегка подтолкнул мою ладонь и сказал:

– Брату покажи, может, он узнает, кто это.

Он хотел ещё что-то добавить, но передумал. Всё и так было ясно.

– До свиданья, дядя Гриша! – попрощался он.

Захлопнув дверцу, отец махнул рукой:

– Будь здоров, старик, держи хвост пистолетом!

Мишка кивнул, развернулся и потопал домой. Он шёл прямо, уверенно, высоко держа голову. Мы смотрели ему вслед и молчали. Он шёл легко, пружиня шаг, будто и не было десятков километров пути, двух бессонных ночей, стёртых в кровь ног. . .

Отец молчал. Да и что он мог мне тогда сказать?

Дома нас встретили в дверях мама и Ритка. Ритка была удивлена до крайности, шары у неё так и повискакивали, как на пружинках. Она вообще-то соня, но ради такого случая вскочила с постели чуть свет.

Мне показалось, что за эти два дня мама ещё больше постарела. Она охала, бестолково суежилась вокруг, прикрывала рот рукой, и когда я снял с себя футболку, взяла её с такой брезгливостью, будто это была дохлая кошка, потом подержала её пару секунд и бросила на пол в коридоре.

– Раздевайся, раздевайся прямо здесь и – в ванную, и сразу в ванную, – причитала она.

– Вот, доставил, в целости и сохранности, – гордо произнёс отец.

Он быстро разулся и побежал на кухню, хлопнула пробка бутылки, и пиво забулькало у него в горле.

– Эх! – крикнул отец. Ну и натерпелся я в милиции, не поверишь.

Это были последние слова отца, которые я услышал в то утро.

Кое-как я дошёл до ванной, забрался в горячую воду, намылил голову и, наверное, уснул, потому что меня растормошила мама.

– Ты чего, Тим, давай я тебе помогу.

– Нет, я сам, я сам, – сказал я ей, – выйди, пожалуйста.

Она вышла, я нырнул, смыл пену и мыло, потом вылез из ванной, поскользнулся и чуть не приложился виском о косяк, но удержался, быстро протопал к себе в комнату и свалился в свежее накрахмаленное бельё, которое пахло снегом.

Я лежал какое-то время, всматриваясь в потолок. За окном занимался день, солнечный свет, дробясь о широкие листья катальпы, наполнял комнату, как вода освещённый аквариум, и вскоре вокруг всё задрожало разноцветными бликами. Был последний день августа, кончилось самое жаркое лето в моей жизни, а через день мне исполнялось тринадцать лет.

Я ещё услышал, как кто-то тихо приоткрыл дверь и сказал: «Он уснул». Кажется, это была Ритка, а потом я действительно провалился в сон.

Мне снилось, как я ускорился на байдарке, пытаюсь догнать буксир, но резко накатила волна, и лодка накренилась, и я всё время табанил, чтобы не перевернуться, а потом волна стала выше и заслонила небо, и я слышал ещё голоса и видел лучистые блики сквозь зелёную воду, и в дымке вновь показалась крепость. . .

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Как мне потом рассказали, три дня я прометался в бреду. Вызвали врачей, но они только разводили руками. А меня трясло, тошнило, и температура всё время держалась около тридцати восьми.

Помню только склонившиеся надо мной лица брата, мамы, но в основном брата. . . Он почти всё время был рядом. А меня всё трясла лихорадка, и мерещились рыжие собаки, которые гнались за мной по снежному полю.

Через неделю, когда я более-менее очухался, брат уехал, а перед отъездом сказал, что, оказывается, мы нашли захоронение одного из сподвижников Мазепы, а самого гетмана похоронили с почестями



сначала в предместье Бендер, на кургане, но потом его прах по настоянию старшин перевезли в Галац, румынский город на берегу Дуная. Ещё брат сказал, что все предметы, которые мы нашли, будут скоро выставлены в городском музее, а пока их исследуют специалисты, но он и сам уже кое-что выяснил.

— А кто эта девушка на медальоне? — спросил я его, кивнув на медальон, который лежал рядом с подушкой.

— Думаю, она — племянница турецкого наместника. Но какая связь между ею и черепом, который вы откопали, пока загадка. Ведь по вере она была мусульманка, а в то время между христианами и мусульманами была особенная вражда. Как и где они могли встретиться, — пока не понятно. Наверное, у них был роман. Думаю, связь была короткой, и убили его из-за угла, время было смутное, бурное, сам понимаешь.

Но это мне мало что объяснило. Я кивнул и больше ни о чём не спрашивал.

Иногда ко мне заходили друзья. Странно, но мне почему-то совсем не хотелось с ними видаться. Теперь мы были герои, и они пересказывали многое из того, что о нас говорили в школе. Из нас, по моему, только Марио купался в лучах славы, а Мишка, Хас и я отнеслись к такой известности довольно сдержанно. Скоро Хас и Марио перестали меня навещать.

Иногда заходил Мишка, мы сидели с ним на балконе и подолгу молчали, смотрели в парк, прислушивались к голосам на берегу, а иногда играли в новую для нас игру — шахматы. Нас научил играть отец, и мы могли часами сидеть над доской. Но потом и Мишка перестал приходить, может, что-то случилось, но звонить ему мне не хотелось. Честно говоря, я был очень слаб и только в конце сентября пошёл в школу.

Там на меня все смотрели, как на диковинку. Или мне так казалось? Даже учителя старались не задавать лишних вопросов, как и родители дома, что меня, впрочем, вполне устраивало.

Не знаю почему, но теперь Хас сидел за другой партой, а со мной посадили Юрку Белых, спокойного, разумного мальчика, без фокусов. Я не застал в классе Леру. Оказывается, она перевелась в другую школу.

Сказать, что меня это огорчило, я не могу, и всё же было немного грустно, мне её не хватало. По привычке я бросал взгляд на её парту, но там теперь сидела некрасивая девочка Вера Малышева, она всё время деланно прихорашивалась, поправляя свои завлекалочки, и искоса поглядывала на меня.

На лбу у неё всегда горели красным светом прыщи, которые она, видимо, дома усердно давила и припудривала, отчего хотелось на неё совсем не хотелось.

Постепенно всё втянулось в свою колею. Учёба, дом, учёба, дом, на гребную базу я ещё не ходил. Наше приключение стало забываться, но вскоре меня всё-таки накрыла тень прошлого.

ЭПИЛОГ

В начале октября, когда от реки повеяло холодом, а с деревьев слетела первая листва, я спешил на тренировку, как вдруг позади раздался оглушительный треск — из проулка выскочили на мопедах Жосан и Кола.

До развилки, где начинался спуск к гребной базе, оставался один квартал, по сторонам высились дома за глухими заборами. В отчаянье я бросился бежать по тротуару, но вскоре получил сильный толчок в спину, споткнулся и хлопнулся об асфальт, разодрав ладони. Я не успел ещё подняться, как они уже были рядом: Жосан въехал на бордюр, откинул стойку и, погладив хромированный бак ослепительной «Явы», пошёл на меня. Целый месяц я ждал этой встречи, проигрывал её в мельчайших деталях, носил в карманах песок для этого случая, но случилось всё совсем не так, как я ожидал. Я поднялся и почувствовал, что ноги у меня стали ватные, а во рту появился острый металлический привкус.

Всего за день до этого Мишка мне рассказал, как они его избили возле трансформаторной будки за школой, вывихнули руку — через неделю после нашего возвращения. Мишка скрывал это от меня, не хотел расстраивать, а потом всё как-то улеглось, да и повода рассказывать не было.

Хасу и Марио, видимо, тоже досталось, — я видел след от фонаря под глазом у Марио, а у Хаса до сих пор дёргается плечо. Но они смолчали. Видимо, их так запугали, что они решили держать язык за зубами. Может быть, поэтому они отдалялись от нас с Мишкой всё больше, и мы ещё ни разу не собрались поиграть в карты, как раньше.

Пока Жосан, ухмыляясь и поигрывая ключами на пальце, подходил ко мне, Кола отрезал путь к отступлению. Инстинктивно я опустил руку в карман и схватил горсть песка, крепко зажав её в кулаке. Я приготовился драться, хотя шансов, конечно, у меня не было. Я видел, с какой ненавистью надвигается на меня Жосан, но страха во мне не было, правда, страха не было. Я спокойно смотрел в его один жёлтый, как у кошки, а другой чёрный, как уголь, глаз, я не мог смотреть одновременно в оба глаза. . .

— Ну что, дебил, вот мы и встретились! — крикнул он срывающимся фальцетом.

Противно захохотал Кола. Я заметил краем глаза, что он уже готов броситься на меня. Гиена, он хохотал, как гиена. До меня ещё только доходил смысл его слов, когда какая-то сила, как камень из пращи, метнула меня вперёд. Мгновенно я швырнул горсть песка в глаза Коле и, прыгнув на Жосана, ещё слышал его визг и ругань.

Я получил страшный удар в лицо, слёзы брызнули из глаз, но я не свалился, устоял, прыгнул ему в ноги, дёрнул под себя, и он упал навзничь, увлекая меня за собой, а потом во мне проснулся самый настоящий зверь. Я вдруг вцепился ему в горло зубами и рванул, что есть силы, и почувствовал, что в рот мне сочится тёплая, солоноватая струйка крови. Я увидел ещё, как в ужасе расширились его глаза, а потом

что-то тяжёлое опустилось мне на затылок, и я упал, как в перину, и голова у меня стала лёгкая, как перышко на ветру, и сквозь пелену забывтья я ещё услышал пронзительный визг Жосана.

Меня спас мой тренер, Донченко, он в это время ехал на велосипеде на гребную базу и увидел нашу драку. Он успел схватить Колу за руку в тот момент, когда тот вновь занёс гаечный ключ. Он быстро скрутил его, а Жосан заставил вызвать неотложку, потому что я был без сознания.

Тот попытался возражать, но Донченко сказал ему просто:

– Выбери, будешь либо соучастник, либо свидетель.

Жосан, видно, прикинул хвост к носу, и поспешил исполнить всё в точности.

Так я попал сюда. Сейчас я чувствую себя неплохо, только голова иногда болит, если пасмурно, а дождя нет. Все вокруг меня теперь ходят на цыпочках, особенно мама, она боится, чтобы я не свихнулся. Однажды я слышал, как она жаловалась кому-то по телефону, что у отца в роду есть парочка, как она их назвала «чикнутых» поэтов. «Боюсь, – говорит, – чтобы моим это не передалось».

Бедная мама, теперь я её ничем не смогу порадовать. Отчего-то мне вдруг нестерпимо захотелось писать стихи. Точнее, они сами складываются, стоит мне взять карандаш и придумать первую строку, а дальше всё идет, как по накатанному, знать бы только последнее слово, ключ, и тогда всё складывается само собой. Но только маме я пока не буду говорить об этом. Зачем?

Приходила Лера. Она стала другая. Глаза немного чужие, взрослые. Она рассказала, что Кола сидит в СИЗО, идёт следствие, но это я и сам знал.

Вертелся тут пару дней назад один прыщавый следак с перхотью на пиджаке, всё расспрашивал, как меня так угораздило. А я «не помню» да «не помню». А он мне:

– Дурак, чего ты их выгораживаешь? Они же ещё с кем-то расправятся. Чего ты выгораживаешь этих кретинов?!

Но только я больше не хотел ничего о них говорить. Зачем пацанам жизнь портить... Я их всех простил, и Жосана, и Колу, и Леру. У меня теперь другая идея, у меня теперь другое желание...

Лера мне рассказала ещё, что взяли Шефа по делу Витьки Меркулова. Будто бы это он пырнул Витьку ножом, потому что тот не хотел отдавать карточный долг. А карточный долг – дело святое, отдать должен, иначе – хана. Они там отгягивались у Шефа на даче, которая как раз недалеко за островом, резались в секу, на второй день нашей экспедиции, и кончилось всё тем, что Витьку кинули ракам на подкормку. Так что Шеф теперь с Колой соседи. Но Кола-то что, – он малолетка, да ещё его мать всё звонит родакам, плачет, чтобы они заявление забрали. Но отец непреклонен. Отвечает ей, что он сам теперь её сыну череп проломит. Но дело не в этом. Кола-то всё равно вывернется. А вот Шефу теперь капец, десяточка минимум светит, может, теперь встретится с Васькой одноглазым, Мишкиным братом, они когда-то дружили, одноклассники. Весёлая у нас школа, я вам скажу, да уж, скучать не приходится.

Иногда Лера читает мне дневник своего отца; вот уже двенадцать лет, как он сидит в дурдоме. Попал туда после авиакатастрофы, в которой погибла её мама. По словам Леры, мама её была наследницей знатного турецкого рода.

Месяц назад её отец сбежал из клиники, хотел рассказать ей, что когда она вырастет, то получит большое наследство. Но его поймали и вновь упрятали в психушку. Там главврач, кстати, отец Жосана. Но ему теперь не до шизиков, надо сыночка отмазывать.

Лера говорит, что стала дружить с Жосом, чтобы помочь своему отцу, но кто в это поверит, всё это лабуда, теперь-то можно насвистеть что угодно. Она приходит и всё больше молчит, и смотрит на меня задумчиво. А я болтаю ни о чём: о том, что скоро прикидки на чемпионат города, о том, что Мишка стал со мной заниматься английским, чтобы я не отставал сильно. Я говорю с ней о чём угодно, но только не о нас. Почему, не знаю.

Иногда я не хочу, чтобы она вообще приходила, но как ей об этом скажешь, – обидится. Поэтому я и говорю ни о чём, терплю её присутствие, так сказать, а сам всё думаю: «Уйди, пожалуйста, ну, уйди, пожалуйста».

Нет, она мне по-прежнему нравится, очень. Но только мне почему-то неловко с ней рядом. И не так, как раньше. И хотя я себе говорю, что всё это чешуя, глупости, чего не бывает, живи и радуйся, и всё такое, но теперь внутри у меня, как в пустом чёрном колодце самой морозной зимней ночью. Почему-то мне кажется, точнее, я даже уверен, что теперь нас уже ничего не связывает. Но мне всё равно, честно, у меня теперь другая идея, у меня теперь другая история, но о ней я пока болтать не буду, а то, я заметил, скажешь о чём-нибудь, а потом это – раз – и не сбудется.

Единственное, что меня ещё гложет иногда, это то, что я сейчас должен лежать здесь, и не могу выйти на воду, и не могу почувствовать, как пенится подо мной прохладная вода реки.

Единственное, что я хочу ещё сделать, и чтобы это именно она увидела, – это сесть на волну к буксиру. Это ребячество какое-то, конечно. Но я знаю, что теперь я смогу это сделать легко. Я знаю метод – если хочешь что-то сделать, думай только о том, что делаешь, и старайся это сделать легко, и тогда у тебя всё получится, да, всё получится, потому что все преграды только в тебе, и страх только в тебе, а когда просто делаешь, то страха нет, и тогда всё получается, да, всё получается.

Когда она уходит, и я лежу один в тишине и покое густеющих октябрьских сумерек, и на зеркало тишины падают жемчужные капли ночи, я прислушиваюсь к хрустальным звонам и просматриваю, как в кадрах замедленного кино: вот медленно спускаюсь по мокрому, скользкому трапу с байдаркой на



плече, иду осторожно, чтобы не поскользнуться и не занозить ступню, вот я выхожу на бон, устанавливаю лодку на воду, свежий ветер с реки гонит волну, и байдарка качается, вот я хватаюсь за передний выступ кокпита, сажусь на слайд, пробую, чтобы он был хорошо установлен и не ёрзал, вот я пристёгиваю к кокпиту блестящий фартук, отталкиваюсь от бона, течение разворачивает лодку, но я загребая и выравниваю её, а потом, легко погружая лопасть весла в воду, плотно налегаю на него, ускоряюсь и быстро пересекаю реку под железнодорожным мостом, течение резко бьёт в бок байдарку, но я продолжаю грести, только чуть весло проскальзывает в пене водоворота, а потом меня выбрасывает из него течением. И вот впереди появляется буксир, толкающий огромную баржу с песком. Я ускоряюсь, набираю в лёгкие побольше воздуха и делаю с десяток мощных гребков, нос лодки задирается, пока я пытаюсь сесть на первую волну, меня разворачивает, крутит, волна пыгается меня сбросить, вывернуть, выбросить из лодки, я табаню, выравниваю байдарку, и меня уже несёт в отработке буксира, но это только первая волна, самая пологая, а впереди ещё две, и третья – самая высокая, самая крутая, но я её точно пройду, а потом подниму руки с веслом над головой и, окутанный золотым сиянием ветра, закричу: *«Я свободен! Я свободен! Я свободен!»*.

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
в переводах Владимира Штокмана

ALICJA TANEW
АЛИЦИЯ ТАНЕВ

RÓŻA

I.

Nie więdnij rózo
uciesz mnie na chwilę
jutro ci będzie
wolno
płatki zrzucić
nie więdnij rózo
zrób dla mnie choć tyle
zanim ja zwiędnę
zanim muszę wrócić

II.

Nareszcie się zdecydowałaś
żeby rozwinąć się w piękność
kobietka z ciebie mała
udajesz obojętność
i nagle płatki rozchyłasz
odkrywasz tajemnice
oddajesz się
i zapadasz
w czyjeś płonące źrenice

III.

A cóż ty rózo
cóż ty rózo myślałaś
że już nie zwiędnieś
bo tak bardzo kochałaś
że nigdy nie zwiędnieś
że ci płatki nie miną
zapomniałaś rózo
że jesteś dziewczyną

РОЗА

I.

Роза не увядай
утешь меня на минуту
завтра тебе
я позволю



сбросить свои лепестки
роза не вянь
хотя бы это мне дай
прежде чем я увяну
прежде чем я вернусь

II.

Наконец ты решилась
красотой распуститься
маленькая кокетка
притворяешься безразличной
и вдруг лепестки раскрываешь
тайну свою открываешь
отдаёшься
и падаешь
в огонь чьих-то зрачков

III.

Что же ты роза
что же ты роза решила
что уже не увянешь
ты ведь так сильно любила
что никогда не увянешь
что лепестки твои вечны
разве забыла ты роза
ты ведь девушка тоже

KRYSTYNA KONECKA
КРИСТИНА КОНЕЦКАЯ

BODHISATTWA

Nad Morzem Żółtym słońce spada jak rybitwa.
A coraz niecierpliwiej nad Morzem Japońskim.
Poza tym kruchość plaży. Koreańska wioska
i wiatr. Co mnie wkołysał w egzotyczną przystań.

Są jeszcze mroczne modły szamanek przed świtem.
Tajemna diamentowa świątynia nadmorska.
A gdy zamierzam odejść, dotyka mych włosów
małeńki bodhisattwa z uśmiechem z nefrytu.

Po prostu nie do wiary. Lecz nie wiem – do której.
Od kogo dar przyjął podniebnych wędrówek?
Skąd ten wybór zszedł na mnie między milionami?

Po której stronie nieba szybuje mój anioł?
I w ogóle dlaczego ja, a nie ktoś obok,
uśmiecham się do buddy z plaży nefrytowej?

БОДХИСАТТВА

На Жёлтом море солнце как баклан.
А на Японском море как-то нервно.
И хрупкий пляж. Корейская деревня
И ветер, что меня к тем берегам пригнал.

На берегу алмазный тайный храм.
 Камлание шаманок. И внезапно
 С нефритовой улыбкой бодхисаттва
 К моим вдруг прикоснулся волосам.
 Не смею верить я. Да и какой же верой?
 Приемлю от кого небесный дар безмерный?
 И кто избрал меня среди других?

Парит мой ангел в небесах каких?
 И почему же на меня, а не иную,
 сам будда ниспослал улыбку неземную?

MAGDALENA WEGRZYNOWICZ-PLICHTA МАГДАЛЕНА ВЕНГЖИНОВИЧ-ПЛИХТА

WYROCZNIA

Zawsze wiedziałam, że wyrocznia
 niezwykłą musi być kobieta.
 Ta jednak była przeciętną szczupłą blondynką,
 zadną harpią ani hybrydą,
 tylko zwyczajnym młodym dziewczęciem,
 jakich wiele spotykam na krakowskich ulicach.

Polecił mi ją znajomy fotograf,
 któremu na nagradzane w konkursach zdjęcia
 bez trudu przepowiadała miejsca i zdarzenia,
 zągęszczone atmosferą zemsty i chęcią mordy,
 przesycone seksem i nieznośnym erotyzmem
 lub podniecającą żądzą pieniądza i władzy.

Odwiedziłam ją w nadziei,
 że pomoże odnaleźć mi zbląkane Muzy
 lub choćby wskaże poczytne tematy
 na powieść, nowele lub zbiór opowiadań.
 Zadałam jedno krótkie pytanie:
 o czym mam pisać, żebym była czytana?

Spojrzenie zielonych oczu wskazywało
 na trzeźwość umysłu i spokojne usposobienie.
 W przestronnym pokoju zalanym słońcem
 nie wyczuwałam oparów delfickiej Pytii,
 a w zgrabnych ruchach napięcia Kasandry,
 więc oczekiwałam jasnych wskazówek.

Kiedy zaczęła mówić, zobaczyłam,
 że z dolnego dziąsła zamiast kła wyrasta
 paznokieć z kawałkiem małego palca.
 Ukryłam zdziwienie, ale nie mogłam się skupić,
 słowa przelatywały obok moich uszu,
 czekałam w napięciu, aż zobaczę jej prawą dłoń.

Witając się ze mną nie podała ręki,
 przezornie trzymała ją ukrytą w kieszeni.
 A więc nie jest zwyczajną dziewczyną.
 Myśląc czemu los nazначzył ją tak szpetnie,
 bezwiednie wypowiedziałam: dlaczego?
 Zadźwięczało złowrogo i przerażone umilkło.

Dziewczyna też umilkła, uśmiechnęła się serdecznie.
 «Sama nie wiem, dlaczego» – powiedziała po chwili –



«Taka się już urodziłam, taka jestem,
taką mnie pochowają»
I wyjętą ręką w zmysłeniu podrapała się w głowę.
Tak jak przypuszczałam, zamiast ostatniego palca
miała piękny alabastrowo połyskujący kciuk.

ВЕДУНЬЯ

Я знала всегда, что ведунья
должна быть женщиной необычной.
А эта была невзрачной худой блондинкой,
никакой не гарпией и не гибридой,
а обычной юной девчонкой,
каких я часто встречаю на краковских улицах.

Её посоветовал мне знакомый фотограф,
которому для выигравших в конкурсах фотографий
она без труда предсказывала места и события,
с густой атмосферой мести и жаждой убийства,
перенасыщенные сексом и невыносимым эротизмом
или возбуждающим желанием денег и власти.

Я пришла к ней в надежде,
что она мне поможет найти заблудшую Музу
или хотя бы подскажет горячие темы
для романа, новеллы или сборника рассказов.
Я задала ей один лишь вопрос:
о чём мне писать, чтобы это читали?

Взгляд зелёных глаз говорил
о трезвом уме и спокойном характере.
В просторной комнате, залитой солнцем
я не заметила испарений дельфийской Пифии,
а в её изящных движениях – напряжения Кассандры,
потому я ожидала ясных советов.

Когда она начала говорить, я увидела,
что из её нижней десны вместо клыка растёт
ноготь с кусочком мизинца.
Скрыв своё удивление я не сумела собраться,
слова пролетали мимо ушей,
я ждала напряжённо, когда же увижу её правую руку.

При встрече она не подала мне руки,
предусмотрительно спрятав её в карман.
Значит всё же она не обычная девушка.
Размышляя, зачем судьба её наградила этим уродством,
я машинально произнесла: почему?
Слово прозвучало зловецю и в ужасе стихло.

Девушка тоже умолкла, улыбнулась сердечно.
«Я не знаю сама, почему» – сказала через минуту –
«Такая уж я уродилась, такой я живу,
и такой меня похоронят».
И, вынув руку, в задумчивости подперла ею голову.
Как я и предполагала, вместо мизинца
у неё был чудесный, с алебастровым блеском, клык.



RYSZARD ULICKI
РЫШАРД УЛИЦКИЙ

Skąd wiesz, że odkryłeś nowy ląd –
 pytał mnie mędrzec.
 Nikt tego nie wie, tak długo – powiedziałem,
 dopóki nie potwierdzą tego inni.
 Czekam, co ty powiesz,
 przecież jesteś mędrцем.
 Skąd mam wiedzieć – odpowiedział,
 przecież to ty jesteś odkrywcą
 i ty wiesz najlepiej.
 Nie przychodziłbyś do mnie,
 gdybyś nie chciał utwierdzić się
 w swojej pewności.
 Gdybym ją miał,
 nie zawracałbym ci głowy – rzekłem.
 Idź dalej – usłyszałem.
 Idź dalej i jeżeli coś ujrzysz,
 przyjdź i opowiedz.
 Ale się pośpiesz.
 Jestem już bardzo stary,
 a i ty niewiele młodszy.

Откуда ты знаешь, что открыл новую землю –
 спрашивал у меня старец.
 Никто этого не знает, до тех пор, – сказал я,
 пока это не подтвердят другие.
 Я жду, что ты скажешь,
 ведь ты же мудрец.
 Откуда мне знать – ответил он,
 ведь это же ты открыватель
 и ты знаешь лучше.
 Ты не пришёл бы ко мне,
 если бы не хотел утвердиться
 в своей уверенности.
 Если бы она у меня была,
 я не морочил бы тебе голову – произнёс я.
 Иди дальше – услышал я.
 Иди дальше и если что-то увидишь,
 приди и расскажи мне.
 Но поспеши.
 Я уже очень стар,
 да и ты не намного младше.
 И я пошёл.

**PAWEL KUBIAK**
ПАВЕЛ КУБЯК

jestem zwierzęciem

splot twoich włosów
spada mi na pysk
jak gwiazdozbiór

moja ty ogromna
między gwiazdami
cię dotykam

tylko pośród gwiazd

już kogut zapiał
wstawaj niewinna

czas odjeżdża

я зверь

сплетение твоих волос
падает мне на морду
словно созвездие

моя ты огромная
меж звёздами
к тебе я прикасаюсь

только среди звёзд

петух уже пропел
вставай невинная

время съезжает

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ ЕВГЕНИЯ КРАСНОЯРОВА

TEMPLA NON GRATA
трагедия существования миров в пяти актах с прологом и эпилогом

АКТ ЧЕТВЁРТЫЙ. ЗЕМЛЯ

СТУДЕНТ
ОРЕСТ ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ, профессор метафизики
ФОРБИЦИО БЕНЕ ПЬЕТРОКАРТА, профессор метохимии
ЖАН-ЖАК Д'АРВИН-ЭПИТЭ, профессор метаэволюции
ТОМАС ТЬЮ, пират
ДЖОН ЭВЕРИ, пират
УИЛЬЯМ КИДД, пират
ДРОВОСЕКИ 1, 2
ПОРТНОЙ
АРМИЯ ПОРТНЫХ
МАНЕКЕНЫ 1, 2
ПЯТЬ МАНЕКЕНОК ИЗ ДЕРЕВНИ
НОВОРОЖДЁННЫЕ МАНЕКЕНЫ
ДЖУНГЛЕВИК МАУГЛИ, Homo silvis fabricatus, паломник
ЛЕСОВИК ТАРЗАН, Homo virgultis fabricatus, паломник
ТУНДРОВИК ЙЕТИ, Homo glasic fabricatus, паломник
СТЕПОВИК ЦИКЛОП, Homo campis fabricatus, паломник
КНЯГИНЯ МАРЕНГО
КНЯГИНЯ ИНДИГО
АСТРОЛОГ, сын Княгини Маренго
ПАЛИАЧ (Круглов)
МИНИСТР (Ванечкин)
ТРОЕ ОСУЖДЁННЫХ
НАРОД НА ПЛОЩАДИ
ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
ЗЕМНЫЕ УЧЁНЫЕ 1, 2

Сцена в форме круга, радиально разделённая стенами на три равные части. В конце каждого действия сцена поворачивается по часовой стрелке, таким образом, зрителю видна только одна из трёх частей сцены. В каждой стене – дверь, таким образом, на сцене постоянно видны две двери – правая и левая. Персонажи появляются через правую дверь, уходят – через левую.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Берег реки. На берегу – Студент, Орест Глянецв-Несусветлый, Форбицио Бене Пьетрокарта, Жан Жак Д'арвин-Эпитэ, Томас Тью, Джон Эвери, Уильям Кидд. Слева – к берегу причален «Амити». Слева, в дальнем углу сцены – маленькая железная клетка, в клетке – маленькие детские качели, на полу клетки сидят двое одетых в лохмотья манекенов. Справа, в стороне – лес и возвышающиеся над лесом огромные строительные краны, они с жутким скрипом выдёргивают деревья с корнями. Возле кранов стоят два человека в смокингах дровосеков. Все предметы и персонажи на сцене – белого, серого и чёрного цветов.

СТУДЕНТ. Эй, смотрите! (*показывает рукой в направлении леса*) Что здесь происходит? Что-то странное для рая!



ЭВЕРИ. Честно говоря, картина похуже, чем у нас, в Аду.
 ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА (*удивлённо*). Теперь так высаживают деревья?
 ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Нет. Они делают что-то совершенно противоположное.
 СТУДЕНТ. Они – вырубают лес.
 ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Зачем?
 СТУДЕНТ. Сейчас спросим.

Студент и Профессора подходят к Дровосекам, стоящим у подножия крана. Пираты сидят на берегу, около корабля.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ (*Дровосекам*). Здравствуйте. Что вы делаете?

Дровосеки поворачиваются к Профессорам, краны останавливаются, скрип прекращается.

ДРОВОСЕК 1. Вот чёрт! Одно из двух. Или вы – ревизоры, и значит, шли бы вы отсюда, или, что, в принципе, то же самое, вы только что свалились с неба, и тогда летели бы вы... Лес № 24 мы уничтожили ещё позавчера! Теперь пришло время двадцать пятого леса.

СТУДЕНТ. Если бы мы свалились с неба! Но мы не с неба... Неба?..

ДРОВОСЕК 1. Откуда же?

СТУДЕНТ. Издалека. Поэтому расскажите нам подробнее. Любопытно нам.

ДРОВОСЕК 2. Нам необходимо уничтожить леса как можно скорее.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Но зачем?

ДРОВОСЕК 2. Во-первых, из деревьев делают бумагу, а из бумаги – книги. Книги – зло. Писатели – сумасшедшие. Мы очищаем мир от сумасшедших. Во-вторых, в лесах прячутся манекены. Это здесь-то, в знаменитых Лесах Культуры и Отдыха! Демонтируя леса, мы находим манекенов и отправляем их в резервации. Со всеми втекающими сюда причинами.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Кто такие манекены?

ДРОВОСЕК 1 (*без интонаций и эмоций, как робот*). Манекены – мутанты, появившиеся в результате эволюции человеческого ментала.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. А вот это уже интересно! Как вы считаете: у кого – у людей или манекенов – более активные и прочные связи между менталами отдельных существ и космическим менталом?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Чем опасны эти манекены?

ДРОВОСЕК 2. Прежде всего тем, что они – непредсказуемы. От них можно ожидать чего угодно. Мутантов становится слишком много. Их появление и методы размножения противоестественны.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. А именно?

ДРОВОСЕК 2 (*без интонаций и эмоций, как робот*). Несмотря на то, что манекены имеют человеческое сознание, они являются, по большому счёту, всего лишь ожившими пластиковыми куклами с магазинных витрин. У них внутри нет никаких внутренностей, есть только внешности, но они едят, пьют, дышат, обладают набором ощущений, эмоций и рефлексов, присущих людям. Они размножаются сознанием! Для этого манекен и манекенка должны пройти мимо витрины магазина и соединить свои сознания в одном из находящихся там манекенов. Тот оживает и становится их ребёнком! Сразу с абсолютно развитым, взрослым сознанием! Это ужасно! Такое ощущение, что мировая душа посчитала человеческие, потом и хлебом заработанные мозги, недостаточно вместительным жилищем для своего ментала! Это же плевок внутрь себя, никак не иначе!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Потрясающе!.. Сразу с абсолютно развитым, взрослым сознанием!

ДРОВОСЕК 2. Вы что, никогда не слышали о манекенах?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Плевок внутрь себя... Нет!

ДРОВОСЕК 2. Ужас!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Мне хотелось бы увидеть кого-нибудь из представителей этой расы.

ДРОВОСЕК 1. Серьёзно? У нас тут есть двое. Попались. Убежать хотели.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Боятся резервации?

ДРОВОСЕК 1. Нет, не резервации, а людей. Им-то что в резервации? Знаете, что они там делают?

СТУДЕНТ. Что?

ДРОВОСЕК 1. Они за демократию. Они за разноцветные одежды! Изверги! Мутанты!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Мутанты, говорите?

ДРОВОСЕК 1. Они против Правителей!

СТУДЕНТ. Каких правителей? Бога, что ли?

ДРОВОСЕК 1. Они отрицают Бога как сущность. Они за ноосферу, за параллельность пространств.

СТУДЕНТ. Как же это? Как же они в раю могут отрицать Бога?

ДРОВОСЕК 2. В раю? Вы что, пьяные? Им в рай не попасть. Рай – для людей.

ПРОФ. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. А мы где?

ДРОВОСЕК 1. Точно пьяные! На Земле!

ПИРАТЫ (*поворачиваются к Профессорам и кричат хором*). На Земле!



Профессор Пьетрокарта разводит руками.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*вскрикивает*). Не может быть! (*опустошённо*) Настройки были точными...

ЭВЕРИ (*встаёт, идёт к Профессорам*). Сейчас проверим!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Мы здесь ни при чём.

ТЬЮ (*идёт за Эвери*). Разберёмся!

СТУДЕНТ (*Пиратам*). Тихо! Без драк. Кто-то нажал не на ту кнопку. Кто?

КИДД. Ну, я. Я же не знал! Зеркало себе взял одно. А то бриться неудобно.

ТЬЮ (*Киду*). Убить тебя мало!

КИДД. Да ладно, вешали уже.

ЭВЕРИ. Не помогло.

СТУДЕНТ. Убираемся отсюда, ребята! Нам нужно в рай!

ЭВЕРИ. Верно! (*возвращается к кораблю, Тью идёт за ним*)

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Невозможно пока! Аккумуляторы ПИ-дубликатора должны зарядиться.

СТУДЕНТ. Что же делать?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Подождём. А пока поглядим на Землю. С тех пор, как я был здесь в последний раз, всё кардинально изменилось.

СТУДЕНТ. Это, честно говоря, не та Земля, с которой я попал в Ад. Это что-то невообразимое. У нас леса не вырубали так явственно. У нас их пытались сохранять.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Земля, земля... Через лег триста. (*Смотрит на табло*) Точно.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ (*Дровосекам*). Так что? Вы нам покажете этих злопорядочных организмов?

ДРОВОСЕК 1. Да, пройдемте!

Дровосеки подходят к клетке с манекенами. Студент и Профессора идут за Дровосеками. Пираты с недоверием поглядывают на манекенов.

ДРОВОСЕК 2 (*Профессорам*). Видите, что делают?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. И что же?

ДРОВОСЕК 2. Сидят! В отрепьях!!! В лохмотьях разноцветных и спектрально-пёстрых!!! Против моды выступают! Против моды!!! Говорят, мы их на подиумы шляться выгоняем! Сговорились, выходят на подиумы в каких-то драных цветастых обносках, а модельеры потом в глаза Правителям смотреть не могут!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ (*Дровосеку 2*). Они умеют изъясняться?

ДРОВОСЕК 1. Похлеще профессоров!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Ну, это мы ещё посмотрим! (*Манекенам*) Разрешите предста...

МАНЕКЕН 1 (*перебивая*). Разрешаю... Только я всё равно уже знаю, кто вы!

Дровосеки невзначай, без интереса отходят к лесу, краны снова начинают движение.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Неужели? И кто же?

МАНЕКЕН 2. Профессор.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Невероятно!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Это я и сам знаю!

МАНЕКЕН 1. Вам ли этого не знать! А знаете вы, к примеру, где в настоящий момент находится ваш двойник?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Человеческому разуму не дано это знать.

МАНЕКЕН 2. Но вы же профессор метафизики! Вот я знаю, где находится ваш двойник. На искусственном алмазном спутнике планеты Седна! Сейчас там ночь, но он — лунатик и стоит с чашкой ледокаин-нового сока на крыше своего особняка. Видите? Человеческие мозги к этому не причастны!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Почему вы не любите людей?

МАНЕКЕН 1. Только лишь потому, что они не любят нас.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. А почему они не любят вас?

МАНЕКЕН 1. Потому что мы — высшая раса. Ещё триста лет назад они все (*показывает рукой на Дровосеков*) ждали появления нового вида человека, верили. Говорили, что физическое тело этих людей будет тоньше и любой ветерок будет продвигать его насквозь. И вот, когда мы появились, люди опешили.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Но ваши физические тела заставляют желать лучшего...

МАНЕКЕН 2. Мы не сможем полностью отделиться от физической оболочки, пока существует homo sapiens. Пока существуют портные.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Чем вам портные не угодили?

МАНЕКЕН 1. Иголками! Скажите, кто придумал иголки? Чего ради? О, садюги, о живодёры неуёмные!!!

МАНЕКЕН 2. О, как же угодили в нас иголками!

СТУДЕНТ. Так угодили или не угодили?



МАНЕКЕН 1. Ещё как угодили, и постоянно угождают. То в голову угодят, а то и в грудь!

Манекен 1 хватается за голову, качает ею.

СТУДЕНТ. Что, что здесь происходит?

МАНЕКЕН 2. А вы поезжайте за нами, посмотрите сами! Нас сейчас как раз к портным на растерзание везти будут.

МАНЕКЕН 1. Нет для нас изощрённее казни, чем укол иголкой.

МАНЕКЕН 2. Мы умираем от укола иголкой. От разгерметизации. В страшных мучениях, в аллергических судорогах. . .

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Хм. . .

МАНЕКЕН 1. И портные, пронюхав это, стали точить свои иголки и втыкать в нас специально.

СТУДЕНТ. Но высшая раса в любом случае победит?

МАНЕКЕН 1. Разумеется.

СТУДЕНТ. Понятно. *(Профессорам и Пиратам)* Это занятно. Но, наверное, нам пора идти.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Да. *(Манекенам)* Увидимся!

Студент, Профессора и Пираты подходят к Дровосекам.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Вы не подвезёте нас до города?

ДРОВОСЕК 1. На кранах? Но это – не общественный транспорт!.. Вот что! Идите в ту сторону, где вырублен лес, и вы обязательно выйдете к городу. Здесь минут десять пешком. По дороге встретите фабрику портных. Туда мы свозим всех манекенов. Обойдите её и продолжайте путь.

СТУДЕНТ. Благодарствую.

ЭВЕРИ *(Студенту)*. Мы подождём вас здесь. . .

СТУДЕНТ *(Эвери)*. Как знаете. . .

Студент и Профессора идут в сторону леса, Пираты остаются на берегу. Сцена поворачивается по часовой стрелке.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

На сцене слева – деревянный забор с приоткрытыми воротами, далее, справа – прозрачная стена фабрики, в дальнем правом углу сцены, за стеной – клетка с манекенами. За воротами стоит Портной. Студент подходит к ним и тихо стучится. Портной открывает ворота.

ПОРТНОЙ *(Студенту)*. Чего изволите?

СТУДЕНТ. С моделями поговорить.

ПОРТНОЙ. С какими моделями? Моделями человека?

СТУДЕНТ. С манекенами.

ПОРТНОЙ. Вы хотите сказать, что манекен – это модель человека? Что Бог создал человека по подобию манекена? Что Бог – манекен?

СТУДЕНТ. Увы, нет.

ПОРТНОЙ. Зачем вам манекены? В магазин поставить? Так лучше новые купите!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Мы учёные из дальнего заморья. Приехали изучать вашу проблему и разрабатывать новые методы борьбы со злом.

ПОРТНОЙ. Вы – люди, да? Вы добрые люди, правда? Ну, тогда проходите.

Студент и Профессора заходят на территорию фабрики. Портной останавливается.

ПОРТНОЙ. Я расскажу вам немного о нашей фабрике. На втором этаже работает взвод модельеров. Они следят за тем, чтобы пропорции человеческих тел с веками менялись по их усмотрению. На первом этаже работают подмастерья модельеров – швеи, два полка швей. Они никогда не должны сочетать в одной вещи все три цвета – белый, серый и чёрный. Никогда! Даже если модельеры ошибутся и не заметят своей ошибки.

СТУДЕНТ. А. . . другие цвета?

ПОРТНОЙ. Вы что, в каталажку захотели? Или вы – переодетый манекен? Дайте-ка, я для проверки уколою вас иголкой. *(Не дожидаясь ответа, вонзает в одежду Студента иголку, тот вскрикивает и отпрыгивает)* У нас разрешены вышеупомянутые три цвета. Других цветов не должно существовать в помине – они толкают людей на грешный путь.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Да вы что?!

ПОРТНОЙ. Красный – на убийство, жёлтый – на измену, зелёный – на свободомыслие. Мы искореняем цвета.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Как?



ПОРТНОЙ. Искореняем! Перешиваем! Перекрашиваем!

СТУДЕНТ. Но ведь мир был цветным! Я же помню!

ПОРТНОЙ (*настойчиво*). Увещаю вас, оставьте ваши опасные сказки при себе!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. И какого же цвета у вас теперь розы?

ПОРТНОЙ. Белые. Все цветы всегда были – белые. Животные – белые и чёрные.

СТУДЕНТ. А небо, а море?

ПОРТНОЙ. Серые. Все стихи – серого цвета. И никак иначе.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. А огонь?

ПОРТНОЙ. Огонь? Его теперь нет. Есть электричество. Оно бесцветно.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. А кровь? Какого цвета кровь?

ПОРТНОЙ. Нам нельзя её рассматривать. При виде крови мы теряем сознание. На первом подземном этаже, куда мы сейчас и направляемся, работают портные. У нас здесь целая их армия. Да, армия портных! Вооружённая до зубов. Мы убиваем мутировавших манекенов...

Портной заходит за прозрачную стену – в здание и движется к правому углу сцены, где стоит клетка с манекенами. Студент и Профессора идут за ним.

СТУДЕНТ. Как?

ПОРТНОЙ. Иголками. Достаточно один раз уколоть манекена иголкой, и он – умирает. Да, умирает. Всё просто! Ну, а на втором подземном этаже расположено кладбище манекенов.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Зачем вы храните тела манекенов?

ПОРТНОЙ. Всё это забав ради. У богачей вошло в моду держать у себя дома мёртвого манекена. В качестве вешалки.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Феноменально!

ПОРТНОЙ. Но до тех пор, пока манекены дождутся своей очереди, они должны заплатить за свою казнь, отработать, так сказать, свой приговор. Поэтому нашу фабрику ещё можно и заводом назвать.

СТУДЕНТ. И что производят на вашем заводе?

ПОРТНОЙ. Манекены изготавливают лунозащитные очки, эмпирические лампочки, хлопушки-спектроглушители и пластилиновые мобильные туманомарева. (*Пауза*) Мы пришли. (*Кивает головой на манекенов*) Вот они, отбросы божественного замысла и аутсайдеры божественного промысла! Эти – как раз следующие в очереди на казнь.

Студент и Профессора подходят к клетке с двумя манекенами, это – те самые манекены, которые были на берегу реки.

МАНЕКЕН 1. А мы уже здесь.

МАНЕКЕН 2. Торопятся...

СТУДЕНТ. Торопятся – куда?

МАНЕКЕН 2. Истребить нас. Второй тур инквизиции.

МАНЕКЕН 1 (*истерично и резко*). О, я знал, я знал, что со мной случится это! Моя голова была создана для иголки! Она всё ждала и ждала иголки, и вот, через несколько минут...

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Манекенам*). Вы не должны волноваться! Кому как не вам знать, что ваши ментальные тела не сгниют и продолжат своё прогрессивное существование в безвоздушном пространстве, избавившись от опостылевшего тела...

МАНЕКЕН 1. Послушайте! Не знаю, как вам, а нам наши тела ещё не опостытели! Кроме того, в отличие от вас, нам наши тела не мешают, а помогают развиваться духовно. Сходите, сходите в нашу деревню! Поспрашивайте стариков!.. Там в кинотеатре фильм новый скоро будет транслироваться.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Фильм?

МАНЕКЕН 1. Фильм! Кино, понимаете? Киноплёнка. Синематограф. Современнейшее из искусств... Десятая музыка... Фильм называется «Господь Бог II». Сходите, посмотрите непременно. Всё сами поймёте!

СТУДЕНТ. Это идея!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. И где же находится ваша деревня?

МАНЕКЕН 2. Идите на восток по магистральной. Не ошибётесь.

МАНЕКЕН 1. И скажите братьям моим, чтобы они строили вокруг деревни крепостную стену. Люди готовят спецоперацию под кодовым названием «Министрельбище»! Они желают полного разгрома нашего последнего убежища посредством самонаводящихся почвополюющих, водолетающих и воздухоплавающих иголок на батарейках. Спешите! Мы чувствуем, что на вас можно надеяться! Вы – наша надежда на спасение!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. А есть ли надежда на спасение – у человечества?

МАНЕКЕН 2. Нет.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Почему? А красота? Что делает красота? Что она делает?

МАНЕКЕН 2. Зачем вам спасение? Что бы вы с ним сделали?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Ну ведь есть даже такая поговорка. Как же там...



МАНЕКЕН 1 (*подавленно*). «Красота спасёт мир»? Спасёт? Как же! (*Пауза*) Такой поговорки уже давно нет. И вообще, что такое красота? Качество, существующее для того, чтобы делать другим больно. В войне за красоту люди уничтожили друг друга, стали монстрами, уничтожили и мир, и его красоту! Красота уничтожила мир! А вы говорите!..

СТУДЕНТ. Но отсутствие красоты тоже делает людей несчастными.

МАНЕКЕН 1. Потому что у вас выработалась жёсткая наркотическая потребность в ней. Между тем, это отнюдь не обязательное свойство даже для совершенства предмета!

СТУДЕНТ. Вы говорили о фильме. О чем он? О Боге?

МАНЕКЕН 2. О турбулентных течениях в водоёме причинно-следственной связи как взаимодополняющих вариациях эволюции Мироздания.

СТУДЕНТ (*насмешливо*). Да?

МАНЕКЕН 1 (*уверенно*). Да. Спешите!

Входит Портной.

ПОРТНОЙ (*Манекенам*). Собирайтесь! Вас приговорили к смертной казни!

МАНЕКЕН 1. Прощай, Манекен!

МАНЕКЕН 2. Прощай и ты, Манекен!

На сцену врываются Пираты.

ТЬЮ (*кричит Эвери и Кидду*). Погодите, давайте их освободим! Пираты мы или не пираты?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Тью, оборачиваясь*). Пираты, пираты... Но вмешиваться чужеземцу в местные обычаи – верная дорога к смерти.

ЭВЕРИ. Да мёртвые мы уже!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Тем более, не нам с ними якшаться! (*Усмехается*) Пойдёмте лучше отсюда. А то схватят, повяжут, засадят в темницу. Я темниц, знаете ли, со времён Коперника не выношу.

КИДД. Чем они нас повоюют? Иголками?

ПОРТНОЙ (*кричит, в сторону зрительного зала*). Армия, к бою! Организовывается побег манекенов!

Отовсюду выбегают портные, вооружённые огромными иглами, и пытаются использовать портняжные метры в качестве лассо.

КИДД. Беру свои слова обратно! Бежим!

Профессора хватают упирающихся Тью, Эвери и Студента, тащат их к выходу – к левой двери. Портные заламывают руки Манекенам. Сцена поворачивается.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

На сцене – деревня манекенов. Несколько разноцветных шалашей и двухэтажное зеркальное здание Кинотеатра. Возле здания стоят несколько манекенов в пёстрых одеждах и, переминаясь с ноги на ногу, напевают: «Харе диафильм Харе кинематограф».

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Пиратам*). Уф! А вы говорили – спасти.

ЭВЕРИ (*Профессору О. Глянцеvu-Несусветлому*). Вы трус, профессор! (*Кидду*) А с тобой, Кидд, я ещё разберусь.

КИДД. Куда уж нам!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Интересно, сколько их ещё осталось в живых и сколько уже уничтожено?

Студент, Профессора подходят к Кинотеатру. Пираты ходят по сцене, между шалашей, периодически останавливаясь и озираясь.

СТУДЕНТ (*Манекенкам*). К чему Вы танцуете и поёте?

МАНЕКЕНКА 1 (*Студенту*). Сегодня премьера нового диафильма.

СТУДЕНТ. Вы увлекаетесь диафильмами?

МАНЕКЕНКА 2. Нет, но это – анонсы фильмов, содержащие кадры основных моментов будущих лент, выполненные в объёме. Поэтому они так ценны.

СТУДЕНТ. От ваших друзей мы знаем о готовящейся премьере фильма «Господь Бог II». Но когда же премьера самого фильма?

МАНЕКЕНКА 1. Не в этот раз. Завтра. Сегодня траур. Сегодня в городе людей, на столичной площади, казнят тех, кто отказался истреблять манекенов. Кто выбрал мир цветов и красок. Кто любил цветной кинематограф. В их честь мы сегодня зажжём сотни костров. Настоящих. Оранжевых. С – искрами!



Манекенки 3, 4, 5 отходят к левому углу сцены, зажигая спички и бросая их на пол.

СТУДЕНТ (*Пиратам*). Казнь? Публичная?

МАНЕКЕНКА 2 (*Студенту*). Естественно!

СТУДЕНТ. Не может быть!.. Это чьи-то бредни, чья-то чёрно-белая горячка! (*Профессорам*) Вы не думайте, земля не такая! Не такая!

ЭВЕРИ (*Студенту*). Нормальная. Обычная. По крайней мере, при нас всё было именно так. (*Тью и Кидду*) Айда на площадь!

МАНЕКЕНКА 2. Но мы не остаёмся в долгу! На место каждого убитого и каждого казнённого встанет по десять манекенов. Самых невообразимых цветов! Они казнят. Мы создаём. И в итоге мы победим!

СТУДЕНТ. Как же вы создаёте новых манекенов? Нет больше, как я понимаю, ни магазинов модной одежды, ни витрин. И фабрики пластмассы уничтожены.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА (*задумчиво*). Может ли манекен родить манекена?

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Вегетационно?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Медитационно?

МАНЕКЕНКА 1. Запросто! Хотите посмотреть?

СТУДЕНТ. Конечно.

Манекенка 1 указывает рукой в правый угол сцены, где стоят два автоклава. Из автоклавов выходят Новорождённые Манекены без ртов. Их встречают Манекенки 3, 4, 5, рисуют им разные – алые, изумрудные, лазурные – губы. Свет гаснет. Сцена поворачивается.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

На сцене – выжженная степь. Чертополох, пережати-поле. Студент, Профессора и Пираты идут по степи. Навстречу им идут четверо морщинистых людей в лохмотьях – это Паломники.

СТУДЕНТ. Земля начинает вращаться быстрее!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. И всё же, я думаю, у нас есть немного времени пообщаться с местными аборигенами.

СТУДЕНТ. И что они, венцы деградации, нового расскажут?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Как они дошли до такого!

ЭВЕРИ. И откуда шли?

Паломники подходят к Студенту. Пираты медленно и сбивчиво ходят по круту вокруг Паломников.

СТУДЕНТ (*Паломникам*). Здравствуйтесь!

ТУНДРОВИК ЙЕТИ. Здравия желаю! Меня зовут Йети Тундровикович, его – Маугли Джунглевинович, а его – Тарзан Лесовикович (*Маугли и Тарзан галантно кланяются*). И ещё один наш паломник – Циклоп Степовикович. Мы – пилигримы тупиков, рабы памяти, крепостные иллюзий. А кто вы такие?

СТУДЕНТ. Мы – путешественники из глубинки.

ТУНДРОВИК ЙЕТИ. Мы сами – из глубинки, и вас там не встречали. Кто вы?

СТУДЕНТ. Мы из другой глубинки.

ТУНДРОВИК ЙЕТИ. Что, очень издалека?

СТУДЕНТ. Изглубока.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Расскажите нам, что у вас тут происходит.

ТУНДРОВИК ЙЕТИ. Вы не выпьете с нами?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Прошу простить нас, но мы не хотели бы. . .

ТУНДРОВИК ЙЕТИ. Понимаю. Для вас это – алкоголь. А мы давно мутировали. Для нас теперь он – вместо воды. (*Трясёт флягой*) Без него мы умираем. От жажды. Нам просто необходимо, для поддержания нормальной температуры и давления пить хотя бы по три литра в день. Мы и щи на этом вот готовим!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ (*достаёт из кармана монокль и внимательно изучает человека через него*). Надо же, какой бесценный генетический материал! Невероятно!

ДЖУНГЛЕВИК МАУГЛИ. Ничего удивительного!..

ТУНДРОВИК ЙЕТИ. А ещё у нас участились случаи самовозгорания людей.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Чем это обусловлено?

ДЖУНГЛЕВИК МАУГЛИ. Не имеем понятия. Замечено только, что подобные случаи происходят тем чаще, чем ближе человек находится к этой злополучной реке.

ЛЕСОВИК ТАРЗАН. Кроме того, всё чаще сами собой загораются облака. И – вода в водопроводных кранах!

ТУНДРОВИК ЙЕТИ. Но самое страшное заключается в том, что люди теперь могут мгновенно превращаться в воду!

ДЖУНГЛЕВИК МАУГЛИ. Если раньше было такое понятие, как зыбучие пески, то теперь появились зыбучие камни и зыбучие люди. . .



СТУДЕНТ. То есть?

ЛЕСОВИК ТАРЗАН. Один человек, прикоснувшись к другому, может поглотить его кожей.

ДЖУНГЛЕВИК МАУГЛИ. А если вам попадётся человек с наждачной кожей, что тоже часто встречается, падать в него — слишком больно. Люди умирают от болевого шока ещё до того, как наждачник впитает его полностью. А потом так и продолжает засасывать его — мёртвого.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Эволюция, итить!

ТУНДРОВИК ЙЕТИ. Вместо волос на голове стали расти водоросли, кактусы и шпалы! Когда шпалы — это сложнее всего. Стали увольняться парикмахеры. . . Вы не видели тут одного кулёк? Это первый кулёк, которого я видел улыбающимся. . . Мы разговорились с ним о планирующемся митинге в защиту неодошвлённого интеллекта. И не договорили. Улизнул куда-то. . .

СТУДЕНТ *(соучастливо)*. Увы, увы. . .

ДЖУНГЛЕВИК МАУГЛИ. А представляете, каково получать сотрясение мозга от солнечных ударов?..

ЛЕСОВИК ТАРЗАН. Фотоаппараты с ума сходят от избытка впечатлений!

ТУНДРОВИК ЙЕТИ *(показывает рукой за кулисы)*. Вот этот уже страдает от младенческого маразма!..

ЛЕСОВИК ТАРЗАН. На всех мобильных телефонах в качестве мелодии будильника теперь автоматически запрограммирован похоронный марш! И изменить это нельзя!

ДЖУНГЛЕВИК МАУГЛИ. А вчера? Один человек в трамвае чихнул — так трамвай сразу и поскользнулся!

ЛЕСОВИК ТАРЗАН. Помню, на стене этого трамвая написано было «Оплата при входе на улицу»!..

ТУНДРОВИК ЙЕТИ. Мда. . .

ЛЕСОВИК ТАРЗАН. Там ещё кондукторша странная какая-то была! Вместо того, чтобы разгуливать по салону, стояла около водителя и кричала: «А ты, водила, заплатил за проезд? Заплатил? Оплачивай. Чем ты отличаешься от остальных пассажиров, а? Заплатил ты за проезд или да? Кого спрашиваю? Тебя, вагоновожатый ты наш! Я тебе спрашиваю, водила — ты заплатил за проезд?»

ТУНДРОВИК ЙЕТИ. Мда. . .

ЛЕСОВИК ТАРЗАН. Потом я понял, что оказался в сумасшедшем доме. А я ещё думал, что я идиот! Оказалось, нет. Помню, как один кричал «Женщина с пьяным ребёнком! Пропустите меня! Ну пропустите же меня, женщина!»

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Всё познаётся в сравнении.

ДЖУНГЛЕВИК МАУГЛИ. Вы-то откуда это знаете?

СТУДЕНТ. Если мне не изменяет память. . .

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. И память вам не изменяет, хоть рода женского она!..

СТЕПОВИК ЦИКЛОП. А у меня вот что есть против неё, памяти этой самой! Вот! *(Достаёт из кармана две упаковки таблеток)* Вот эти таблетки — для того, чтобы в мой мозг записывалась кратковременная память, а вот эти — чтоб долговременная записывалась. Я принимаю их каждые полчаса. Каждые полчаса я забываю, что делал, где был, но затем я выпиваю одну таблетку — в мозг записывается всё, что произошло за последние полчаса, выпью вторую — всё запишется в долговременную память.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ *(Степовику Циклопу)*. Вы — лунатик?

СТЕПОВИК ЦИКЛОП. Да, причём я — совершенная сомнамбула! Я, как истинный литурги. . . летаргический лунатик, постоянно нахожусь в состоянии сна! Это произошло оттого, что когда-то моё сознание сошло с ума, и подсознанию ничего не оставалось делать как заменить сознание. . .

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Не все болезни смертельны, но все — смертны. . . Одни умирают раньше, чем человек, другие — с человеком вместе. . . Хочу понять, что — в вашем случае.

ЛЕСОВИК ТАРЗАН. В этом трамвае ещё была невеста — в маске. Что за мода пошла? Невеста — и в маске. По-моему, достаточно уже того, что невесты в трамваях разъезжают повсюду, проходу нет, спасения нет от них никакого, так ещё и в масках! Да что там, в трамваях?! В маршрутках колесят. Как залезут в маршрутку пять невест: даже водителю деться некуда!

ДЖУНГЛЕВИК МАУГЛИ. Всё абсолютно очевидно! Под масками — генетические уродки!

ЛЕСОВИК ТАРЗАН. Женщины — воплощение зла на Земле! Покажите мне хотя бы одну нормальную женщину! Ха! Нет таких! Женская логика настолько прагматична, что рано или поздно становится бесчеловечной.

СТЕПОВИК ЦИКЛОП. Никто не способен выдержать современных женщин!

ТУНДРОВИК ЙЕТИ. Правильно! Перекуём всех женщин на орала и мечи!

Внезапно Джунглевик Маугли и Степовик Циклоп превращаются в огненные массы. Студент, Профессора и Пираты отпрыгивают и расходятся быстрым шагом.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. *(Профессорам)*. Нужно сматываться отсюда скорее!

СТУДЕНТ *(Пиратам)*. Делаем ноги!

ЗВЕРИ *(Пиратам)*. Полундра! Бежим на корабль!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Куда! Сначала мы пойдём в город — пока на небе серым-серо, мы не сможем отладить навигацию!

Студент, Профессора и Пираты убегают за кулисы.



ТУНДРОВИК ЙЕТИ (*кричит вдогонку*). Не бойтесь! Это не заразно!

Тундровик Йети и Лесовик Тарзан превращаются в воду и тушат огонь. Огонь и вода взаимоуничтожаются. Сцена поворачивается.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

На сцене – холодное ноябрьское или декабрьское утро. Справа – Резиденция Княгини – собор. На втором этаже собора – балкон с балюстрадой, на котором стоят Княгиня Индиго и Княгиня Маренго. Слева, внизу, за балконом, на площади – Народ. Левая часть сцены не освещена, поэтому людей не видно, но слышны их голоса.

НАРОД. Княгини! Княгини!

Постепенно освещаются виселица на площади, украшенная новогодними игрушками, к ней приставлена ракетная пусковая установка. Народ на площади, под балконом. Студент, Профессора и Пираты – вместе с Народом на площади. На балкон выходят Палач и Министр в балахонах с накиннутыми на головы капюшонами, Астролог.

МИНИСТР. Все в сборе! На площади яблоку негде упасть! (*Княгиням*) Ах, Княгини, я вами восхищаюсь! Как вас любят подданные, как... (*Палачу*) Любезный палач, я думаю, что можно начинать.

ПАЛАЧ. Начнём, не беспокойся!

АСТРОЛОГ. А я предложу народу помиловать приговорённых.

КНЯГИНЯ ИНДИГО (*Астрологу, грозно*). Не смей!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО (*раздражённо*). Не вздумай!

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Правительницам даже не перечь!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Народной биомассе – всё равно!

ПАЛАЧ (*Министру*). Может, запереть?

МИНИСТР (*Палачу*). Ну что же вы, это же родная кровь правительниц наших! Просто мальчик разволновался. Такое событие!

АСТРОЛОГ. А я попрошу!

Палач отгесняет Астролога за кулисы, выходит и сам.

ПАЛАЧ (*из-за кулис*). Начинаем!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО (*Народу*). Граждане нашего объединённого княжества! Мы, ваши пастыри в этом мире искушений, призвали вас сегодня на площадь, чтобы услышать, любите ли вы Господа? Хотите ли вы попасть в его царство? Хотите ли вы получить пропуск в рай?

НАРОД (*истерично*). Любим! Впустите нас! Впустите к отцу! Мы к Богу хотим!

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Но есть среди вас такие, которые отступили от истинного пути. Они чернят святое имя, они плюют на наши реликвии! Они порочат нас тем, что находятся рядом с нами!

НАРОД. Распятъ, казнить, колесовать!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО (*Палачу*). Палач, выведите приговорённых!

Палач за верёвку выводит троицу Осуждённых на площадь.

ПАЛАЧ (*Осуждённым*). Вышли на площадь, на площадь, сукины дети! Не дёргаться! (*Передаёт верёвки в руки одному из трёх Людей в Чёрном, одетых в чёрную военную форму, уходит за кулисы и снова появляется на балконе*)

МИНИСТР (*Осуждённым*). Обречённые на вечные муки ада, встаньте на колени пред правительницами!

АСТРОЛОГ (*вновь появляется на балконе, Осуждённым*). Не вставайте, друзья!

ОСУЖДЁННЫЕ (*стоящим на балконе*). Плевать мы хотели на вас!

МИНИСТР. Милейшие заключённые, стойте смиренно, я зачитаю вам приговор!

ОСУЖДЁННЫЕ. Это ложь! Мы не собираемся вас слушать!

МИНИСТР. Но так велит закон!

ОСУЖДЁННЫЕ. Это закон узурпаторов и баб!

КНЯГИНЯ ИНДИГО (*возмущённо взвизгивая*). Ах, они назвали нас бабами!

МИНИСТР. Вы обвиняетесь в преступлениях против Великого Матриархата вся Земли!

ОСУЖДЁННЫЕ. Позор бабской гегемонии! Позор!!!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО (*негодующе*). Какое богохульство!

МИНИСТР. Вы обвиняетесь в пособничестве преступным группировкам манекенов!

ОСУЖДЁННЫЕ. Они не преступники! Они – новое будущее планеты! Седьмая раса! Мы не пособничали им, мы учились у них добру и разуму!



МИНИСТР. Вы приговариваетесь к повешению!

ОСУЖДЁННЫЕ. Мы отрекаемся от вашего закона беззакония! Поэтому просим считать нашу казнь не казнью, а убийством! (*оглядываясь на сторонам*) И ты, Народ, теперь убийца!

НАРОД (*отшатывается от Осуждённых*). Не надо, мы не хотим убивать! Бог запретил убивать!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Мы караем еретиков!

ГОЛОС ИЗ НАРОДА. Ну если, еретиков, то можно.

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Палач! Приступайте!

ЭВЕРИ (*Палачу*). Погодите! А нельзя ли казнить их как-нибудь по-другому? С детства, знаете ли, не люблю верёвки, мыло...

МИНИСТР (*Эвери*). А вы кто такой? (*Палачу*) Кто эти никчёмные бродяги?

ПАЛАЧ. Схватить! Казнить! (*Министру*) Министр, продолжайте без меня.

Палач убегает. На площади – Студента, Профессоров и Пиратов связывают Люди в Чёрном и через кулисы тащат на балкон. На балкон их выводят одетыми в полосатые серые рясы с капюшонами, их лица не видно. Княгиня Индиго в чёрной порфире стоит в глубине балкона и читает свиток. Княгиня Маренго стоит, сложив руки.

СТУДЕНТ (*Профессорам и Пиратам*). Это главные. (*Княгине Индиго*) Эй, сударыня! Что у вас здесь за бедлам происходит? Прямо как на богомолье. Средние века! (*Княгине Маренго*) Что это за барокко вы на стенах дома развели? К чему новогодние виселицы? Вообще, что ж вам не спится?

КНЯГИНЯ ИНДИГО (*Студенту*). Вот уже более ста лет назад церковь стала неразрывна с государством. Объединённой Еврафрикой правит церковь. И такого, того, что происходит в мире сейчас, ещё не было. Мне удивительно, что вы не знаете об этом. Кто вы и откуда?

СТУДЕНТ. Из прошлого!

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Невозможно! Прошлое запрещено!

СТУДЕНТ. Но я-то существую!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО (*Княгине Индиго, шёпотом*). Может быть, это посланник? От Бога? Мне кажется, у Бога изменились планы относительно этого мира.

КНЯГИНЯ ИНДИГО (*Княгине Маренго, шёпотом*). Странные у Него всё-таки повадки! Подколотные! Ну, скажи, неужели я не права? Неужели нельзя вот прямо прийти к нам и сообщить то, что ему нужно. Приходит какое-то неопознанное прямоходящее, ругается, делает вид, что не знает, что у нас происходит.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Профессорам*). Эффектные женщины!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ (*Профессору О. Глянцеву-Несусветлому*). Стыдитесь, коллега!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО (*Студенту, Профессорам и Пиратам*). Как вас зовут?

ЭВЕРИ (*показывая на каждого рукой*). Орест Глянцев-Несусветлый, Форбицию Бене Пьетрокарта, Жан-Жак Д'арвин-Эпитэ!.. Эвери, Тью, Кидд! (*указывает на Студента*) Этого зовут...

КНЯГИНЯ МАРЕНГО (*прерывая Эвери*). Нет, увольте! Опять эти жуткие имена, которые не выговаривать! Как у манекенов.

КНЯГИНЯ ИНДИГО (*Министру*). Связать их!

На балконе появляется Палач.

ПАЛАЧ (*Министру*). И допросить! Они не посланники Бога.

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Почему?

ПАЛАЧ. Ведь в раю – всё чудесно, прекрасно, идеально! Разве они прекрасны? Страшилища! Чудовища! Эвери, Кидд! Это не имена! Это как у собак клички. И выглядят они – на свои имена! Чёрт знает что происходит в объединённой Еврафрике! Манекены витрины одолевают, бродяги зубы заговаривают! И откуда они только берутся? И этот отвратительный цвет их флага – сиреневый! Видя его, люди, бросаются с крыши!

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Неужели причина в цвете?

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Если на Земле, без видимых на то причин, начали происходить самоубийства, то на это есть тайная, но веская причина...

КНЯГИНЯ ИНДИГО. А может, просто случайное нарушение баланса миров?

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Не знаю, не знаю...

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Ведь Мироздание – это конструктор. Выживает сильнейший. Так что суицидальное общество – лучший вариант общества для нормального течения естественного отбора. Может быть, моральное разрешение суицида – единственный способ спасти Землю от перенаселения.

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Но мы могли бы, например, расселять людей в небесных обсерваториях...

КНЯГИНЯ ИНДИГО. А это как раз недопустимо.

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Почему? Неужели самоубийство более допустимо?

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Наверное, да. А небо – чужая территория. Испокоен веков наши предки не стремились в небо, не строили ракет, и испытывали благоговение перед обманчивой пустотой. Полёт ракеты в небо – это будто укол Бога в щеку шприцом. Но Бог – не манекен! Зачем его колоть иголкой?



КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Да... Однако – казнь закончилась. Нужно провести литургию. *(Палачу)* Зачтите их *(указывает на Студента, Профессоров и Пиратов)* в темницу! После мы с ними поговорим. ПАЛАЧ. Сделаем!

Палач по одному уволакивает за кулисы Студента, Профессоров и Пиратов. Министр уходит за ними. Княгини обращаются к народу.

КНЯГИНЯ ИНДИГО *(экспрессивно)*. Мне важно, чтобы вы постигли все идиоматические взаимосвязи персоналий Мироздания. Это необходимо для того, чтобы правильными глазами смотреть на мир. На круглые вещи, такие как Луна или же Солнце, нужно смотреть глазами круглыми. На вещи квадратные, такие как энциклопедии по руководству или по рукопожатиям, нужно смотреть глазами квадратными. *(поднимает над головой Энциклопедию)* Покажите мне все свои квадратные глазки! *(Народ показывает квадратные глаза)* Вот так! На треугольные вещи – треугольными глазами. Потом дальше. На объёмные предметы нужно смотреть объёмными глазами, а на плоские – плоскими. *(Поднимает над головой Энциклопедию)* Посмотрели квадратными объёмными глазами! Умницы! На живые предметы – глазами живыми, а на мёртвые – мёртвыми. Ничего нет проще! На чёрные предметы – чёрными, а на белые – белыми, на убогие – убогими глазами, а на просторные – просторными. А теперь вознесём хвалу Господу Богу нашему, ежели Он еси на небеси.

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. А Он еси, так и знайте!

Княгиня Индиго и Княгиня Маренго начинают молитву. Народ подхватывает за ними.

КНЯГИНИ. Матриархат суровый
Оуклен тайной дрожью.
Его не обойдёшь.
Его не победёшь.
Вначале было Слово,
И Слово было Ложью,
И Слово было Ложь,
И Слово было Ложь.
Идёшь, на всё готовый,
Вперёд, по бездорожью.
Направо не свернёшь.
Налево не свернёшь.
Вначале было Слово,
И Слово было Ложью,
И Слово было Ложь,
И Слово было Ложь.

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Абсолютно адекватный абсурд!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Зато правда!

КНЯГИНЯ ИНДИГО. И люди верят...

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Хоть заняты чем-то...

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Как-никак, развлечение...

АСТРОЛОГ *(Княгиням)*. Другие слова там были...

КНЯГИНЯ МАРЕНГО *(насмехаясь)*. Неужели?

АСТРОЛОГ. Ужели! В последней строчке... Не Ложь, а Нож. «И Слово было Нож».

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Ересь какая! Я прощаю тебе эти слова только потому, что ты ещё мал! *(Княгине Маренго)*. Какой молитвой теперь воспользуемся?

КНЯГИНЯ МАРЕНГО *(раскрывает большую книгу)*. Молитва вторая. Ремикс двадцать седьмой.

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Ну-ну... *(Астрологу)*. Помолись с нами, мальчик!

Княгини молятся, Народ повторяет за ними отдельные слова. Астролог уходит за кулисы.

КНЯГИНИ. Ты же есть на небеси
Как пшеницу нас коси
Дай нам хлеба в этот день
Не попутай хлеб с отравой
Избавляй нас от лукавых
Отдавать долги нам лень
Чем бы мы не тешились
Лишь бы не повешались
Духом нищие блаженны
Потому и совершенны



Чем бы мы здесь не швырялись
Лишь бы мы не зазнавались
Не введи в нас искушение
И лиши нас отраженья
Аминь – раз!
Аминь – два!
Аминь – три!
Ура!

НАРОД. Ура!

КНЯГИНЯ ИНДИГО (*Народу*). Запуск молитвы из Псевдомира произведён успешно! Космодром Ба-байконур приветствует Святого Духа!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО (*Народу*). Мне важно знать, что вы поняли из наших сегодняшних проповедей? Кто мне ответит?.. Что вы думаете о кирпичях Мироздания?

На балкон Княгинь вбегают Студент, Профессора, за ним – Пираты. Капюшоны сняты. Астролог вбегает за ними. Пираты дежурят около двери.

СТУДЕНТ (*на бегу*). Это не церковь и не цирк! Это, знаете, какая-то Цирковь!!! (*Княгиням*) Вот вы! Не буду показывать пальцами, ибо пальцев не хватит! Сами гвозди в Христа вколачиваете, а повернуться лицом к новой внезапной опасности не можете!

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Ах, кто старое помянет...

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Какая это ещё опасность нам грозит? А?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Сдавайтесь!

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Сдадимся только Богу! А ты кто?

КИДД. Мы – пираты!

ТБЮ. Да, пираты! И шутки с нами плохи!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Откуда вы, такие, взялись?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Из Ада!

Княгини трепещут и отходят на шаг.

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Деньги в чулане.

Профессора переглядываются.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ (*Профессору О. Глянцеву-Несусветлому*). Это что, пароль какой-то?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Профессору Д'арвину-Эпитэ, шёпотом*). Нет, это маразм! (*Княгиням*). Мы пришли к вам по делу. Нам нужен Астроном! У вас всегда серое небо. А нам нужны звёзды. Нам нужно выровнять курс нашего корабля и продолжать путешествие.

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Нет у нас астрономов! Грех – подглядывать за небом. Грех – подглядывать за Богом!

ЭВЕРИ (*Княгиням*). Дамочки! Не сопротивляйтесь!

ТБЮ. Тётки, Астронома гоните!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. У нас нет астронома!

АСТРОЛОГ. Я – Астроном! Ну, точнее, Астролог...

КНЯГИНЯ МАРЕНГО (*перебивая Астролога*). Не слушайте его! Он не в себе с пелёнок! Бедный мальчик! Несчастный ребёнок! (*Астрологу*) Сынок, беги! За тобой охотятся демоны! Палач! Палач!!!

АСТРОЛОГ (*Княгине Маренго*). Не ври, мама! Это не демоны. (*Профессорам и Пиратам*) Очень рад вас видеть! Я давно предсказывал ваш приход. Так прямо и указывается. На священном камне.

СТУДЕНТ (*Астрологу*). На каком ещё камне?

АСТРОЛОГ. На камне, с которого начался новый мир. На этом! (*Отдёргивает полог. За ним – камень с надписью «Ваш Бог – Сво...»*) Это самая священная наша реликвия. С неё всё началось. И было предсказано, что появится человек, который назовёт настоящее имя Бога, зашифрованное здесь. И тот, кто назовёт его, станет правителем. Вы не знаете это имя?

СТУДЕНТ. Что ж, узнаю этот камень! (*Профессорам*) Друзья, именно с него началось моё путешествие. Он был на той поляне, где погибла Беж!

АСТРОЛОГ (*восторженно*). Беж? Богиня Беж? Святая покровительница расы Манекенов? Вы знали её?

СТУДЕНТ. Я её любил! И люблю до сих пор. Я хочу её найти!

АСТРОЛОГ. Мама, какая удача! Наконец-то нашелся истинный правитель Земли! И он – муж богини язычников-манекенов! На планете воцарится мир! Мир снова обретёт яркость былой палитры!

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Не слушайте его, он сумасшедший! Палач, в конце-то концов!!!

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Да, он (*кивает головой на Астролога*) должен был править миром, но оказался слишком слаб для этого. И теперь мы его регенты! Он всё ждёт «настоящего правителя». Но ведь ясно младенцу, что слова, высеченные на священном камне, написаны божественной рукой!



СТУДЕНТ. Божественной рукой! Да их Круглов, алкаш написал! Чтобы посмеяться над поколениями потомков! Нам напророчил Сиреневый Манекен...

АСТРОЛОГ (*в горячке*). Прародитель расы манекенов!..

СТУДЕНТ. ... что этот камень станет священным. И я знаю, что это значит – Ваш Бог сволочь. И действительно, как страшен, как бесцветен теперь мир! Вот оно – война людей и манекенов! И манекены, действительно, выигрывают на фоне людей!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Несомненно!

ПРОФ. КЪЕТРОКАРТА. Безусловно!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Безоговорочно!

ЭВЕРИ. Сто процентов!

АСТРОЛОГ. Я тоже им это говорил! А они – выхолостить, обесцветить, убить! А в шкафу – цветные платья! Они по ночам губы красят и ресницы – в разные цвета! Они боятся потерять власть! И жертвуют даже мной – родной кровью, чтобы оставить власть за собой! Старухи! Всех достойных мужчин они приказали отравить. Даже моего отца! А меня выдают за сумасшедшего. Но я-то знаю, что небо – синее! Я изобрёл рассеивающий пелену телескоп, а они его отобрали. Пришлось стать астрологом. А они хотели меня превратить в арфиста... (*Плачет*)

ТЬЮ (*обескуражено*). Женщины...

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Получше ваших! Посмотрите, сколько на улице красивых девушек, и ни одного красивого мужчины!

СТУДЕНТ. Красивые девушки? (*Гневно*) Стадо уродливых конкурирующих идиоток! Вот кто они такие! Ненавижу весь этот гламурный цемент! Из таких девушек небоскрёбы бы строить, и только!

На балкон вбегает Палач.

ПАЛАЧ. Я этого юнца, ей-богу, выпорю! Где узники? А, все в сборе! (*Кричит*) Стража!

АСТРОЛОГ (*Палачу*). Вы не посмеете их тронуть! Они под моей защитой!

ПАЛАЧ (*Княгиням*). Княгини! Уберите ребёнка!

АСТРОЛОГ. Если вы тронете меня хоть пальцем, он перережет мне горло! (*Протягивает Кидду стилет*). Вот, возьмите! Он очень острый!

Кидд приставляет нож к горлу Астролога.

КНЯГИНЯ МАРЕНГО (*Пиратам*). Оставьте ребёнка! (*Палачу*) Стража, не трогать узников!

ПАЛАЧ. Отдайте приказ их схватить! Они чрезвычайно опасны!

КНЯГИНЯ ИНДИГО (*Пиратам*). Вы хотите, чтобы погиб ребёнок?

ПАЛАЧ. Мы всё сделаем очень быстро. А горло успеет зашить ваш самый лучший портной.

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Нет!

СТУДЕНТ. Палач, снимите капюшон! Мне что-то больно знаком ваш голос.

ПАЛАЧ. Этого не может быть!

СТУДЕНТ. Снимите!

КИДД (*Палачу*). Снимай, скотина, а то прирежу юнца!

Княгини сдёргивают с Палача капюшон.

СТУДЕНТ. Ба, Круглов! А ты постарел! Так вот ты кем стал! Палачом!..

На балкон вбегает Министр.

МИНИСТР (*Княгиням*). Толпа вас требует, Княгини, чтобы... (*Бросает взгляд на Студента*) Нет, не может быть!

СТУДЕНТ (*Министру*). Ванечкин?.. Министр? Как же так? Круглов – убийца! Он должен был сидеть в тюрьме, а вместо этого правит миром! Как же так?

МИНИСТР (*Студенту*). Это долго объяснять. Та загадочная река произвела за несколько месяцев столько преобразований! Через три дня, когда мы вернулись в город, чтобы рассказать, о том, что видели, там всё уже было по-другому. Как будто земля сжалась в комочек, чтобы стереть со своего лица всё ненужное. Начались войны. Каждый город воевал сам за себя. Но потом начали наступать манекены. Их предводитель, тот самый, сиреневый, предлагал перемирие и жить по новым законам. Но люди их отвергли.

ПАЛАЧ (*возмущённо*). Признать своим правителем пластмассовую куклу! Ну нет!

МИНИСТР. Люди объединились против манекенов. И теперь мы побеждаем. И наше общество намного лучше того, которое было во времена моей юности.

СТУДЕНТ. Да, я уже видел! (*Палачу, подойдя к нему вплотную, тихо*) Круглов, а как же ты можешь жить после убийства Беж?



Астролог в ужасе отходит к стене.

ПАЛАЧ (*Студенту*). Не все такие нервные, как ты! Пусть у меня в личной жизни не сложилось, зато я богат и меня боится целый материк!

МИНИСТР. Мы выгодно продали священный камень — теперь мы после княгинь самые могущественные люди государства.

СТУДЕНТ. А Бенедикт? А Венедикт? Они здесь? Они с вами?

МИНИСТР. Нет, их здесь нет.

АСТРОЛОГ. Мои слуги? Близнецы? Они здесь! Только они не смогут поприветствовать вас. Палач велел отрезать им языки.

СТУДЕНТ. Чтобы они не рассказали никому, что он — убийца?

АСТРОЛОГ. Да. И чтобы они всегда были на виду, их приставили ко мне. Все здесь думают, что я ещё ребёнок? (*Княгиням*) Спешу вас разочаровать. Я многое знаю! Слишком многое, чтобы уважать вас, мамы! Близнецы рассказали мне про Беж и про камень. Про войны, которые последовали вслед за появлением на планете Стикса. (*Студенту и Профессорам*) Про то, что вы вернётесь, чтобы отыскать боинню Беж.

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Так ты не астролог?

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Так ты нас дурачил?

АСТРОЛОГ. А что?

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Мы тебя выпорем и закрём в подвале! Или на башне.

АСТРОЛОГ. Или отравите, как всех достойных претендентов на трон объединённой Еврафрики.

КНЯГИНЯ ИНДИГО. Это не мы! Это — Палач!

КИДД (*Княгиням*). Только троньте!

ПАЛАЧ. Предательницы!

ЭВЕРИ (*Пиратам*). Коллеги! Да что с ними нянчиться! Казним на площади, пусть малец правит!

ТЬЮ. Облить всех их кровью, все вокруг потеряют сознание, и дело с концом!

СТУДЕНТ (*Профессорам и Пиратам*). Хватайте Круглова, хватайте Министра! Княгинь хватайте! В темницу их! Во что они превратили планету! В темницу их!

ПАЛАЧ (*Студенту*). Не тебе, студент, судить. Тебя-то здесь не было все эти годы!

СТУДЕНТ (*Круглову*). Не мне? А кому? Теперь править будет Астролог! (*Астрологу*) Ты согласен?

АСТРОЛОГ. Ради будущего планеты? Да! И позвольте выбросить этот камень.

СТУДЕНТ. Конечно!

КНЯГИНЯ ИНДИГО. (*Астрологу*). Сынок, а как же мы?

АСТРОНОМ. Вы будете жить в темнице. Вместе со своим двором. Я прикажу прорубить в ней огромные окна, чтобы вы увидели настоящий мир.

КНЯГИНЯ МАРЕНГО. Не надо, мы исправимся! Мы станем хорошими! Да мы и были ими.

СТУДЕНТ. Неужели вы ещё что-то можете говорить в своё оправданье?

КНЯГИНЯ ИНДИГО (*плача, а к концу — ревя*).

Здесь все пыгают всех, и, все у всех, мы просим сострадания.

Эклектика лиловых молний дышит в ухо наслажденья.

Блаженство только в пытках есть. Ведь разве это испытанье,

Когда ни цели испытанья, ни награды за мученья?

Пусть археологи раскапывают пылевые дюны,

Пусть бурят волны океанов на неведомых планетах,

Но на очаровательных, желанных, светлых, верных, юных

Охота — это лотерея, где нет выигрышных билетов.

КНЯГИНЯ МАРЕНГО (*Палачу*). Надо вызвать конный полицейский гарнизон!

СТУДЕНТ (*Палачу*). Зовите!..

КНЯГИНЯ МАРЕНГО (*смотрит на площадь и кричит*). Полиция!

Эвери надевает наручники на Княгинь, Тью и Кида — на Палача и Министра, и уводят их.

СТУДЕНТ (*Астрологу*). Вверяю землю тебе, Астролог! (*Профессорам*) Можно теперь возвращаться к кораблю. Рай всё ещё нас ждёт.

Небо развидняется, становится оранжевого цвета, на небе видны несколько ярких звёзд. Сцена поворачивается.

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ

У правого края сцены — река и «Амити». На берегу, у корабля, сидят Пираты. В левой стороне сцены — поле, допотопная космическая обсерватория с телескопом, около входа в обсерваторию — два Земных Учёных с биноклями. Студент и Профессора выходят на сцену и озираются.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Профессорам*). И, наконец, мы просто обязаны пообщаться с местными учёными! Тем более, после произошедшего!



ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Если они вообще существуют...

СТУДЕНТ. Смотрите! (*Указывает на обсерваторию*). Как вы думаете, что это?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Кто его знает?

СТУДЕНТ. Это – обсерватория! Этим гигантским моноклом они могут наблюдать за звёздами. Туда мы и пойдём.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Пойдём!

Студент и Профессора подходят к Земным Учёным.

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1 (*Профессорам*). Кто вы?

СТУДЕНТ (*Земным Учёным*). Вход сюда запрещён?

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. Нет, почему же?! Но выход...

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Но мы учёные!

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1. Интересно, откуда же. (*Земному Учёному 2, на ухо*) Шпионы, небось.

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. Сейчас все учёные! Не знаешь, где свои, где чужие! Развелось тут! Говорил я этим княгиням-одуванчикам...

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1. Лопухам...

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. Чертополохам...

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1. Чертолопухам...

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. Говорил, я, значит, им, что образование должно быть платным...

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Мы свои.

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. Все мои свои у меня дома, а здесь все чужие!

СТУДЕНТ. Неужели мы все такие страшные, как чужие?

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. Вы деньги заплатите за вход, сразу своими станете.

Профессор О. Глянецв-Несусветлый достаёт из кармана несколько золотых монет, отдаёт их Учёному 2.

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. Так откуда вы, говорите?

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Из Рая.

Профессор О. Глянецв-Несусветлый незаметно толкает Профессора Д'аврина-Эпитэ в бок.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Шутка. Из... а... Гипербореи.

Студент незаметно толкает Профессора Пьетрокарта в бок.

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1 (*Профессору Пьетрокарта*). И это, я надеюсь, шутка?

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2 (*Учёному 1*). Нет-нет, я что-то слышал об этой стране. Нужно их выпустить и расспросить.

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1 (*Профессорам*). Ладно, заходите. Из Гипербореи, говорите? И где эта ваша Гиперборея?

СТУДЕНТ. На диком севере.

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1. Тогда Вам, наверно, должно быть лучше видно, как выглядит поверхность Вселенной? Сколько, по вашим подсчётам, осталось до поглощения Земли Вселенной и до её коллапса?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*встревоженно, заикаясь*). Мы... Мы не проводили таких подсчётов...

Профессора выглядят испуганными.

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1. А мы провели. До очередного коллапса Вселенной осталось триста сорок часов! До поглощения Земли Большим Взрывом – менее двухсот! А мы до сих пор не нашли способ перенести Солнечную систему в другие измерения!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Но Большой Взрыв произошёл очень давно.

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1. Но Вселенная пульсирует! Периодически она съезживается в точку и разъезживается снова. То сосредотачивается, то рассосредотачивается... Разве вы этого не знали?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Знали, конечно, но... Мы думали, что до следующего взрыва ещё долго.

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. Оказалось, что нет. Вы что, не видите, что небо стало прозрачным? Исходя из скорости сжатия Вселенной в последние моменты её жизни, мы даже вычислили период её пульсирования, от коллапса до коллапса.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Да?

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. Да. Он равняется тридцати трём миллиардам лет.

СТУДЕНТ (*Профессорам*). Нам надо возвращаться в ад и предупредить власти.



ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Может, они что-то придумают, только у них есть технологии.

СТУДЕНТ (*Земным Учёным*). И у вас нет никаких разработок по спасению мира, ни одного чёртового Нео?

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1. Нет! Коллапс так стремителен! Мы даже не заметили, как расширение сменилось сжатием!

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. Да и зачем спасать мир? Гуру, связанные с Небом, уже давно предсказали рождение мира. Великий коллапс Вселенной – это и есть рождение мира, гораздо более прекрасного, чем наш.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА (*сам себе*). Ну и религия у них!

СТУДЕНТ. И чем же вы теперь занимаетесь?

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1. Измеряем изменение силы давления Бога на сантиметр человеческого тела. . .

СТУДЕНТ. И что?

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. Мы измерили, что давление души Бога на один погонный сантиметр человеческой кожи на данный момент равняется ноль целых шесть десятых грамма. . . Со съёживанием Вселенной это давление постоянно растёт.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА (*Земным Учёным*). Вы не хотели бы остаться в живых?

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. А мы и так останемся в живых, мы перенесёмся в рай.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Вы? Учёные?

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 2. Да!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. А как те же те тысячи случаев самовозгорания людей и прочее? Это всё из-за коллапса?

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1. Да!

СТУДЕНТ. А почему, если коллапс Вселенной так близок, ничего особенного не видно в небе?

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1. Как это не видно? Смотрите! (*Указывает рукой в небо*)

Всё небо – в сотнях маленьких разноцветных молний. Лилловые и фиолетовые пятна стремительно плавают по небосклону.

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1. Это взрываются мёртвые души.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Пиратам*). Это взрываются звёзды.

СТУДЕНТ. Мы, пожалуй, пойдём.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Да, пойдём.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Удачи!

ЗЕМНОЙ УЧЁНЫЙ 1. И вам удачи!

СТУДЕНТ. Мы постараемся что-то сделать!..

Студент и Профессора быстрым шагом направляются к кораблю. Затемнение.

ИНТЕРМЕДИЯ ЧЕТВЁРТАЯ

СТУДЕНТ

ОРЕСТ ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ, профессор метафизики

ФОРБИЦИО БЕНЕ ПЬЕТРОКАРТА, профессор метакимии

ЖАН-ЖАК Д'АРВИН-ЭПИТЭ, профессор метаэволюции

ТОМАС ТЬЮ, пират

ДЖОН ЭВЕРИ, пират

УИЛЬЯМ КИДД, пират

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН

ЦЕМЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

На сцене – сумерки. Пираты – на корабле, Студент и Профессора – на берегу. Рядом со Студентом стоит Сиреневый Манекен.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН (*Студенту и Профессорам*). Вы только представьте себе! Когда люди стали сходить с ума, княгини решили открыть новые сумасшедшие дома. Сначала открывали по одному дому в месяц, в потом оказалось, что в городе существуют целые улицы, на которых все до одного дома – сумасшедшие! Объявили тревогу, поднялась паника, и тут вдруг началось затишье, комендантский час сменился тихим. Сумасшедшие дома, казалось бы, стали закрываться один за другим. Но в действительности вездесущие безумцы просто перестали понимать, что в городе нет уже ни одного нормального дома. Произошла смена полюсов ноосферы. . .

СТУДЕНТ. Только и всего?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Нет. Произошло ещё кое-что. Объём талии Земли увеличился на пятьсот промилле. И поэтому у. . .

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Объём талии Земли... Нет, так дело дальше не пойдёт! Здесь делать нам нечего! Одни манекены вокруг, двух слов связать не могут!.. Одна Княгиня Маренго прежде, наверное, очаровательной была. Но и её, как и всех женщин, коснулась инверсия Золушки!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА (*Сиреневому Манекену*). А ты поедешь с нами?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Нет, друзья мои! Не могу и не хочу – с вами!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ (*Сиреневому Манекену*). Ну, как знаешь!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Нужно плыть отсюда куда глаза глядят! А куда глаза глядят?

Профессора садятся на корабль.

ПИРАТЫ (*поют*). Глаза глядят назад,
Домой глаза глядят,
Вернись в семью, пират,
В наш заповедный Ад.

Направляясь к «Амити» последним, Студент проходит мимо появившегося из-за кулис Цементного Человека. Цементный Человек – манекен, тело которого полностью покрыто пятисантиметровым слоем цемента, а вместо глаз у него толстые очки из чёрной резины, в которых просверлены две дырочки. Цементный Человек подходит к Студенту и начинает громко рычать. Студент поворачивается к нему и, не останавливаясь, отвечает Цементному Человеку не менее серьёзным рычанием. Цементный Человек отступает на полшага. Студент поднимается на борт корабля.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК (*сам себе, бубнит*). Заболтался я чего-то с ним...

Корабль отчаливает от берега. Цементный Человек крадёт к Сиреневому Манекену.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Ты хочешь пить?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Нет, я не пью.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Не подскажите, который час?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Спасибо, я не курю.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Есть подкурить?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Полдесятого.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. А есть хочешь?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Нет, мне нужно держать форму. Я на диете.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Какой год сегодня?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. 2006.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. А на тебе написан срок годности?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Да. Вот, смотрите. (*показывает раскрытую ладонь*)

ЦЕМЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 2005 год... Мда... Понимаешь?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Нет.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. А на мне тоже написан срок годности.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Где?

ЦЕМЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Вот. (*показывает на лоб*) Читай!

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. 3548 год.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Теперь понимаешь?

Занавес.

АКТ 5. АД

СТУДЕНТ

ОРЕСТ ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ, профессор метафизики

ФОРБИЦИО БЕНЕ ПЬЕТРОКАРТА, профессор метакимии

ЖАН-ЖАК Д'АРВИН-ЭПИТЭ, профессор метаэволюции

ТОМАС ТЬЮ, пират

ДЖОН ЭВЕРИ, пират

УИЛЬЯМ КИДД, пират

ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ 1, 2, 3

ТРОЕ РАБОЧИХ В МУАРОВЫХ КОМБИНЕЗОНАХ

СЕКРЕТАРЬ МИНОСА

МИНОС

РАДАМАНТ

ЭАК

СТАЛИН



ПЁТР I
 МАЗАРИНИ
 НАПОЛЕОН
 АТТИЛА
 КЛОУН 1, он же БОГ
 КЛОУН 2, он же ЛЮЦИФЕР
 ДЕТИ
 ОБОРВАНЕЦ
 ВАНЕЧКИН
 ЖИТЕЛИ АДА
 СПУТНИЦА СЕВЕРЬ
 ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ КОМБИНЕЗОНЕ
 ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ПРАВЕДНИКОВ
 БЕЖ
 ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

На сцене справа – уходящая вдаль аллея, по бокам которой несколько рядов кипарисов, скамейки. Неоновая иллюминация. Вдали – отель. Слева – берег озера, «Амити». Студент, Профессора и Пираты стоят на палубе в недоумении.

СТУДЕНТ. Не может быть!

КИДД (*затравленно*). На этот раз я не виноват!..

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Можно, конечно предположить, что это рай, но уж больно похоже... .

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. На то место, откуда мы начали свой путь.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Опять Ад! Поздравляю вас, коллеги! Это судьба.

СТУДЕНТ (*Профессорам*). Вам не кажется, что здесь что-то изменилось? Поглядите, первый этаж достроен. Парк разбили!

ТЬЮ. А мне кажется, что здесь затевается неплохая гулянка. Я запах выпивки чую за километр. Предлагаю отдохнуть и снова отправиться в путь! Уж больно хочется попотрошить праведничков!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Но, позвольте, как мы оказались снова в Аду?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Боюсь, что пространственные параллели шалят. (*Смотрит на панель управления, удивлённо*) Ничего себе!

СТУДЕНТ (*чтает надпись на панели*). «Извините, но пункт направления указан неправильно или не существует». Как это не существует? Выходит, что рая нет?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Невозможно! Он был.

СТУДЕНТ. И как же это понимать?

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Может быть, пока мы летели, он исчез?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Тогда должна исчезнуть и Земля.

СТУДЕНТ. И Ад.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Студенту*). Ад может теперь существовать вечно. После исчезновения Стикса он ничем не связан ни с раем, ни с Землёй.

ЭВЕРИ. Предлагаю слетать и проверить, что осталось, а что исчезло!

На палубу «Амити» поднимаются Тайные Агенты.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1 (*Эвери*). Не получится!

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2 (*Профессорам и Пиратам*). Вы арестованы!

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3 (*Студенту*). А вы арестованы дважды!

СТУДЕНТ. За что?

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. За пять лет побега и за то, что до сих пор не умершвлены.

СТУДЕНТ. Прекрасно!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Тайным Агентам*). И что вы теперь сделаете с нами?

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2. Пока не решено. Сегодня праздник. Завершение строительства отеля. Всенародное гуляние.

ТЬЮ. А выпивка будет?

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3. Будет. Но не для вас.

ЭВЕРИ. Мы что, даже на салют не посмотрим?

Тайные Агенты совещаются.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. Так и быть! Сегодня посмотрите на салют, а завтра на суд. Руки!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ (*Профессорам*). Лучше не спорить!



Агенты достают наручники. Студент, Профессора и Пираты протягивают руки. Агенты надевают на всех наручники и уводят с корабля на сушу.

КИДД. Я так не согласен! Как же мы теперь будем веселиться?
ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2 (*Кидду*). Не моя проблема. На этой штуковине вы летали?

Все молчат.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3. На этой. Демонтировать!

На сцену выбегают трое Рабочих в Муаровых Комбинезонах, кувалдами ломают корабль.

ЗВЕРИ (*пытаясь вырваться из рук Тайного Агента, истошно кричит*). Не прощу! Никогда!!!

Рабочие в Муаровых Комбинезонах уходят, Пираты садятся подле обломков на берегу.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Окончены теперь наши приключения!

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. Это точно! Тем более, теперь вам и путешествовать негде. На Землю летали? А нет её больше, Земли.

СТУДЕНТ (*Тайным Агентам*). А рай, рай-то ещё есть?

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2. Я государственные тайны не выдаю.

СТУДЕНТ. Ну и идите тогда! Хоть последний вечер жизни не портьте!

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3. Стойте здесь! С вами будет разговаривать сам Минос.

СТУДЕНТ. Так САМ или Минос?

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1 (*Студенту*). Поговори у меня!

Тайные Агенты отходят в сторону, не сводя глаз с Профессоров.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Студенту и Профессорам*). Вы помните мою теорию о мирах, параллельность которых базируется на разном для каждого мира числе ПИ?

СТУДЕНТ. Да, и что?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Если у нас было бы достаточно времени, мы могли спасти Землю, переместив Солнечную систему в какой-нибудь параллельный мир. . .

СТУДЕНТ. Но у нас уже нет времени!..

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*забываясь*). Мы могли бы создать технику, аналогов которой не появилось бы никогда. . .

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Увы, увы. . .

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*мечтательно*). Мы могли бы провести такой грандиозный научный эксперимент, на который способны только самые высокоразвитые цивилизации. . .

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Только на создание техники по изменению в закрытом пространстве числа ПИ ушло бы не меньше трёх пятилеток. . .

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Удачный результат перемещения, правда, никто бы не смог гарантировать, но терять нам нечего. . .

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Но если бы мы переместились неудачно, а с адом бы не произошло ничего страшного?..

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Лучше всего, конечно, перемещать мир в мир с таким же количеством пространственных измерений. . .

СТУДЕНТ. От чего это зависит?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Количество пространственных измерений в мире определяется целым числом ПИ. Если число ПИ в нашем мире равно 3,76, то имеет смысл перемещать наш мир в миры с числом ПИ от 3,0 до 3,99. . . А вот цифра после запятой – скорость течения времени. . .

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. А если у этого мира будет плавающее число ПИ?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Мои подсчёты подсказывают мне, что наверняка какой-то мир существует с числом ПИ равным 3,14. . . (*пауза*) Для этого эксперимента можно было бы использовать энергию съёживающейся Вселенной, гравитационных сил и космических молний!.. Мы могли бы даже переместить Землю сразу в несколько параллельных миров!..

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Для чего? Плодить праведников?

Появляется Секретарь Миноса, Тайные Агенты уходят со сцены.

СТУДЕНТ (*Секретарю Миноса*). Нам нужно срочно встретиться с председателями малой адской комиссии! Неотложные вести с Земли. Мы только что оттуда.

СЕКРЕТАРЬ МИНОСА. Срочно? Встретиться? Со всеми председателями? Никоим образом! Сейчас на всех парах идёт подготовка к празднику. Расскажите всё лично Миносу, если он, конечно, согласится вас выслушать.



ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. А Радамант? Эак? Они до сих пор ещё председатели? Нам бы нужно срочно их увидеть!

СЕКРЕТАРЬ МИНОСА. Разумеется, до сих пор. Они всегда председели, председят и будут председеть! Но сейчас встретиться с ними не представляется возможным!

Секретарь Миноса уходит и приходит снова.

СЕКРЕТАРЬ МИНОСА (*Профессорам*). Минос здесь. Он будет слушать вашу чепуху.

Минос спускается сверху на стуле. Перед ним возникают письменный стол и стулья.

МИНОС. А! Путешественники! Вовремя! Как раз к празднику успели! Пока суть да дело, а вы ещё на свободе, предлагаю организовать пресс-конференцию, на которой вы могли бы рассказать о своих приключениях!.. Может, и впрямь казнить не будем!

СТУДЕНТ. У нас плохие вести. Праздник будет омрачён, гуляния превратятся в буффонаду!..

МИНОС. Да что же такого случилось?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Оказалось, что Вселенная не расширяется вечно, как мы думали, а пульсирует.

МИНОС. Ну и что?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. А то, что в один прекрасный момент расширение Вселенной сменилось сжатием, и через час Солнечная система перестанет существовать, а ещё через сто пятьдесят часов перестанет существовать Вселенная, какой мы все её знаем.

СТУДЕНТ. И нет никакой уверенности, что это не коснётся Ада.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Ведь если сколлапсирует вся Вселенная, Ад может вместе с ней сжаться в точку!..

Минос недоверчиво обводит взглядом Профессоров.

МИНОС. Никому не говорите об этом! Пока что никому! Я должен посоветоваться с Ним. Посидите здесь, я скоро вернусь.

Профессора понимающе кивают. Минос выходит.

СТУДЕНТ. Как думаете, что теперь будет?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Паника будет.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. А зачем было создавать пульсирующую Вселенную?

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. А зачем было создавать пульсирующие сердца?

Минос возвращается.

МИНОС. Уважаемые профессора! Спасибо за такую ценную информацию, конечно, но неужели Вы думаете, что САМ не в курсе того, что произошло на Земле? Обо всём знает! С Адом будет всё в порядке, будьте уверены! Но поскольку в Аду полным-полно сомневающимися и прочих колеблющихся, молчите о том, что знаете, дабы не посеять панику. Как говорится, посеем панику – взрастим биомассу. Договорились? Чтобы я не стирал вам память. . .

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Договорились. . .

МИНОС. Ну, вот и порешили! А теперь айда праздновать!

СТУДЕНТ (*Миносу*). Где будет происходить действие оное?

МИНОС. В Бабаёжном Парке, центральном развлекательном комплексе Ада.

Сцена поворачивается.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

На сцене – конференц-зал, украшенный гирляндами и воздушными шарами. По углам сцены стоят снеговики с зонтиками. Трое Рабочих в Муаровых Комбинезонах обмахивают их лопатами, как опахалами. За столом, накрытым чёрным бархатом, сидят Радамант, Минос, Эак, Сталин, Пётр I, Мазарини, Наполеон, Аттила, на столе – бутылки, наполненные рюмки. Семь стульев за столом пустуют. В первом ряду зрительного зала сидят журналисты.

РАДАМАНТ. Уважаемые господа товарищи! Смею поздравить вас с окончанием первой пятилетки реконструкции нашего общего дома, уже ставшего для многих из нас родиной. Несмотря на некоторые проблемы, в нашем общем деле мы достигли великолепных результатов. Наши успехи в области реконструкции просто феноменальны, чёрт возьми! (*Пауза*) Напомню, что план реконструкции Ада рассчитан на пять пятилеток, но за первые пять лет мы осилили четыре пятилетки. Конечно, ни для кого не

является тайной то, что последние пять лет реконструкции будут отданы на благоустройство самых отдалённых районов и могут длиться и в десять раз быстрее и в десять раз медленнее времени. Всё это зависит только от нас, поскольку чем больше суммарное количество движения, произведённое на ОМ как единицу измерения сюрреальности, тем быстрее движется время в пространстве. Это значит, что если во второй пятилетке мы будем трудиться с ещё большим энтузиазмом, эти годы пролетят моментально, и тем быстрее наступит светлое будущее! Итак, товарищи, вперёд к Светлому Будущему! Да здравствует Золотой Век!

Слышен громогласный, многоголосый крик «Ура!».

МИНОС. Сегодня в Бабаёжном парке – великолепная концертная программа, где каждый желающий сможет повстречаться с любым духом, побывать в его, хех, теле... Ко вниманию любопытствующих – колесо обозрения миров и колесо обозрения сансар, качели времени и качели инвертирования сознания... Всё, что будет происходить сегодня в Парке – будет единым представлением во славу нашей победы над Словом, участниками представления станут все жители Ада! А теперь – о делах насущных. (*Смотрит на Эака*)

ЭАК. Благодарю, коллега. (*Пауза*) Насколько вам всем известно, господа, существует всего четыре сегмента общественной жизни, каждый из которых может полностью вытеснить все остальные интересы. Таким образом, любовь, творчество, наркотики и религия равнозначны и равноценны по отношению друг к другу. Мы постарались ввести позитивные новшества в каждый из этих сегментов. Так, для тех, кто с почтением относится к любовным утехам, мы изобрели уникальный аппарат Экстазмотрон, работающий на биотопливе – эндорфинах, который позволяет испытывать высшую степень физического и ментального наслаждения бесконечно долго. Уже к концу второй пятилетки, согласно нашему плану, каждый житель Ада получит такой аппарат совершенно бесплатно, а также палатку из меняющей свои пейзажи ткани в придачу и баночку какао в подарок. Далее, в области творчества появились «бесконечные» ручки и мелки для писателей, музыкантов и художников, заполненные вместо краски сжиженным вдохновением, а также устройство, позволяющее записывать авторские тексты, музыкальные произведения, мультфильмы и кинофильмы прямо из головы. Насчёт наркотиков мы решили, что пора бы уже превратить кровь в наших душах в вино. Гениально и просто! В религии, сами знаете, был совершён грандиозный переворот. По современным представлениям, именно Ад является тем, к чему стремилось Небо, создавая Вселенную. Ад – это лучшее творение Неба и единственный оплот здравого смысла во Вселенной. В связи с этим нами построен точнейший Измеритель Истины в мире, у которого каждое неживое существо может попросить совета и вернуться к себе настоящему.

Вновь звучит громогласный, многоголосый крик «Ура!».

РАДАМАНТ. Выпьем!

Сидящие за столом чокаются, выпивают.

РАДАМАНТ. А теперь, на закуску, представляю вам гвоздей сегодняшней пресс-конференции, наших славных ребят, очень достойных товарищей учёных котов... Мда... Чешпирских котов... Кхм... Пиратов и профессоров метапаук... меганаук, отважных путешественников, которые первыми совершили круиз в Верхний мир и привезли оттуда ценную информацию.

РАДАМАНТ. Итак, встречайте: профессор метафизики Орест Глянцев-Несусветлый, профессор метакими Фортицио Бене Пьетрокарта, профессор метаэволюции Жан-Жак Д'арвин-Эпитэ!.. Пираты – Эвери, Тью, Кидд! И, наконец, последний в Аду живой человек, бывший студент, почётное умерщвление которого произойдёт завтра на площади в рамках программы празднований... ммм... Круглов!..

СТУДЕНТ (*из-за кулис*). Но, позвольте!.. У меня совсем другое имя!

Профессора, Пираты и Студент выходят на сцену.

РАДАМАНТ (*Студенту*). Не имею чести знать, как вас величают. Но у вас на бейджике – именно это имя!

СТУДЕНТ. Проклятые княгини!.. Колдуньи, ведьмы!!!

Студент срывает с себя бейдж, он, Профессора и Пираты садятся на пустующие стулья.

МИНОС (*в зрительный зал*). Вы можете задать нашим героям волнующие вас вопросы.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. У меня вопрос к бывшему студенту. Как Вас всё же зовут? Кто такие княгини?

СТУДЕНТ (*задумывается*). Если позволите, сначала я отвечу на второй Ваш вопрос. Княгини – две богобоязненные безмозглые старухи, которые в прошлом подчинили себе всю планету и считают себя наместницами Высшего Разума на Земле... На самом же деле, они наместницы разве что Высшего Маразума!..



ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Вот одноклеточные!

МИНОС. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Почему вы вернулись?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Земля стала неопрятной, некрасивой... Уродливой! Нельзя обнять неопрятное! Потому и вернулись!

В зале слышны смешки.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. А как там сейчас, наверху? Уже оцифровали царствие божье?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. В преданиях сохранились сведения о том, что в незапамятное время на Земле были компьютеры. Говорят также, что в какой-то период развития у человечества появился уникальный аппарат, который при подключении к мозгу человека во время сна, имел возможность записывать визуализации снов людей на цифровые носители. Но сейчас эти технологии напрочь забыты. Можно сказать, что земляне на данный момент и не догадываются, что можно оцифровывать и Явь, и Навь, и Правь.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Умели ли эти люди использовать аппарат в обратных целях – для просмотра во время сна своих, уже увиденных когда-то, или чужих оцифрованных снов. И какие последствия это могло иметь для человеческой психики?

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Увы, не сохранилось никаких сведений по данному вопросу.

В зале слышится негодование.

МИНОС. Ещё вопросы будут?

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Будут.

МИНОС. Ну...

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. А правду ли говорят, что на Земле теперь хуже, чем было когда-то в Аду, когда он был ещё сельскохозяйственным?

СТУДЕНТ. Всё возвращается на круги свои.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. В каком смысле?

СТУДЕНТ. Это вопрос?

ЗАК (*Студенту*). Не отвечайте вопросом на вопрос!

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Только ответом. Только ответом на ответ!

СТУДЕНТ. Знаете... (*раздражённо*) Когда-то на Земле ходила такая поговорка – «Аграрный Марс – мечта любого аркаимца». Но границы Марса безграничны, и потому мечтать не вредно. А если честно, то хуже, много хуже.

РАДАМАНТ (*Залу*). Наши герои устали с дороги. Я думаю, что на этом стоит прекратить пресс-конференцию. Прошу разойтись! (*Сидящим за столом*) Через двадцать минут Большая Адская Комиссия вновь собирается здесь для принятия Конституции Ада. Сталин и Пётр I, останьтесь!

Мазарини, Наполеон, Аттила уходят со сцены, несколько зрителей выходят из-за зала.

МИНОС (*Профессорам*). А теперь Ваша очередь. Вас не было в аду пять лет, и за это время у нас очень многое изменилось, нас не узнать! (*Крестится*) Идеальное государство! Идеальное общество!.. Задавайте нам вопросы!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Какие награды ждут нас?

МИНОС (*внимательно смотрит на Профессора О. Глянцева-Несусветлого*). Награда состоит уже в том, что вы побывали в таком незабываемом путешествии и (*пауза*) мы вас отпустили. И впустили обратно.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Значит, милосердие – награда?

МИНОС. Вы меня правильно поняли, друзья мои... (*Пауза*) САМ решил вас помиловать! Какие ещё вопросы?

Профессора ошарашенно переглядываются.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Миносу*). Вам не нужен второй министр экологии Ада?

МИНОС. Мы рассмотрим все предложения.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Не участились ли за последнее время случаи генной мутации духов?

ЗАК. А вам бы хотелось, чтобы участились?.. Шутим, шутим!.. Нет. Улучшение жизни правящих кругов и общества ни в коем случае не может способствовать ухудшению жизни отдельных индивидуумов и особей. Это противоречит позиции Измерителя Истины.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Как вы справились с человеческой депопуляцией в Аду?

РАДАМАНТ. Мы долго думали над тем, как можно убить трёх и более зайцев сразу. Мы стали клонировать по несколько себе подобных душ, в каждой из которых заложено влечение к определённому греху. Хозяин этих клонов получает возможность аккумулировать удовольствие, которое получает каждый из клонов, воедино, и получать это удовольствие самому при посредстве отпочковавшихся



душ. Это выгодно для всех: и для клонов, поскольку благодаря нашим академикам они получили возможность родиться, и для хозяина, ведь он получает возможность удовлетворить все свои греховные потребности, а мы знаем, что в жизни нужно попробовать всё. Полезно это и для общего развития Ада, поскольку чем больше душ получают удовольствие от совершения грехов, тем более красочными, яркими и насыщенными становятся сами лукавые эгрегоры, тем сильнее САМ. Таким образом, мы убиваем сразу четыре зайца.

Сцена поворачивается.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Вечер. Площадь, повсюду – иллюминация. Вдали – карнавальное представление, на небе – цветы фейерверка. Скамья посреди сцены. На скамье сидят два мима – белый и чёрный, Бог и Люцифер. Они неподвижны, но позади них две огромные тени ведут диалог. Постепенно голоса теней становятся всё громче. Студент, Профессора и Пираты прогулочным шагом выходят на площадь.

КЛОУН 1. Гламурненько здесь!.. Зачем ты меня звал?

КЛОУН 2 (*развязно*). Да так, повидать захотелось.

КЛОУН 1. Тебе не кажется, что мы говорим слишком громко. Нас могут услышать!

КЛОУН 2. Здесь все давно пьяны таким вином, которое начисто отшибает слух и память. Если я захо-чу, конечно.

КЛОУН 1. Ага, но революция у тебя всё-таки состоялась!

КЛОУН 2. Ты вышел воевать против меня и проиграл. Благодаря революции Ад стал лучше. А что с твоими владениями? Мои люди постоянно изучают историю истории. Мы уже давно всё изучили. И знаешь, к какому выводу мы пришли?

КЛОУН 1. И какому же?

КЛОУН 2. Во-первых, история сама по себе – вторична. И во-вторых, в Мироздании не должно возникать замкнутых кругов. Следствие никогда не должно становиться причиной причины. Первопричина никогда не должна оказываться в середине цепочки причинно-следственной связи. А у вас было всё наоборот! Система причинно-следственной связи не работает!.. Происходят постоянные сбои! И кто от этого страдает? Я! Мои люди! Мои учёные высчитали, что именно вследствие возникновения замкнутых кругов Вселенная, которую ты сотворил, сжалась! Нет, ну каково?!

Студент, Пираты и Профессора прислушиваются к голосам.

СТУДЕНТ (*Профессорам и Пиратам*). Что это за голоса?

ТЬЮ (*шёпотом*). Боюсь предположить, но...

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Такой голос только у него...

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. У кого?

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. У Самого.

СТУДЕНТ. А второй?

ЭВЕРИ. Враг его.

СТУДЕНТ. Неужели Бог?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Да тихо вы! Слушайте...

КЛОУН 1 (*Клоуну 2, продолжая*). Что ты предлагаешь?

Поднимается ветер. Колесо обозрения миров уносит в космос. Клоун 2 поднимает руки. Время на мгновение замирает. Через мгновенье – воздух спокоен, колесо обозрения на месте.

КЛОУН 2. ... постоянные сбои! И кто от этого страдает? Я! Мои люди! Мои учёные высчитали, что именно вследствие возникновения замкнутых кругов Вселенная, которую ты сотворил, сжалась!

КЛОУН 1. Что ты предлагаешь?

Снова поднимается ветер. Колесо обозрения миров снова уносит в космос. Клоун 2 поднимает руки и извивается в танце дerviша. Время на мгновение замирает. Через мгновенье – колесо обозрения миров вновь на своём месте.

КЛОУН 2. ... постоянные сбои! И кто от этого страдает? Я! Мои люди! Мои учёные высчитали, что именно вследствие возникновения замкнутых кругов Вселенная, которую ты сотворил, сжалась!

КЛОУН 1. Что ты предлагаешь?

КЛОУН 2 (*на мгновение замирает, прислушивается, приглядывается. Сам себе*). Ну вот, так-то лучше! (*Клоуну 1*) Есть план. Ты должен наделить людей одной способностью... ну, такой способностью... Ты когда-то играл в компьютерные игры?

КЛОУН 1. Ну...



КЛОУН 2. Обычно герой в них может сохранять какую-либо версию игры на тот случай, если в дальнейшем могут возникнуть неприятные обстоятельства и непоправимые ошибки, а если они возникнут, загружать сохранённую версию игры и играть заново, не совершая ошибки. Такой способностью должен обладать каждый человек: возвращаться назад во времени к моменту сохранения информации о своей жизнедеятельности и начинать жить с этого момента снова!

КЛОУН 1. Но это значит дать слишком много свободы в руки простого человека!..

КЛОУН 2 (*заговорщицки*). Мы могли бы найти компромисс... (*Хитро улыбается*)

КЛОУН 1. Нда?

КЛОУН 2. Можно было бы перепрограммировать Мироздание таким образом, чтобы оно автоматически сохраняло версию жизни каждого человека раз в... сутки, ну, скажем, в полночь. Если бы человек чувствовал, что за день сделал что-то не то, он мог бы вернуться на сутки назад и, помня свои ошибки, прожить день по-новому... Таким образом ты бы дал людям возможность не совершать ошибок и набирать жизненный опыт в несколько раз быстрее.

КЛОУН 1. Сам умеешь?

КЛОУН 2. Я-то? Я всё умею.

КЛОУН 1. Ой-ой! Всё он умеет! Да ты у меня даже девятый класс не закончил!

КЛОУН 2 (*яростно*). Да! Не закончил! Тысячу лет не доучился! Зато сколько всего сделал за эту тысячу лет! И больше бы сделал, если бы ты не мешал!

КЛОУН 1 (*приподымаясь, грозно*). Да я тебя голыми руками!

В небе сверкает молния. Клоун 1 замахивается на Клоуна 2. Клоун 2 поднимает руки и танцует. Гремит гром, но неожиданно и резко замолкает.

КЛОУН 2. ... Таким образом ты бы дал людям возможность не совершать ошибок и набирать жизненный опыт в несколько раз быстрее...

КЛОУН 1. Сам умеешь?

КЛОУН 2. Я-то? Да, я умею!

КЛОУН 1. Продемонстрируй!

КЛОУН 2. Я бы продемонстрировал, но ты этого всё равно не заметишь! Если я скажу, что пока мы тут сидим, колесо обозрения (*Клоун 2 показывает рукой на аттракцион*) уже дважды срывалось от ураганного ветра, ты согласишься?

Клоун 1 молчит.

СТУДЕНТ. Почему мы слышим их, а другие – нет?

КИДЦ. Все пьяные, как свиньи, а мы не успели.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Спасибо Минусу!

КЛОУН 2 (*Клоуну 1*). А, между тем, это так. И я дважды возвращал его на место. Ты же ничего не заметил! В этом-то и фокус!

Клоун 1 задумывается.

КЛОУН 1. Хорошо, я сделаю это. Но уступка эта будет стоить мне многих сил. Что ты можешь предложить взамен за мои труды?

КЛОУН 2 (*мгновенно вскипает*). Взамен? Ты исправишь свою ошибку, а я тебе за это ещё и доплачивать должен?

КЛОУН 1 (*вскипает*). Это ты постарался, чтобы эта ошибка дала плоды!

Клоун 1 поднимает руки и замахивается на Клоуна 2. Между его рук сверкает молния. Клоун 2 извивается в пляске дервиша.

КЛОУН 2. А, между тем, это так. И я дважды возвращал его на место. Ты же ничего не заметил. В этом-то и фокус.

Клоун 1 задумывается.

КЛОУН 1. Хорошо, я сделаю это. Но уступка эта будет стоить мне многих сил. Что ты можешь предложить взамен за мои труды?

КЛОУН 2. А чего ты хочешь?

КЛОУН 1. Рай... Он погибает! Души, живущие в раю, погибнут! Я прошу, чтобы ты разрешил этим душам переселиться в Ад. Пусть себе живут, никого не обидят и ты не обижай...

КЛОУН 2 (*задумывается, улыбается*). По рукам!

КЛОУН 1. По рукам!



На сцене появляются дети. Клоуны подбегают к детям. В руках у первого – мороженое, у второго – пачка билетов.

КЛОУН 2. Цена – пять маргариток! Вы покупаете у нас билеты в комнату страха, и мы платим вам пять маргариток за каждый билет. Возьмёте два билета, получите десять маргариток!

КЛОУН 1. Цена – три нарцисса! Всего три нарцисса! Ладно, четыре нарцисса, и это мороженое ваше. За десять нарциссов отдам три мороженых!

Дети срывают растущие поблизости цветы, отдают их мимам, забирают билеты и мороженое и торопливо уходят в глубь аллеи. Клоуны садятся на скамейку. Сцена поворачивается.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

На сцене – конференц-зал. За столом – Радамант, Минос, Эак, Сталин, Пётр I, Мазарини, Наполеон, Аттила. В конференц-зал вбегает человек в сомбреро – Оборванец.

ОБОРВАНЕЦ (*Залу*). Экстраординарное событие! Удивительный подарок Бога...

РАДАМАНТ, ЭАК, МИНОС (*в унисон*). Ш-ш-ш!

МИНОС (*Оборванцу*). У тебя есть только одна хорошая новость?

ОБОРВАНЕЦ. Так точно!

МИНОС. Вот с неё и начинай! И без памфлетов таких, будь добр!

ОБОРВАНЕЦ. На Земле случилась катастрофа! Земли больше нет!

В зале слышен тревожный вздох удивления.

МИНОС. Мы это знаем.

ОБОРВАНЕЦ. Рая тоже нет!

В зале слышен радостный вздох.

МИНОС. Вот этим ты нас порадовал! Действительно, прекрасная новость!

ОБОРВАНЕЦ. Но и это ещё не всё!

МИНОС. Ещё одна хорошая новость? Ты же сказал, что всего одна!

РАДАМАНТ (*Миносу*). Вам что, плохо, что ли? (*Оборванцу*) Так что там ещё прекрасного стряслось? Что ещё устаканилось?

ОБОРВАНЕЦ. Все души, жившие до этого в раю, оказались у нас, здесь, в Аду! Это невероятно!

Зал наполняется оглушительным шёпотом. Слышны реплики «Беженцы?», «Незаконные мигранты», «Свершилось!» и т.д. На сцену врывается толпа граждан Ада и пришельцев из рая. Среди них – Студент, Профессора, Пираты.

СТУДЕНТ (*Оборванцу*). Что происходит?

ОБОРВАНЕЦ. Великое слияние! Грандиозное соитие миров! Рай уничтожен! Земли больше нет! Бог торгует душами из рая! Бог боится умирать. Слава Аду!

СТУДЕНТ. Из рая? Здесь?

ОБОРВАНЕЦ (*подпрыгивает*). Ура!

СТУДЕНТ (*сам себе*). О, Господи! Беж!..

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛИЙ. Потрясающе! И кто командует их благоустройством? Где их разместили?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. И, главное, почему так произошло?

ЭВЕРИ. Зря летали только! Такой корабль угробили!.. Пойдёмте, ребята, выпьем за упокой.

КИЦЦ (*Эвери*). А что, уже разрешили!

ТЬЮ. Да плевать! (*Студенту*) Спасибо, юнга. За всё! Профессора, вы тоже ребята не из робких. Заходите, если что.

Тью хлопает по плечу Студента. Пираты уходят за кулисы.

ОБОРВАНЕЦ. Никто не знает, почему так произошло! Никто! Но Распорядитель Ибн уже послал целую бригаду гидов к пространственному шлюзу, чтобы они провели инструктаж праведников и экскурсию для тех, кто ещё не понял, куда он попал. Они все должны понять, что они только выиграли от падения Божьей империи! Глядите! Праведники!

На сцену выбегает ещё несколько ликующих праведников, среди них – Ванечкин.



СТУДЕНТ (*Ванечкину*). Ванечкин, и ты здесь?

ВАНЕЧКИН. И я. Ты не знаешь, где здесь биржа труда? Не требуются ли им министры? У меня и стаж, и опыт, и умение руководить...

СТУДЕНТ. И подлость...

ВАНЕЧКИН. И подлость... Тыфу ты! Я – кристально честный человек!

СТУДЕНТ. Коллоидно-грязный. А Астролог, Близнецы? Они здесь?

ВАНЕЧКИН. Не знаю. Там такое началось! Небо загорелось, дворец развалился, Княгини визжат, манекены наступают. Кошмар! Представляешь, люди гибнут, а они, пластмассомордые эти, хватают своих и в центрифугу суют. Астролога тоже, вроде бы схватили. И улетели.

СТУДЕНТ. Куда?

ВАНЕЧКИН. В небо! Сгорели! Как щепки!

СТУДЕНТ. Ты видел?

ВАНЕЧКИН. Нет. Но разве не ясно? Если вся планета превратилась в горстку пепла, разве могли они уцелеть в своей жестианке? Вспыхнула она точкой в небе и растворилась!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Перемещение прошло удачно. Я в деревне Манекенов формулку начертил на песке. И схему Главного Генератора. Надо же, в момент расшифровали!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ (*Ванечкину*). Вы хотите сказать, что не люди, а манекены спасли Землю, переместившись в параллельное измерение?

СТУДЕНТ. Они спасли Астролога. Представляете, как чист и красив будет их мир!

ВАНЕЧКИН (*гомерически хохочет*). Да сгорели они там все! Расплавилась!

СТУДЕНТ. Иди ты отсюда, Ванечкин! В Аду тебе будут очень рады. Единомышленники примут тебя с распростёртыми объятьями!

Ванечкин убегает за кулисы.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*разочарованно*). Это мы, это мы должны были лететь по параллельным мирам, спасая человечества, галактики, Вселенные и так далее!.. (*Задумывается*) И тому подобное!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Думаю, что у манекенов это получится намного лучше!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. А здесь нам разве что позволят разработать проект полёта, а в путь отправятся другие. Ненавижу! Ненавижу!

Профессор О. Глянецв-Несусветлый убегает за кулисы в истерике. Профессор Пьетрокарта бежит за ним. Профессор Д'арвин-Эпитэ остаётся.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Как иногда грустно заканчиваются потрясающие приключения! (*Студенту*) Пока мы разыскивали вашу любимую, исчезли два незабываемых, казалось бы мира, пираты потеряли корабль. А это ведь – их сердце... Орест почти сошёл с ума! И судьба манекенов никому не известна. А сколько смертей, сколько переживаний!

Появляются Эак и Сталин.

ЭАК. Я лично займусь вопросом устройства праведников! (*Сталину*) Срочно собери съезд строителей и распорядись в срочном порядке построить город для праведников. Даю тебе одни сутки! (*Хватает со стола колокольчик и звонит*)

СТАЛИН. Но если локализовать их поселения, они навсегда останутся праведниками!..

ЭАК. Ничего! Ассимилируются! Это всё-таки праведники, а не грешники. Спешите!

Сталин спешно уходит.

РАДАМАНТ. А я схожу к нашему Владыке, выясню, в чём дело.

Радамант выходит. Звонит телефон. Минос поднимает трубку.

МИНОС (*в трубку*). Да. Да. Одну минуту, Сталин. (*Оборванцу*) Сколько всего там этих праведников?

ОБОРВАНЕЦ. У одного из них был список. (*Достаёт из кармана тетрадь*) Так, так... Шесть миллионов душ. Шесть миллионов сто восемьдесят тысяч душ.

МИНОС (*в трубку*). Шесть миллионов сто восемьдесят тысяч... Да, не густо... Сам понимаю... В одну гостиницу можно влоочь! Ну, чтоб одним духом! (*Кладёт трубку*)

СТУДЕНТ (*Оборванцу*). Где, где, скажи, они сейчас?

ОБОРВАНЕЦ. Часть находится в доме у Спутницы Северь, остальные – в поле на берегу озера, недалеко от её же дома.

СТУДЕНТ. А как эта часть поместилась в доме?

ОБОРВАНЕЦ. Ты, наверно, не представляешь, сколько в том доме подземных этажей! Это же подземный небоскрёб!



СТУДЕНТ. И Северь там?

ОБОРВАНЕЦ. Да.

СТУДЕНТ (*Оборванцу*). Спасибо. (*Профессору Д'арвину-Эпитэ*). Мне нужно найти...

Оборванец садится за стол, наливает себе и выпивает.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ (*Студенту*). Беж?

Студент кивает головой.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Ну что ж! Удачи!

Студент выходит за дверь. Возвращается Радамант и садится на своё место.

РАДАМАНТ (*Миносу и Эаку*). Вы представляете! (*Захлёбывается от смеха*) Бог... Бог... О, этот великий добряк подумал так – если я не могу предотвратить катастрофу, то нужно спасти хотя бы праведников! Я же обещал им! (*Закашливается*) И решил он (*смеётся*) переселить праведников в Ад! Пусть там живут вечной жизнью! Вот чудак! Всех депортировал сюда и сколлапсировал вместе со Вселенной! Вроде... договорился... договорился...

Минос и Эак начинают безудержно хохотать.

МИНОС. Ха! Я его даже сейчас уважать начал! Признал-таки наше совершенство! Признал, что верны наши реформы!

ЭАК. И всё ему было известно, что не будет в Аду катастрофы! Всё знал!

РАДАМАНТ. Спасибо бы ему сказать, да некому! Хорош!

Минос и Эак выпивают.

РАДАМАНТ. Всё! Принятие конституции отменяется! Идёмте, идёмте! Наш владыка зовёт нас в свой кабинет праздновать победу!

МИНОС. Пойдём!

Радамант подходит к рубильнику у входной двери, поворачивает рубильник и выходит. Свет гаснет. Сцена поворачивается.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

На сцене – поле, вдали – озеро, на берегу которого двухэтажный дом Северь. Всё пространство поля заполнено праведниками, которые сидят на траве и тревожно разговаривают. Всем на вид около двадцати пяти лет. На сцене появляется Студент и Спутница Северь. Спутница Северь идёт первой, Студент – за ней.

СТУДЕНТ (*Спутнице Северь*). Ты знаешь, где её искать?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Я всегда могу позвонить гиду, который курирует праведников с именами на Б-Е. Если она записана в списках как Беж, то мы её скоро найдём...

СТУДЕНТ. Да, она записана как Беж.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Если не найдёшь с ней общего языка, возвращайся ко мне.

Студент смотрит на Спутницу Северь и молчит.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Уже здесь. (*Подходит к Человеку В Красном комбинезоне, на спине которого написано «БЕ». Человеку В Красном Комбинезоне*) Этот парень ищет девушку по имени Беж. Найдите, пожалуйста, сию минуту! (*Студенту*) Отчество?

СТУДЕНТ. Индиговна...

ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ КОМБИНЕЗОНЕ (*смотрит в список, потом на сидящих перед ним праведников*). ... если никто ещё не забрал её отсюда, то найдём...

СТУДЕНТ. Неужели не бывало случая, когда кого-то искали и не находили?

ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ КОМБИНЕЗОНЕ. Нет, в Ад депортировали абсолютно всех! По факту наличия...

Человек В Красном Комбинезоне продолжает смотреть то в список, то на праведников. Внезапно из толпы выбегает Беж и стремительно направляется к Человеку в Красном Комбинезоне, Спутнице Северь и Студенту. Все трое обращают на это внимание. Студент застывает на месте.



СПУТНИЦА СЕВЕРЬ (*Студенту*). Она?

СТУДЕНТ (*Спутнице Северь*). Она.

Спутница Северь берёт под руку Человека В Красном Комбинезоне и уводит его со сцены. Беж подбегает к Студенту и, остановившись в десяти сантиметрах от него, заглядывает в глаза.

БЕЖ. Это ты?

Студент молча смотрит в глаза Беж. Свет гаснет.

СТУДЕНТ. Я ждал тебя!

БЕЖ. Я пришла!

Звук поцелуев.

СТУДЕНТ. О, чёрт!

БЕЖ. Что случилось?

СТУДЕНТ. Тут кроме нас кто-то есть!

БЕЖ. Кто?

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1 (*с фонариком*). А, вот вы где?!. Надеюсь, вы не забыли? Вы должны быть умерщвлены!

БЕЖ. Меня уже умертвили. В раю. А разве ты ещё жив? (*Подносит руку к груди Студента*) Действительно, у тебя ещё бьётся сердце...

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. Скоро оно остановится.

СТУДЕНТ. И что со мной будет?

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. Станешь таким же как и все. Мёртвым.

БЕЖ. Выходит, ты – единственный живой человек во Вселенной?

Занавес.

ЭПИЛОГ. АД

РАДАМАНТ

ЗАК

МИНОС

СЕКРЕТАРЬ МИНОСА

СТАЛИН

ПЁТР I

МАЗАРИНИ

АТТИЛА

НАПОЛЕОН

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ

ЕВГЕНИЯ КРАСНОЯРОВА

ДЕТИ

СТУДЕНТ

ОХРАННИК

По центру сцены – ракета, направленная носом в зрительный зал. Над сценой плакат – «Ады всех вселенных – соединяйтесь». Справа, за столом – Радамант, Минос, Зак, Аттила, Наполеон, Линкольн, Мазарини, Петр I, Сталин. У двери – Охранник.

РАДАМАНТ (*поднимает руку в сторону зала, вверх*). Там наши братья по разуму и они ждут нас!

АТТИЛА. Теперь я понимаю, где имеет смысл завоёвывать пространства.

ПЁТР I (*Аттиле*). Да тише ты!

СТАЛИН. Мы создадим коалицию адских сверхдержав и будем помогать малым цивилизациям в модернизации их адов!

НАПОЛЕОН. И мы сможем делиться друг с другом разновидностями грехов и усугублять свои познания в достижении коллективного катарсиса!

МАЗАРИНИ. Как хорошо! Как замечательно!

СТАЛИН. Я всегда говорил: всё что ни делается, делается к худшему!

ЛИНКОЛЬН (*Радаманту*). И кто же поедет в первый круиз?

РАДАМАНТ. В круиз поедут наши дипломаты Сергей Главацкий и Евгения Красноярова. После многолетних испытаний, которые они с достоинством выдержали, мы остановились на их кандидатурах. Надеюсь, что они сумеют наладить благоприятные отношения с другими адами...

Появляются Серёжа Главацкий и Женя Красноярова. Сергей Главацкий здоровается за руки с Радамантом, Миносом и Эаком. Евгении Краснояровой Радамант целует руку.

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ (*Радаманту*). Я думаю, мы справимся.
 ЕВГЕНИЯ КРАСНОЯРОВА. У нас богатый опыт пребывания в пограничных ситуациях.
 СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ. Но у нас много багажа. И есть требования.
 ЕВГЕНИЯ КРАСНОЯРОВА. Подарки для туземцев.
 СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ. Пять калькуляторов.
 ЕВГЕНИЯ КРАСНОЯРОВА. Печатную машинку «Ундервуд».
 СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ. И... если мы не вернёмся...
 РАДАМАНТ. Вернётесь, вернётесь. Идите, готовьтесь к полёту.

Серёжа Главацкий и Женя Красноярова уходят за кулисы.

МАЗАРИНИ (*Радаманту*). Другими адами?.. А сколько миров они должны будут посетить в течение первого полёта?

РАДАМАНТ. Четыре ада.

ПЁТР I. А сколько адов откликнулись на наше послание?

РАДАМАНТ. Четыре и откликнулись.

АТТИЛА. Как аукнется, так и откликнется.

ЛИНКОЛЬН. Значит, эти двое посетят все те ады, которые нам уже известны, и нам ничего не останется?

РАДАМАНТ. Я уверен, что существует великое множество адов. И поэтому наши посланники получили задание, по которому они не должны посещать те ады, которых нет среди этих четырёх, если они будут пролетать мимо таковых. Но будут должны записывать координаты этих миров, чтобы следующие смогли посетить их. Кроме того, мы с нашим уважаемым владыкой составили план на пятую пятилетку, согласно которому восемьдесят процентов бюджета Ада будет направлено на космические полёты к другим братьям по разуму, пропаганду среди них светлого будущего и подготовку шгатов по внедрению пропаганды.

АТТИЛА. Опять ничего не понял!

ЛИНКОЛЬН (*Аттиле*). И не поймёшь!

РАДАМАНТ. И не надо. Миссионером тебя и так никто не возьмёт.

АТТИЛА. Чем?

НАПОЛЕОН. Не чем, а кем.

РАДАМАНТ. Следующий полёт рассчитан на два года. Уже строится десятиместный челнок, и его старт произойдёт через девяносто восемь дней. Но не будем терять времени! Пора начинать финальный отсчёт. (*Свистит в свисток. Каждая секунда до самого старта сопровождается кукованием кукушки*) До старта осталось девяносто восемь дней. Нет, не то. До старта осталось две минуты.

На сцену выходят два человека в монашеских рясах и в противогазах. Это всё те же Главацкий и Красноярова. За ними вбегают дети. В руках детей – охапки цветов. Дети подбегают к Главацкому и Краснояровой и дарят им цветы.

ДЕТИ. Это вам! Всего хорошего! Удачи вам!

Главацкий и Красноярова принимают цветы, благодарят детей. Дети убегают за кулисы. На сцену выходит Студент и, посмотрев на Главацкого и Красноярову, останавливается как вкопанный.

СТУДЕНТ (*Миносу*). Это, вообще, кто такие?

МИНОС. Летописцы. Историки. Писатели. Авторы этой пьесы... Приукрасили, конечно, но, в целом, всё правдиво...

СТУДЕНТ. Так-так-так... Авторы этой пьески, значит? (*Главацкому и Краснояровой*) Ну и на кой вы вообще нужны?

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ. Ну, мы, это... Улетаем...

СТУДЕНТ. Вот и чудненько! Вот и чудненько!

ЭАК (*Студенту*). Не смущай наших людей! Они важное государственное задание выполняют. А вот тебе сейчас здесь делать нечего!

СТУДЕНТ. Ладно, ладно... Я просто хотел поинтересоваться, что это за подозрительные незнакомые личности тут ходят...

Студент уходит.

ЕВГЕНИЯ КРАСНОЯРОВА (*Студенту вдогонку*). Передавай привет Беж!

РАДАМАНТ (*Главацкому и Краснояровой*). А у меня для вас хорошая новость! Для вас и всех последу-



ющих космонавтов, в знак уважения к вам, по возвращении с задания, вам будут предоставлены в наследство дома и многоэтажные надельные пространства. Наши архитекторы разработали проект дома, внешне ничем не отличающегося от ракеты, наполовину закопанной в землю. В общем-то, так оно и есть — помимо надземных этажей, в доме будут существовать и подземные этажи. Каждому космонавту достанется такой дом совершенно безвозмездно. Капитану же корабля в подарок достанется именно сама ракета, на которой был совершён полёт. Данная конструкция будет символизировать вечное единство земного Ада и космического Ада. Эти дома будут построены обособленно, на совершенно неосвоенной сегодня территории. Таким образом мы хотим стимулировать развитие субкультуры космонавтов. Так что у вас есть все основания возвращаться домой. Со всеми вытекающими отсюда и, опять-таки, втекающими сюда последствиями.

Главацкий и Красноярова кланяются и неслышно благодарят Радаманта.

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ. Разрешите отбыть?
РАДАМАНТ. Разрешаем. *(Звонит в колокольчик)*

Радамант звонит в колокольчик. Главацкий и Красноярова подходят к ракете, машут рукой залу и заходят в шлюз. Миннос подходит к ракете и задринивает люк. Все выглядят умиротворёнными и одухотворёнными.

РАДАМАНТ. До старта осталась одна минута.
СТАЛИН. Я всегда верил, что человечество рано или поздно придёт к этому.

Свет мягко гаснет.

ГОЛОС. До старта осталось тридцать секунд. 21. 21. 21. 20. 19. 19. 19. Опять 25. 14. 13.

С помощью зажигалки кто-то в темноте поджигает фитиль на ракете. Занавес опускается.

ГОЛОС. 8. 7. 5. 3. 2. 2. 1. 1. 1.

Раздается оглушительный гул. Ракета летит в зал. Зрители сгорают в пламени сопел.

Конец.

«ШКАФ»

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

О ТВОРЧЕСТВЕ ЕВГЕНИЯ ЧИГРИНА

К 50-летию со дня рождения нашего автора

Евгений Чигрин полноправно входит в избранный круг наиболее известных, почитаемых поэтов России начала XXI столетия. Он ведёт свою поэтическую строку от наследия О. Мандельштама, но не подражает ему, а просто следует этой, *неоакмеистической линии*. . . Евгению Чигрину – 50! Ранний период жизни поэта ушёл на то, чтобы вобрать в себя миллионокрасочный, звучный, сложноподчинённый мир. Второй период посвящён выражению этого мира, строительству литературной реальности, творению музыкального по сути, интеллектуального пейзажа.

Чигрин – артист стиха. Его метафоры не просто неожиданны, они звучат на собственной интонационной волне, – как краугольные камни, брошенные в море, – от них – расходятся круги. . . В сочинениях Чигрина есть европейское, *фаустовское стремление к трансгрессии* – море его чувств заливают сушу ментальной логики, его стремится к выходу за пределы, и, выходя, поэт оказывается в богатом элизиме теней своего подсознания, которое исключительно широко культурно организовано. Тонкие нити связывают прихотливые ряды ассоциаций, многие из которых по сути своей экзотичны.

Бывают у него и характерные для определённого цикла образы-понятия. Так, в цикле «Древние вещи» мы встречаемся с разными мелькающими в строках химерами, горгульями и вслед за автором цикла замечаем: «. . . *всё так химерично вокруг: / И туча (плывущая рыба), / и тянувший скотское звук*» . . .

В стихотворении «Слишком много стрелков» есть «жемчужные химеры». И в другом стихотворении цикла химеры предстают барханами близ ослика и верблюда. Да, мир, созданный пером поэта Чигрина, тонко и пронзительно *химеричен*. Ведь химеры – это сущий, случайно уловленный отблеск сопредельного с нашим тонкого мира, где живут развоплощённые души. Миг, мельк, мимолётность прозрения, и – снова сумерки длительности, континуума. Евгению Чигрину свойственна особая, *графичная живописность* и в этой графичности он становится порой «поэтом лунного све-

та». Вслушайтесь! «*Канун весны. Луны защитный лик. / Над головой лампы Семизвездья*». – Или ещё глубже в это ночное, таинственное ощущение – «*Подбираются звери к большому огню / Слушать тёмных людей разговор. . . / В этом свете что хочешь смогу объяснить: / Сновидения, смыслы, холсты / Будто сети, тяну полуночную нить / Стихотворства, иллюзий, мечты. . .*». Именно в приглушённом, вечернем свете читаются душою многосложные «густые» образы Чигрина, читаются его ребристые, тягучие метафоры. У Чигрина большой, страстный, не израсходованный темперамент, стихи его мускулисты, порой ироничны, как правило, медитативны и семантически прихотливы. Что касается их смысла, с одной стороны Чигрин понимает и признаёт страстную, земную, динамическую и демоническую природу большинства поэтических созданий, но, с другой стороны, его тянет к метафизически светлому началу. И тогда лунный свет преображается. В лучах являются тени, пришедшие из гоголевского творчества: «. . . *открою ночь и Гоголя рука над книжным шкафом висит будто. . .*». Гоголевские тени отчётливы и в цикле «Погонщик»: «. . . *где-то ангел / Спешит Хоме на помощь, но / уже горит летальный факел. . .*». Кто, как не персонаж Гоголя, Хома Брут, погибший от взгляда Вия, запечатлён здесь?.. Это к нему летит в стихотворении Чигрина так и не успевший, опоздавший ангел. Вот вам и лунный свет даже в том самом, розановском, значении – люди лунного света у В. Розанова это люди страстей, а какое искусство, а какая поэзия может обрести настоящую, полноценную жизнь без взрывов темперамента, без подводных течений, без тоски по несбывшемуся, без любви?.. В том же полуночном освещении мы слышим рёв и чащобный гул тварного мира – Вот они! – «. . . *Там ловкие сарганы в руки шли, / Как мифы места пахнувшие зверем. . .*». Замечается у Чигрина, в его интенсивных стихах, этот «тварный» мотив, – будто под ним и рождается естественность, лёгкость образных калейдоскопических «скольжений». . . Да, звук зверя, звук природы. Одна из питающих природу стиха Чигрина субстанций –



«Не потому ли музыка слышна, / Что было слева и случилось справа / И человечья пахла тишина, / И шотским переполнилась октава...».

Только ленивый не говорил о богатстве образного мира Чигрина, но в этом причудливом богатстве провидится и определённая бережность к освоенным, прирученным образам. Как стройно и ловко ложатся они в строки! Наверное, это потому, что Чигрин свободно плавает в стихии русского языка, который дарит ему всё новые языковые течения, — регистры, от заниженных, бытовых, до самых высоких (порой завещанных К. Батюшковым). Временами Чигрин использует, в том числе и в «Погонщике» слова, обретенные ещё в его дальневосточный период жизни, на Сахалине. Вот у него в строке появляются птицы-топорки, может вынырнуть из небытия рак-бокoplав или калан — морской бобёр, или птица декуша, или сарган, морская щука — целый многоглавый bestiарий. В этих словах — названиях птиц и рыб — есть что-то первородное, печальное, уходящее, как сама естественность, сама Природа...

Можно было бы написать диссертацию о понятийных формах словарного объёма, которыми пользуется Чигрин, однако, несмотря на всю его неисчерпаемость, мы интуитивно чувствуем, понимаем, что не только в этой широте дело...

Скорее дело в том, что здесь *жива душа ощущающая*, что Чигрин не стал бы поэтом, если бы не острое *чувство Жизни*, которое есть и благословение свыше и проклятие одновременно. Надо очень остро чувствовать, чтобы сказать — *«Уходит век за воротник теней, / Как эскимосы к умершим собакам...»*. Это у Чигрина — *«кастрюльным цветом выкрашен закат»*. И вы сначала не задумываетесь о том, что кастрюльный — это красновато-рыжий, цвет начищенной медной посуды. Это потом, как в древнем мифе, может родиться, возникнуть эффект узнавания... И поэтическая зримость триумфально обретает свои права... Или ещё редкий «неофразеологизм»: *«Цвета последнего вздоха жако — осень»*. Это означает, что перед смертью глаза попугая жако желтеют, обретают жёлто-рыжий цвет, они трагически подобны осени, и осень подобна им...

Творчество поэтическое подсознательно по своей природе, его не всегда можно уличить в разумных посылах, но в рассуждениях поэта есть

маячок стремления к той идеальной сфере духа, которая символизирована образом Гоголя. Гоголь для Чигрина — пророк. Высокая литература — отражает боль мира и более ставит вопросы, чем даёт ответы, — об этом говорилось в интервью на радио «Новая жизнь», где Чигрин в частности сказал, что поэт — это слух, что поэзия для него — *обретение собственной интонации*. Что же касается основных течений в литературе, то архаисты в XIX веке обращались непосредственно к Творцу Вселенной. Их тоже заметил Чигрин, он причисляет архаистов к «белой» литературе, говорит о том, что таким «белым» поэтом был и ранний Б. Чичибабин. Мне кажется, что когда Чигрин повествует о «белой» поэзии прошлого, о высоком значении символистов, Андрея Белого, он имеет ввиду *теургическую поэзию* — обращённую к высшим слоям человеческого сознания. Он эту поэзию знает и, не подражая ей, берёт из неё не столько словарный запас и знания, сколь *ощущение высоты*, Неба над нами... Правда и то, что, по его мнению, поэт-стихотворец — это хранитель языка. Поэт — как поднятый из гренландской глубины срез льда, в котором отразилась, зафиксировалась атмосфера, какой она была сотни, тысячи лет назад... Так стихотворец отражает современный ему слой языка, слой мысли, слой реалий, он его оживляет и дополняет, этот слой во многом определяет его жизнь... На извечный вопрос русской литературы: «Что делать?..» — внезапно заданный журналистом Евгению Чигрину, тот ответил столь же быстро и определённо — «Жить! Если жизнь освещена творчеством, если человек творец, то он живёт полноценно, пусть и не беззаботно и не безмятежно». Прав Чигрин, когда говорит об аристократической природе поэзии, о благородстве самого дара рождения стиха, многие народы современности уже утратили рифмованный стих, которому на смену пришёл верлибр, но русская литература ещё находится в восхождении и рифмованная строфика жива и разнообразна. И одним из мастеров её полноправно остаётся Евгений Чигрин, поэт, путешественник, творческий мир, которые прочно вошли в антологию современной русской литературы. Чигрин поэт притягательный, неожиданный, разнообразный — в этом его сила и корень его популярности и признания.

«ФОНОГРАФ»

СЕРГЕЙ ПОЛИЩУК

КУПЕЛЬ НА ПЛОЩАДИ

главы из романа

часть I

глава XI

Обер-бобер-зубер-за, обер-тур...

Этой дурацкой считалкой, как правило, начинались все наши довоенные игры, когда мы, маленькие чертенята, с утра до вечера прыгали и носились по синеватым туфовым плитам, играя в свои самые любимые игры, в том числе и в войну, но не подозревали даже, как может выглядеть война настоящая.

И что во время такой, настоящей, войны умирают не только на фронте, но и в очереди за водой и за хлебом и просто у себя дома – от разорвавшейся бомбы или снаряда, от дурной, пущенной кем-то наугад, пули. Гибнут, падают искалеченными на улицах и в подворотнях, задыхаются в подвалах своих домов, превращённых в бомбоубежище, засыпанные обломками этих самых домов, истекают кровью в купе вагонов и в каютах пароходов, увозящих в эвакуацию, тонут в море...

Ничего, ровно ничего не знали мы, конечно, обо всём этом.

*Обер-бобер-зубер-за, обер-тур,
Вышла на берег коза, донт кур...*

Когда мы до войны собирались на наши домашние детские праздники, на ёлку или на именины, мы тоже не упускали случая поиграть в какую-нибудь свою любимую игру, и тоже непременно при этом звучала считалка, но с играми чаще всего дело обстояло плохо: под бдительным надзором мамаш, боявшихся, как бы мы чего-нибудь не расколотили, не вымазали кремом пирожного или вареньем, игры наши протекали скучновато, и на смену им неизменно приходило нежно любимое всеми мамашами чтение стихов («Деточка, стань на стульчик и скажи стишок!»).

Тогда первым на стул взбирался какой-нибудь раскормленный розовощёкий балбес, вроде нашего дворового штатного декламатора Осика Цинциллера, типичный зубрила и первый ученик, который не выговаривал к тому же половину согласных букв алфавита, начинал декламировать «Гибель Чапаева»:

Уйял, Уйял, Уйял-йёка...

Показать бы ему, первому ученику, как умирает не то что человек – лошадь! Как она переворачивается на спину совсем как собака, и лёжа на спине, подняв кверху все четыре ноги, конвульсивно и судорож-

Сергей Петрович Полищук (1929-1994) – писатель, член Союза журналистов, член Одесской коллегии адвокатов, автор книг «Ищу человека» (1967), «Купель на площади» (1995), «Записки адвоката» (1995), сборников стихов «Песни рыжего клоуна» (1989) и «Библейские напевы» (1994). Повесть «Ищу человека» – книга о молодых людях, юристах, следователях, пытавшихся в сложном мире 60-х годов строить свою жизнь и свою работу на искренней любви и уважении к людям. Написанный в 1968 году и изданный уже посмертно роман «Купель на площади» – книга об оккупации Одессы в 1941-1944 гг. В сборник стихов «Песни рыжего клоуна» включены стихотворения, написанные с 1976 по 1988 гг. Другой сборник «Библейские напевы» включил в себя стихи, написанные по мотивам библейских книг – Псалтыри, притчей Соломона и Песни Песней. Избранные из стихов, составивших «Библейские напевы», публиковались в восьмом выпуске антологии «Одесские странички», выходящей в рамках альманаха «Меценат и мир» (2011).

Н.С. Полищук



но начинает ими перебирать в воздухе, а потом эти движения становятся всё более медленными, а ещё потом прекращаются вовсе. Животное сваливается на бок. Всё...

Я тоже никогда не видел, как умирают люди – видел только, как издыхают лошади. О смерти говорили каждый день. Я раскрывал удивлённые серьёзные глаза, но думал о павшей лошади или о чинном покойнике в гробу и запахе хвоя... Что такое смерть в поле, в очереди у магазина или на трамвайной остановке, я ещё как следует не мог себе представить и, когда однажды на улице кто-то закричал, что недалеко от нас, у спуска к пляжу, убило женщину, вот так же удивлённо раскрыл глаза, но внезапно вскочил и изо всех сил бросился бежать к пляжу.

Бежал, не помня себя и не отдавая себе отчёта, почему бегу. Кажется, мне было очень страшно.

Был день моего рождения, мне исполнилось тринадцать лет, и меня с утра пришли поздравить несколько соседских ребят и Володя с Лялей. Ляля принесла мне подарок – альбом для рисования. Вручила его с трогательным комизмом:

– Чтобы ты был умный и хороший мальчик! И чтобы всегда рисовал... Чтобы хорошо учился на радость твоим папе и маме... и стал художником...

Ничего в этом мире для неё не изменилось. Войны, всех наших бед и лишений как будто и не было. Не было и самого течения времени.

И я вспомнил, что рассказывали взрослые о Ляле: что до тринадцати лет она росла нормальной девочкой и была для своих лет даже довольно развитой и неглупой, а в тринадцатилетнем возрасте, в том возрасте, в который вступал теперь и я, появились первые признаки болезни, унаследованной от отца. Теперь стараниями моего друга Володечки, сделавшего за это лето немало для моего просвещения, я знал и то, как называется эта болезнь.

О Ляле взрослые говорили часто, жалели её. Говорили: «Девочка не виновата, что отец её был мерзавец...». Но и его тоже жалели, потому что, говорили они, мало ли чего не бывает с человеком в молодости? «Он был молодым!» И понимающе переглядывались...

И вот она пришла. Незлобивая, непомнящая обид, протягивала мне альбом в красивом переплёте и говорила:

– Чтобы ты был умный и хороший мальчик... , чтобы хорошо учился...

Я несколько растерялся: я был растроган и немного пристыжен. На минуту представил себе своего отца – как бы прореагировал он на милый Лялин поступок («Бессовестный вурдалак! И не стыдно тебе перед этой несчастной, над которой ты столько издевался?..»), и мне стало вовсе уже не по себе.

Я угостил моих приятелей шелковицей – единственным, чем мог их тогда угостить, ничего другого у нас уже давно не было, шелковица же росла в саду и даже на улице, и, не дожидаясь их ухода, сел на веранде рисовать в своём новом альбоме.

Рисовал, наверное, лошадей или собак – их я рисовал при каждой представившейся возможности.

Попытался нарисовать Лялю... Не мать моего приятеля Эдьки, в которую ещё два месяца назад, казалось, был влюблён без памяти, и не красивую жену Лукашевича, нет, рисовал маленькую уродливую карлицу с большими бородавками на лице, которую мне, впрочем, не хотелось в тот день видеть такой уродливой, а просто тринадцатилетней девочкой. Было даже, кажется, какое-то сходство. Для верности узнавания, впрочем, под рисунком я написал: «Ляля».

И буквально в этот же момент без сигнала воздушной тревоги, как это тоже не раз бывало, началась артиллерийская стрельба, забили зенитки, и кто-то мимо меня пробежал в «щель», а я, едва успев выскочить во двор, лёг на землю и постарался весь в неё вжаться, потому что всё это происходило буквально в двух шагах от меня. Лежал, однако, недолго: выстрелы как внезапно начались, так и прекратились, и уже после этого дали запоздалый сигнал тревоги, а почти сразу же следом за ним и отбой.

И тогда на улице кто-то громко закричал, что убило женщину, я на секунду похолодел от страха, подумав о матери, хотя и знал, что мать да и вообще все наши женщины дома, а потом вскинулся и выбежал на улицу. За мной бежали Володя и старичок Ланге, бежали, кажется, и люди с других дач.

Я бежал быстро, обогнав несколько незнакомых мне мужчин, как и все, бежал к берегу, но оказавшись в десятке метров от здания «Морских ванн», что у самого спуска к пляжу, остановился.

Возле «Морских ванн» стояла небольшая группа людей, человек пять или шесть, не возле самого этого дома, а чуть поодаль, но все они смотрели на то, что находилось под его стеной, у крыльца. Медленно преодолевая страх, я подошёл к этим людям, дальше я тоже идти не решился, и стал возле них. Смотрел.

Женщина – толстая и бесформенная, как обрубок дерева; такой она мне показалась в первый момент – полусидела на земле, привалилась спиной к крыльцу дома, голова её упала на грудь, а голая нога грязно-жёлтого цвета была как-то неестественно вывернута и торчала почти перпендикулярно телу. Ветер задрал на убитой юбку, и легонько трепал ткань.

И я узнал эту юбку, рыжую и выгоревшую, узнал грубый мужской башмак на ноге убитой и её самое. По одному этому башмаку я узнал бы её, наверное, среди тысячи покойников.

Это была Ляля – тихая и кроткая сумасшедшая, самый разнесчастный и, быть может, самый хороший и добрый человек в мире.

Эту первую человеческую смерть послала мне война, повторяю, в день моего тринадцатилетия. Но, по правде говоря, я был уже намного старше.

часть II

глава I

Это было странное время. По развороченной мостовой одной из центральных городских улиц, по Ришельевской – бывшей улице Ленина – шли, ехали на грузовиках, тащились на повозках люди в непривычного цвета тёмно-зелёной форме с узкими погончиками, в круглых и больших, как тарелки фуражках – «пирожках» и люди в форме оловянно-серого цвета с оловянными же нашивками и пуговицами. Они размахивали руками, коверкая русские слова, спрашивали, как пройти или проехать на ту или иную улицу и, не задерживаясь, следовали дальше.

Горели дома. Среди ночи в таком доме происходил взрыв, и дом начинал пылать факелом. Из горящих домов с искрами и дымом вырывались потоки пламени. Огонь перекидывался и на соседние здания, но его никто не гасил. Люди стояли возле своих горящих домов, своего убогого скарба, тех нескольких стульев, нескольких узлов с вещами, которые ещё удалось спасти, и смотрели, как огонь метр за метром пожирает всё здание. Красные, как дно кратера, проёмы окон выдыхали копоть и жар – люди переходили на другую сторону улицы, где было не так жарко, и смотрели оттуда. В окне верхнего этажа они видели какой-то предмет, напоминающий мужское пальто, но очень яркий – ярче, чем самое ярко-красное поле окна, – и почему-то всё время будто бы плывущий то в одну, то в другую сторону, и строили догадки: пальто это или не пальто? Если пальто, то почему оно не сгорело?.. Это было не пальто – это был раскалившийся добела кусок кровельного железа, он зацепился за какую-то проволоку и раскачивался на ней, а все оставшиеся в квартире пальто и другие вещи, конечно же, давно сгорели.

Дни стояли пасмурные – унылые пасмурные дни, но дождя не было, дождь не мешал пожарам. Им вообще ничто не мешало. На перекрёстке двух улиц, улицы Ленина и Розы Люксембург, возле охваченного пламенем здания детского универмага, приземистый плотный человек в оловянного цвета немецком военном мундире и с красно-белой нарукавной повязкой с изображением свастики – точь-в-точь такой, какими их изображали в журнале «Крокодил», – в совершенно невероятных штанах-галифе с кожаной задницей, самодовольно объяснял двум-трём стоявшим возле него жителям города, что «Москва ист унгешлессен! Ленинград ист унгешлессен!». Своё «унгешлессен» (окружена, окружён) он повторял раз за разом и при этом явно любовался собой, а те двое или трое смотрели на него, такого типичного, и молча слушали...

Это было время самых неожиданных явлений. На стене дома ещё висел плакат, призывавший защищать город, а на воротах – литографский цветной портрет бывшего российского императора, такой свеженький, как будто он не пролежал более двадцати лет на дне какого-нибудь сундука, а лишь вчера был выпущен типографией и пах свежей краской.

Возле сгоревшей школы лежал труп женщины. Он лежал несколько дней, но его никто не убирал. Постепенно лицо трупа менялось. Сначала исчезли губы, потом подбородок и вся нижняя часть лица – женщина смотрела на мир одними огромными белыми зубами, а собаки, которые по ночам объедали её лицо, делали, должно быть, это спокойно и методично, потому что им тоже никто не мешал. Как и огню, пожиравшему дома...

А дома всё продолжали гореть. Пожары возникали среди ночи, когда люди спали, и огонь почти сразу же охватывал всё здание.

Сожжённые дома распространяли сладковатое удушливое зловоние. Зловоние распространял труп. По улицам ходили (пробегали, точнее говоря) люди, проезжали в машинах и на повозках, но все они были сами по себе; а труп – сам по себе, друг к другу они не имели никакого отношения...

Проверяли паспорта. Солдаты в зелёном останавливали на перекрёстках улиц редких прохожих, требовали предъявить паспорт, а просмотрев его, возвращали. Или не возвращали – приказывали человеку стать чуть в сторону и проверяли у следующего. Проверяли и узлы с вещами, и котомки, которые после этого становились намного легче.

Молчали. Это были самые молчаливые дни за всё время, что я знал наш город. Молчали люди, стоявшие возле горящих домов, и люди, слушавшие немецкого офицера или предъявлявшие паспорта румынским сержантам. Молчал труп женщины... И даже орудия замолчали, казалось бы, раз и навсегда, потому что война как бы одновременно и откатилась далеко от города и вошла в самое его сердце. Говорили только люди в формах зелёного цвета или оловянно-серого цвета, но и они пока главным образом интересовались, как пройти или проехать на ту или иную улицу, а получив ответ, замолкали.

На базаре меняли вещи. Вещи – на продукты и продукты – на вещи. Новую мужскую сорочку – на несколько килограммов картофеля, банку топлёного говяжьего жира – на дюжину серебряных чайных ложек... И ещё всякие другие предметы: самовары, патефоны, швейные машины («Ах, как жаль швейную машинку “Зингер”! Ещё бабушкину! Он мне за неё, подлец, полсвиньи отдал, а свинья-то ведь не свинья, а хряк! от как они нас!»), но и обмен, как правило, проходил вяло: одни боялись продешевить, другие расстаться с последним. И все, кроме того, боялись друг друга, а ещё больше солдат, которые могли неожиданно появиться и отобрать вообще всё, не говоря ни слова.

Потому что нормальные законы человеческого общежития внезапно перестали существовать, как если бы их и вообще никогда не было. Люди вспоминали о человеческих законах, как о чём-то невероятном и даже не жалели о них: разве же можно жалеть о том, чего нет в природе?..



Прошёл страшный слух. Рассказывали, что в пороховых складах на Люстдорфской дороге людей сжигали живьём. Называли цифры – две тысячи человек, потом ещё и ещё больше... Их будто бы пригнали откуда-то из Бессарабии, загнали в эти склады, а потом привезли бочки с бензином и бензин, предварительно разворотив крыши складов, накачивали туда насосами и поджигали...

Не верили. Разве же возможно такое? Может быть, ничего такого не было, не было и самих этих складов?

На улице увидели военного священника. До сих пор никто не думал, что бывают военные священники... А он между тем шёл по улице, представительный, благообразного вида немолодой человек в рясе и с капитанскими на плечах погончиками – три поперечных медных полоски, вежливо спрашивал, как пройти на какую-то улицу, и благодарил, отдавая честь... Военный священник! Это было совсем уж что-то невообразимое – ещё более невообразимое, чем военные повозки «каруць», военные фуражки – «тарелки» и изящные тонкие палочки «стэки», которыми одни военные били по лицу других... Это была мистика! Город начинал привыкать к мистике.

Город серый, пасмурный и казавшийся мёртвым. Город горящих зданий и молчаливых людей. Город трупов, вынутых из сундуков царей, военных священников, город котомок и узлов, и больших белых крестов, выведенных мелом на всех воротах и означающих, что в доме живут одни христиане... И ещё – душающего сладковатого зловония, от которого некуда было деваться... И гари, гари...

И опять – слухи. Дикие, невероятные... Слухи о людях, в первые же дни оккупации повешенных на Алексеевском и Михайловском базарчиках (говорили, что это – коммунисты и комсомолыцы), и о двух женщинах – еврейках, которых немецкие солдаты схватили на Привозе и тут же расстреляли, а трупы бросили в урну для мусора... То о мальчишках с Разумовской, которые не были комсомольцами, не были евреями, но которые чем-то тоже не понравились немецкому патрулю и их тоже схватили на улице, однако не расстреляли, а поволокли якобы к зданию зверинца, к клеткам с изголодавшимися, давно не кормленными зверями...

Не верилось, укладывалось в голове, в нормальном человеческом сознании, что такое вообще может произойти, как не представлялось реальностью и всё прочее, происходившее тогда в городе, да и сам этот город, казавшийся каким-то иллюзорным, несуществующим.

Город, который как бы перестал быть...

И вдруг это кажущееся небытие разорвал такой чудовищной силы взрыв, что подскочили дома и из окон повывлетали стёкла. Он произошёл рано утром седьмого ноября, в день двадцать третьей годовщины Октябрьской революции, когда партизаны пустили на воздух здание бывшего клуба работников НКВД на Маразлиевской, а вместе с ним на воздух взлетели и многие высокопоставленные чиновники и представители высшего румынского офицерства, собравшиеся на какое-то совещание. Говорят, взрыв предназначался прежде всего для маршала Румынии Иона Антонеску, который, однако, опоздал ровно на пятнадцать минут, что его и спасло...

И опять шёпотом назывались цифры. Опять вспоминались пороховые склады, в которые раньше не очень-то верили, вспоминались люди, повешенные на Алексеевском и Михайловском базарчиках, и мальчишки, растерзанные в зоопарке. И теперь уже прямо говорили, что всё это было... Всё-всё!.. И это – за них...

И начались облавы. И появилось слово «заложник». Заложники – люди и заложники – дома: за каждого убитого военного – жильцы четырёх домов, вблизи которых он был убит...

Забегали, заматались люди в военных формах и в обычных демисезонных пальто или в плащах с нарукавными повязками со словами «Poljsia», застучали ночные выстрелы...

Если ещё неделю тому назад были потрясены рассказами о трёх повешенных в Алексеевском садике (их повесили на второй день оккупации, старика по фамилии Лысенко, как указывалось в табличке на его груди, и двух других, которых он прятал в своём доме; на них, рассказывали люди, донёс сосед-немец, и всех их предварительно зверски избили; шестилетняя внучка Лысенко, стоя на коленях, кричала: «Не убивайте дедушку!»), то теперь в том же садике уже казнили разом более двухсот пятидесяти человек, выгашенных из своих домов или схваченных прямо на улице. Заложников!

Расстреливали из пулемётов, добивали лопатами...

На стенах домов – приказы. В них требуют, предупреждают, угрожают. Угрожают все: командующий немецкими оккупационными войсками и командующий войсками румынскими (корпусный генерал). Комендант города и военный прокурор. И даже следователь военной прокуратуры полковник Барбу Думеску...

Один приказ – на исковерканном украинском языке, и висит он на дверях квартиры, где живут наши знакомые немцы Кайзеры. С Юркой Кайзером я учился до войны в одном классе. Читаю приказ:

*В цьому домі живуть німці. Якщо хтось
посміє спокуситися на їх власність,
добро буде розстріляний*

А вот так и напечатано: «добро буде розстріляний», без запятой, так я это и читаю. Перечитываю ещё и ещё раз и не могу понять, как это «добро» можно расстрелять человека (доброжелательно, что ли?), но понимаю всё-таки весь чудовищный смысл этого объявления. С Юркой Кайзером недавно ещё я вместе бегал по улице, частенько с ним ссорился из-за какой-нибудь найденной пуговицы или стек-



ляшки. Так, значит, если бы теперь я вздумал эту стекляшку забрать себе, я должен быть «добро розстріляний»?..

И звучат новые взрывы. Ими жители города отвечают на расстрелы, массовые сожжения на Люстдорфской дороге, угрозы с запятыми и без запятых...

часть II

глава IV

В один из этих дней отец Геночки Пётр Петрович, который, несмотря ни на что, продолжал ходить в свою клинику детских инфекционных болезней, почти сразу же вернулся домой, но дома не стал ничего объяснять, а направился во вторую, внутреннюю, комнату и долго там сидел, не раздеваясь. Потом он всё же разделся, взял кусок фанеры и молоток и пошёл на кухню заделывать оконную раму, из которой накануне вылетело стекло. Заделывал очень старательно, но неумело. Мы с Геночкой ему помогали.

... Большая квартира Петрушкиных на Базарной, куда мы переехали, возвратясь с дачи, была наполнена огромным количеством самых удивительных вещей; от старинных фарфоровых трубок для курения кальяна, бронзовых каминных часов, секстантов, барометров и ярко раскрашенных фаянсовых божков из Японии, лицами и фигурой напоминающих одесских торговков рыбой, от чучела австралийского древесного медведя коала и скелетов каких-то рыб до огромного старинного пистолета с инструкцией по металлу и с надписью: «Другу моему и целителю Пете Петрушкину в день его рождения 14 сентября 1924 года от благодарного Г. Котовского».

Все эти вещи, подаренные Петру Петровичу или купленные и привезённые им из разных стран, даже с разных континентов, когда он был судебным врачом, занимали в квартире все шкафы и этажерки, висели на всех стенах. Но ещё больше места занимали книги. Здесь их было несравненно больше, чем даже в нашей довоенной квартире. Нескончаемые стеллажи с книгами по медицине, истории, искусству и, бог знает, по чему ещё тянулись вдоль стен всех комнат и коридоров, причём чуть ли не каждая книга имела свою историю; а Геночка, это мудрёное дитя, знавшее, кажется, всё на свете, часами мог о них рассказывать, гордый своим необыкновенным отцом.

А так как мне всегда бывало немного обидно, если при мне хвалили кого-нибудь другого, кроме моего отца, я сейчас же начинал врать, что и у нас до войны, до того, как нас разбомбило, было всё то же самое.

– Всё, всё? – спрашивал Геночка.

– Ещё больше! – отвечал я.

– И трубки, чтобы курить кальян?

– И трубки.

– И ватерпас?

Я не знал, что такое ватерпас и что из него курят, но на всякий случай уверял, что ватерпас у нас тоже был – из него курил мой покойный прадед, запорожский казак, – после чего Геночка начинал радостно хохотать и хлопать в ладоши:

– Врунщик! Врунщик! Не знает даже, что такое ватерпас, а ещё хвастается...

После этого спор можно было уже решить только с помощью кулаков. Мы так и разрешали его – естественное в то время завершение многих наших споров, с той, однако, разницей, что эти происходили вблизи экзотических томагавков, одухотворённых Нефертити или отупевших от сытости и лени японских божков. Божок падал на пол и с грохотом разбивался.

И тогда перед нами, ползающими по полу на коленях среди обломков разбитого божка, появлялся сам Пётр Петрович, которого привлекал поднятый нами шум. Он испуганно бросался к нам: не поранились ли? «Ну-ка, ну-ка, покажитесь! Нигде не порезались?». И только после этого тоже начинал собирать обломки своего божка. Жалел его:

– А божок-то был всё-таки ничего, славный божок... И, главное, совершенно безобидный... Напрасно вы его так... Время, конечно, сокрушает всяких божков, и больших и малых, – продолжал он, рассматривая обломки, – но этот мог бы ещё пожить. Это был божок послеобеденной разморенности, божок довольства. А вы его уничтожили... Вы поступили, как настоящие варвары... как люди, впрочем...

Он – высокий и худощавый, с добрым, но некрасивым асимметричным лицом и большими руками, которые словно бы и не знает, куда деть.

Когда он надевает пальто, то застёгивает его всегда не на ту пуговицу, а потом с недоумением, с виноватой улыбкой смотрит на жену, вынужденную прийти ему на помощь. Стоит, широко разведя руки: «Я, кажется, что-то опять напутал?». А когда поранит руку – это первое, что он делает, взявшись за молоток или любой другой инструмент – то уже и вовсе не может прийти в себя от изумления. «Кровь? – говорит он. И чего бы это у меня на руке могла появиться кровь, её же не было?..»

И опять-таки стоит с широко разведёнными руками, озадаченно их разглядывая.

Жена сердится: «Недотёпа, самый настоящий недотёпа, ничего толком не умеет сделать!» – и Пётр Петрович соглашается: «Действительно, недотёпа!». Он наклоняется, виновато целует ей руку, и она, краснея от удовольствия, отходит в сторону, чтобы ещё раз взглянуть на него, но уже издали. Смотрит с гордостью, с обожанием гимназистки на своего такого необыкновенного и единственного в мире: как он стоит, всё ещё озадаченно разглядывая подраненную руку, стоит в злополучном своём



пальто, успевшем уже съехать на бок, в каком-то невероятном, оранжевого цвета, шарфе, потому что все шарфы и галстуки он покупает себе сам. И уж тут никто не может возразить ему ни полсловом, Впрочем, как и в том, что касается его суждений врача, тут он становится прямо-таки неустойчивым. И она, должно быть, рада, что он вот у неё такой, немножко ребёнок и немножечко одержимый и ещё одновременно такой на редкость беспомощный, а сама она, видная, красивая женщина с большими бархатными глазами и высоким, чуть выпуклым лбом, может быть при нём не только женой, но и его секретарём, и даже нянькой, с готовностью выполняющей всё, что ему понадобится.

А ему, собственно, что нужно от неё да и от всех вообще людей, тем более в самые последние годы? Чтобы тишина в доме, давали бы работать – писать первую, а потом и вторую часть главного труда его жизни «Токсоплазмоз мозга у детей и подростков». Тишина да ещё чай в подстаканнике. Но главное – всё-таки тишина. Потому что нужная мысль, она, конечно, может прийти и на улице, и где угодно, но важно всё-таки, чтобы было тихо, чтобы, когда человек работает за своим письменным столом, вокруг была такая тишина, как если бы все вдруг вообще перестали существовать.

Когда Пётр Петрович сидит за своим письменным столом и работает, он мало похож на того добродушного, немного чудаковатого, растерянного дядю Петю, который поранил палец. Он хмурится, выражение лица у него сосредоточенное и даже жёсткое, руки беспрерывно перебегают с одного предмета на другой. Они всё время в движении, эти его большие жилистые руки, вдруг ставшие такими же незнакомыми, как и его лицо: ловко, непринуждённо, быстро они что-то записывают или рисуют, листают страницы рукописи, теребят чайную ложечку в стакане... работают... И для этого нужна абсолютная тишина в квартире и нужен чай! Чай желательнее, чтобы был покрепче...

Ещё одна маленькая деталь. Разносчики токсоплазмоза – коты, и котов надо уничтожать безжалостно, как утверждает Пётр Петрович теоретически. Но в квартире у Петрушкиных есть кот по имени Мисаил, наглое развешеее существо, хотя и на редкость красивое, с огромным лисьим хвостом и нежной мордой, к тому же совершенно безразличное ко всему на свете, в том числе и к рыбе, которую для него до войны специально покупали на базаре и варили. Глядя, бывало, на обнаглевшего кота, как он по утрам меланхолически отворачивает морду от тарелки с рыбой, Пётр Петрович возмущался: «Совершенно развратили животное! Он уже и рыбы не хочет, безобразия какое-то!..» Забывал только, что час или два назад кот уже кормили и делал это он сам. В шесть часов утра, когда Пётр Петрович вставал, чтобы перед тем, как пойти в больницу, часок-другой поработать над своей книгой, вставал и кот. И хриплым противным криком настоятельно требовал к себе внимания. Насытившись, он опять спал. Спал сладко, свернувшись клубком на письменном столе, где создавался главный труд жизни его хозяина – знаменитый «Токсоплазмоз», часть вторая «Клиника и лечение».

Когда я смотрел, бывало, как работает Пётр Петрович, сидя за своим письменным столом (смотрел, Впрочем, только с порога – входить в это время в комнату, кроме кота, никто не смел), я поневоле думал о своём отце, к которому с таким вот благоговением в нашем доме всё-таки никогда не относились, и мне становилось немножко досадно за него. Сколько мелких ненужных споров навязывала ему подчас мать с её всегдашней уверенностью в своей правоте, в незыблемости её маленьких житейских истин!

«Лена возле своего гениального Пети, по-моему, уже совсем с ума сошла! – замечала она иной раз, возвращаясь от сестры и беседуя с моим отцом или бабушкой. – Танцует возле него, прямо как возле ребёнка. Не понимаю такой любви...». И, по-видимому, она действительно не понимала этого (тем более, что и красавцем Пётр Петрович никак не мог быть назван, и был чуть ли не на двадцать лет старше своей жены; когда началась война, ему уже шёл пятьдесят второй год), не понимала, но, по-моему, именно из-за этого непонимания немного и завидовала своей младшей сестре, такой безмерно счастливой, какой, наверное, никогда не была сама.

...И вот теперь мы все, включая сюда и кота и нашего пса Джерика, перебрались в квартиру на Ришельевской улице. Пустых квартир в городе сколько угодно, в какую хочешь, в ту и вселяйся, но везде одинаково холодно.

В квартире на Ришельевской холодно и пусто, как в склепе. Это огромная квартира, из восьми или девяти комнат, мы заняли из них две, но фактически живём только в одной, в меньшей, а все остальные пока вообще пустуют. В них гуляет ветер, хлопая оконными форточками и завывая в дымоходах. Когда мы с Геночкой остаёмся одни, я пугаю его домовыми, а Геночка говорит, что домовых не бывает, но слегка бледнеет.

Но самое страшное – это всё-таки когда по утрам нужно вскакивать из разогретой постели. В комнате так холодно, что высунуть нос из-под одеяла и то страшно. Но нужно вставать. Нужно, пока наши матери вернутся с базара, куда они пошли менять вещи, помочь Петру Петровичу распилить и расколоть кухонный стол, побежать в соседний двор, чтобы встать в очередь к колодцу, да мало ли для чего ещё. Для того, чтобы идти чистить картошку для солдатской кухни, тоже нужно. Это наш быт, наша повседневная действительность. И если среди корзины картофельных очисток, которые нам дают как вознаграждение за работу, нам удаётся спрятать несколько целых картофелин, мы безмерно счастливы. Мы не думаем, что это – воровство. Все морально-этические правила, в которых мы воспитаны, – все они сейчас лишились всякого смысла. Есть жизнь, очень холодная и голодная. И есть картошка. Украсть эту картошку, а потом сварить или испечь в золе и съесть – морально и безусловно полезно...

Но я опять хочу возвратиться к тому дню, когда Пётр Петрович пришёл утром из больницы сам не свой, а потом отправился на кухню вставлять фанеру в оконную форточку. Пётр Петрович по обык-

новению поранил руку, но на этот раз даже не заметил на ней крови. Не обратила на неё внимания и тётка, всё время наблюдавшая за мужем. Когда Пётр Петрович отошёл от окна, она спросила: «Что-нибудь в больнице?». Пётр Петрович ответил кратко и не глядя ей в лицо: «Я больше там не нужен». И уже некоторое время спустя добавил, но так, словно бы разговаривал с самим собой: «Эту надпись на воротах написал, наверное, просто какой-нибудь мерзавец, но почему меня не узнал наш сторож?..».

День был пасмурный. Из окна, которое пришлось открыть, когда вставляли фанеру, шёл сырой и холодный уличный воздух, и где-то поблизости, видимо, опять горел дом, потому что вместе с этим воздухом в кухню входил и запах дыма.

В дверь чёрного хода постучали. Вошедший, сосед с третьего этажа, теперь он у нас кто-то вроде общественного уполномоченного, широко перекрестился на правый угол кухни, где могла бы висеть икона, и объявил, что Пётр Петрович должен идти убирать дворовую уборную.

— Именно уборную? — уточнила тётка, вкладывая в свой вопрос всю ту ненависть, на которую была способна. — Никакой другой работы по двору для доктора у вас не нашлось!

Сосед ничего не ответил, снова широко перекрестился на правый угол и вышел. Когда за ним захлопнулась дверь, тётка сказала:

— Ты никуда не пойдёшь, я сама пойду, если им это нужно.

— Не говори глупостей! — возразил ей Пётр Петрович. — Ты прекрасно понимаешь, что им нужно, чтобы это был я. И я доставлю им это удовольствие...

Он поправил на шее галстук, надел шляпу и пальто, причём на этот раз сам очень аккуратно его и натянул на себя и застегнул на нём пуговицы, осмотрел даже себя в зеркале: всё ли на нём сидит, как следует, и тоже вышел, но через несколько секунд вернулся и, вместо шляпы, надел на голову хрустящий врачебный колпак, а поверх пальто набросил белый халат врача.

Вот так шёл по двору, в колпаке и в халате, шёл неторопливо, полный достоинства, как на утренний врачебный обход своего отделения, не обращая никакого внимания на уполномоченного и нескольких других жильцов, наблюдавших за ним из окон и с порогов квартир.

Когда тётка увидела через окно, как он проходит по двору, она заплакала.

часть II

глава VIII

Мы сидим с Геночкой в нашей огромной квартире, такой огромной после того, как почти всю мебель из неё сожгли в печке, — обе наши матери ушли по своим делам: одна в тюрьму с передачей, другая на базар менять вещи (их в квартире также осталось весьма немного, как и мебели), а мы сидим, пытаясь раздуть огонь в «казанке», где в общем-то горит всё, кроме земли.

Земля не горит. А у нас, именно земля, хотя и чёрного, угольного цвета. Смешанная с водой, она шипит на разожжённых щепках и гасит огонь. Из казанка валит густой едкий дым, наполняя обе комнаты.

Мы дуем в поддувало. Сначала я, потом Геночка. Потом опять я: мне кажется, что я это делаю более квалифицированно, но щепки под мокрой землёй не хотят разгораться и у меня. Бабушка тоже сидит с нами у казанка, хотя в разжигании его участия не принимает. Она считает, что мы делаем что-то не так; в одной приличной семье, говорит она, её учили, что щепки нужно периодически немного поливать керосином. Это, конечно, прекрасная идея, но керосина у нас тоже нет. У нас есть земля, есть лёгкие и громадное желание разжечь эту землю, которая вопреки всем законам существования неорганической материи всё-таки должна гореть. И она загорается — вопреки этим самым законам. Сначала едва заметно краснея по краям и превращаясь в твёрдую непробиваемую «шапку», потом выбрасывая на поверхность этой шапки маленькие треугольные синие огоньки, которые появляются, исчезают, снова появляются, начинают перебегать с места на место, очень юркие, но такие ненадёжные, хилые... Бабушка держит руки над едва начинающим оживать казанком и говорит, что в приличных семьях «казанки» разжигают именно таким образом...

Греется наш «казанок». Чадит, пованивает. Никогда ему не обогреть такой квартиры, как наша, где в окнах вместо стёкол фанера, а между ней и рамами — щели величиной в палец. Но всё-таки немного тепла он даёт. «На огонёк» заходит наша соседка Екатерина Васильевна.

Екатерина Васильевна да её дочь Аля — наши пока единственные в квартире соседи, а с недавнего времени это и солидный сорокалетний румынский чиновник или офицер, их квартирант. О нём Екатерина Васильевна говорит почтительно, что он работает в политической полиции, в «сигуранце», но за глаза фамильярно называет его просто Константином и даёт понять, что именно она, а не дочь, пользуется его особым доверием.

В общем, у нас за стеной появилась довольно странная и опасная семья, нам бы перебраться куда-нибудь в другой конец города, но делать этого в нашем положении, конечно, нельзя. Так вот мы пока и живём и терпим их, особенно же самое Екатерину Васильевну, забегающую к нам по двадцать раз на день то за одним, то за другим, но главное, для того, чтобы поговорить с нашей бабкой на какую-нибудь животрепещущую, волнующую обеих тему.

— Екатерина Васильевна, честь и место! — говорит бабка и пододвигает для неё стул поближе к «казанку».

Екатерина Васильевна садится, она, как и бабка, протягивает руки над «казанком» и с состраданием смотрит на двух «несчастных сироток», меня и Геночку, вынужденных страдать по вине своих преступ-



ных отцов... О моём отце, который сейчас на фронте, она упоминает редко – его она не знала. Но знала Петра Петровича, знала его ещё до того, как стала близким лицом высокопоставленного румынского полицейского деятеля, и я помню, с каким подобострастием она с ним разговаривала вначале, когда в её глазах он ещё был известным в городе врачом, а не просто евреем, человеком, лишённым всех гражданских и человеческих прав. Теперь она вообще о нём не упоминает, но о чём бы она ни говорила (а говорит она, конечно, о злодействах большевиков и евреев – это сегодня самая актуальная тема, об этом пишут и все газеты), я всегда улавливаю нотки глухой и злобной мести именно ему, Петру Петровичу, словно именно он в чём-то перед ней виноват и она мстит ему за это.

Ах, как я безгранично, всеми фибрами своей детской души ненавижу эту женщину! Ненавижу и её мерзко-скрипучий голос, и наруганные дряблые щёки – каждую деталь её существа и всю её в целом. Как мне хочется залить этот наш проклятый «казанок» водой, чтобы он больше не грел и не давал ей тепла. Пусть бы погас, и замёрзли мы все, пусть бы отравил нас всех своей удушливой вонью...

Но я не гашу «казанка», не делаю и десятка других вещей, которые подсказывает мне моя фантазия.

– Екатерина Васильевна, честь и место! – повторяет бабка, любительница звучных выражений старого времени, но в общем человек незлой и наивный, который, безусловно, верит всем излияниям Екатерины Васильевны и на которого её связи к тому же производят непередаваемое впечатление. – Что новенького, Екатерина Васильевна, голубушка?

Екатерина Васильевна усаживается поудобнее, протягивает над «казанком» руки и скромно, но в то же время с сознанием хорошо выполненного долга начинает рассказывать, как ездила вчера с чинами полиции реквизируют обстановку в квартире профессора такого-то. «Профессора!» – подчёркивает она опять-таки скромно, но так, будто и на неё при этом перешла часть профессорского авторитета.

Бабка потрясена:

– Неужели профессора?!

Иногда, впрочем, Екатерину Васильевну заносит. Тогда среди своих заслуг перед человечеством она может упомянуть о том, что в своё время «сдала» в ГПУ собственного мужа, бывшего белого офицера. Причём беднягу-бабушку в таких случаях прямо-таки шарахает и она спешит сделать непонимающий вид и переменить тему, а Геночка и действительно ничего не понимает и спрашивает: «Как это “сдать”?».

– Как калоши, – объясняю я. – Сдавал когда-нибудь старые калоши в утильсырьё? Ну, такая ещё подвода до войны ездила, с бумажными флажками для детей, со звёздочками... Ты им – калоши, они тебе – звёздочку или флажок. Понял?

Мы с Геночкой сидим у нашего «казанка» и «жарим» на воде картошку, а бабушка смотрит, как мы это делаем и рассказывает нам о том, как она всегда-всегда любила простой народ за его ум и смекалистость, а особенно, оказывается, какого-то Абрума, который служил у её отца и ездил в Париж продавать овец. Он там их продавал чуть ли не по три тысячи сразу, а, когда ехал из Парижа назад и вёз с собой деньги, тоже чуть ли не целый мешок, то всегда так наедался чеснока, что ни один вор не решался войти в купе поезда, где он сидел.

– Ха-ха-ха, – говорит бабушка, – ни один, деточка, вор! Честные, впрочем, тоже, наверное, не решались, – добавляет она для справедливости.

Она поглядывает на нашу картошку, на то, как мы время от времени подливаем на сковородку немного воды и говорит, что мы – просто способные дети, необыкновенно способные, причём от рождения. Сама же она, бабушка, ни к чему подобному не способна, и только поэтому, из-за отсутствия природных способностей, за свою жизнь ни одной картофелины не изжарила и не сварила. Араньше она обычно объясняла это тем, что она – «не кто-нибудь, не что-нибудь и не какая-то сволочь». Или даже: «не какая-то Рухля Срульевна!», бывало и так...

Нашу так называемую «жареную» картошку мы готовили для завтрашней передачи Петру Петровичу. Но, конечно, дадим её попробовать и всем остальным тоже. Бабушка, предвкушая удовольствие, говорит: «Нет, вы, конечно очень способные дети, удивительно способные!». И добавляет: «А все эти румынские сигуранцы – пусть они все передохнут!».

Но это последнее, конечно, если нет в комнате Екатерины Васильевны и в зависимости от степени голодности.

Удивительный, необыкновенный человек эта наша бабка! Круг интересов её широк, как и круг знакомств, перечень знаний бесконечен да и не столь уж они никчёмны, как это может показаться на первый взгляд.

За всю жизнь бабушка ни разу не сварила картошки, не добилась (да и не добивалась, наверное) приёма у управдома, чтобы ей починили туалет или кран на кухне. А вот аудиенции у светлейшего князя Георгия Георгиевича Ширвашидзе, он к тому же был морганатический супруг вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, она, бабка в тысяча девятьсот двенадцатом году, когда в поезде налётчиками был убит её муж, чиновник судебного ведомства, и встал вопрос о пенсии, добилась-таки. И аудиен-

ции, и самого пенсионера, а заодно и устройства детей на казённый счёт в лучшие привилегированные учебные заведения России. И всё это, если ей верить, заняло не больше времени, чем занял бы, наверное, визит к управдому. А почему, собственно, оно и должно было быть иначе? Да, конечно, «светлейший», конечно, «морганатический», но ведь она, наша бабка, «не кто-нибудь», тем более тридцать лет назад, когда была молода и чертовски-таки не дурна собой. . .

И вот теперь ещё, оказывается, наша бабка – жертва советской власти, поскольку муж её был расстрелян большевиками, находясь, можно сказать, на боевом посту и защищая государя, отечество и веру. Мои скромные возражения по этому поводу: не большевиками, мол, а бандитами («А что, деточка, одно и то же!»), не на посту, а по дороге к имениннице, что мне известно от самой же бабушки, – всё это, как видно из сказанного, в расчёт не принимается. Она даже не понимает, о чём это я вообще говорю.

Раньше, до войны, бабушка говорила: «Я – толстовка! Лев Николаевич Толстой обожал простой народ» и советовала малограмотному пятидесятилетнему рыбаку и пьянице Терентьичу на даче, где мы жили, начать самообразование с чтения «Анны Карениной»: «Не сомневаюсь даже, голубчик, что вам понравится. Превосходная вещь!». Теперь же она всё чаще любит вспоминать, кем была в прежние времена, и отождествлять себя с теми, кого последние события вынесли на гребень волны.

Она бежит в гости к немцам Кайзерам и Адамсонам, к старухе Мышенковой. Зачем она это делает? Нам жаль её, мы ведь знаем, что там над ней, скорее всего, просто смеются. Ну, что им наша бабка, выжившая из ума и всегда голодная?.. Но бабке не сидится дома, её с утра уже будто что-то подмывает и несёт, несёт. А потом она возвращается домой ещё более голодная и заочневшая, но не перестаёт восхищаться и домом, в котором побывала, и тем, как теперь живут его хозяева.

– У Мышенковых – превосходное новое пианино, сообщает она нам ещё с порога.

– Украли! – замечаю я, повергнув бабку в некоторое замешательство.

– Греточка Адамсон купила превосходные фетровые ботинки.

– Сняла с убитой еврейки!

Я, конечно, плохой ребёнок, испорченный до мозга костей системой советского воспитания и советской школой. В прежние времена меня попросту выпороли бы дома, а из гимназии, скорее всего, исключили бы с «волчьим билетом». В прежние времена была такая превосходная вещь, как «волчий» билет: ученик, которого с подобным билетом выгоняли из гимназии, не мог уже никуда поступить учиться. Дайте срок, всё-всё это будет и теперь, есть уже на этот счёт верные сведенья. . .

В последнее время бабка стала посещать различные церковные благотворительные организации, общегородскую столовую общественного призрения, где умирающим от голода старикам и старухам из «бывших» раз в день наливают по черпаку горячей пустой похлёбки, и где она, наша бабка, будто бы очень важное лицо. Столовую посещают «приличные пожилые дамы», а она ими предводительствует, делая замечания «девушкам-подавальщицам» («Это вам, деточка, не советская власть!») и похваливая своей родословной, подлинными и мнимыми заслугами своего покойного мужа. Словом, круг бабкиных знакомств, а следовательно, и её осведомлённость достаточно широки и о том, что для таких, как я, в скором времени будут введены и телесные наказания, и карцеры, ей известно доподлинно.

Бабушка ещё говорит что-то о новых ботинках Греточки Адамсон, о порядках в новых гимназиях, которые вот-вот должны открыться, но даёт понять, что грозит это неприятностями мне одному; Геночке же (он тихоня и её любимец) они должны принести одни только радости.

– Бабушка, – внезапно прерывает он поток бабкиных словес, – но ведь это же подло?

– Что подло? – бабка не успевает выдохнуть из лёгких воздух, он застревает у неё в дыхательных путях.

– Подло, когда человека бьют.

– Но если человек заслуживает. . . – пытается она возразить.

Геночка не смотрит на неё. Он стоит, маленький и худой, бледный, а на его, величиной с кулачок, лице вздрагивают круглые очки, которые всегда сидят на нём немного косо.

– Они били моего папу. . . Они не имеют права бить людей! – захлёбывающейся скороговоркой произносит он. Потом вдруг вообще переходит на крик:

– Бандиты!.. Пусть она подавится своими ботинками!..

Мы с Геночкой молимся Богу, чтобы он помог Петру Петровичу вернуться домой, но молитвы Геночки чисты и невинны, как и он сам, я же, обращая свои взоры к небу, не могу оторваться и от дел земных.

Здесь, на земле, у нас в квартире в ведре от холода замерзает вода, а в качестве топлива у меня осталось лишь несколько венских стульев, которые никак не разрубить, потому что при рубке они скачут, как горные козлы, и непременно норовят угодить тебе в глаза.

Здесь, на земле, у нас не осталось и горстки угольной пыли, но зато в простенке между нашим сараем и сараем, принадлежащим предприимчивому Павке, крысы проели дыру, и оттуда иной раз к нам перекапываются несколько кочанов лущёных кукурузных початков, особенно если этому помогают те же крысы, вечно шныряющие между ними, или помогаю я сам. Но «помогать» приходится осторожно: один раз крыса меня уже укусила за палец. . .

Бог живёт на небе. Он добрый, говорит бабушка, он всем помогает, нужно только хорошо его попросить. И мы просим, очень хорошо просим его. Когда все наши уходят, а мы с Геночкой остаёмся



одни, мы сначала разжигаем наш «казанок» и ставим греть воду для мамалыги, а потом, пока вода закипает, становимся на колени и молимся.

Молить мы не знаем. Бабушка нас пыталась им научить, но у нас просто не хватило на это терпения. Поэтому мы разговариваем с Богом свободно, не скованные текстом молитв. Мы говорим: «Боженька, если ты добрый, сделай так, чтобы Пётр Петрович скорее вернулся домой, а все эти гадины и ехидны, пусть они слохнут, и первая из них — наша соседка Екатерина Васильевна (улица Ришельевская, дом такой-то, уточняет Геночка) вместе со своим полицейским Константином и своей душой Алей. Мы тебе обещаем за это...».

Но с этого момента наши пути к Богу уже различны. Геночка обещает ему быть послушным, не дерзить взрослым, ни о ком плохо не думать (кроме, конечно, Екатерины Васильевны, что было бы уже выше его сил). Я обещаю не думать о запахе мяса, которое у Екатерины Васильевны каждый день тушится теперь на кухне и не залезать пальцем в казан, где оно тушится. Обещаю не помогать перекачиванию в наш сарай от Павки кукурузных початков, не воровать их, иначе говоря, разве что подобрать то небольшое, что подтолкнул крысы, и одолеть, наконец, проклятые венские стулья... И оба мы говорим: «Аминь!».

Бог живёт высоко, на небе. Мы тоже живём высоко, но не так, как Бог. В одной из двух наших комнат стоит рояль, оставшийся от прежних хозяев квартиры и пока ещё не разрубленный нами на дрова. Если влезть на этот рояль, на его крышку, и встав на колени, оттуда попросить Бога... И мы залезаем и очень-очень усердно просим его. Вообще-то залезает один Геночка, это, кстати, его идея, но если говорить правду, я с ним тоже несколько раз туда влезал и просил очень усердно.

Особенно усердно просил тогда, когда Петра Петровича перевели в здание бывшей детской больницы, и появилась надежда, что вскоре его выпустят. А потом выяснилось, что всё это ни к чему не привело, потом появилась девушка с запиской, и всё такое, и я, конечно, не перестал молиться, но молюсь уже с меньшим усердием. Во всяком случае, больше не взбираюсь для этого на крышку рояля...

АЛЕКСАНДР ШЕИН

РЫБОЛОВ

Живёшь одним днём,
редко — неделей.
Река мелеет,
выпирает дно.
В морге пирог делят.

Уже не плывёшь —
стоишь,
как рыболов.
До берега —
миллионы световых лет.

Шеин Александр Кузьмич (1932-1995) родился в г. Николаеве. Ещё ребёнком был перевезён на Дальний Восток, где служил его отец, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, военный лётчик. Семья часто переезжала к очередному месту назначения отца. Средняя Азия, Дальний Восток, Крым, Прибалтика... Наконец поселились навсегда в г. Николаеве. Учась в разных городах и посёлках бывшего Советского Союза, Александр Шеин закончил в 1951 году десятилетку и в 1952 году поступил в Николаевский педагогический институт им. Белинского на факультет русского языка и литературы, который окончил в 1956 году.

Отработав в сельских школах учителем, он возвращается в г. Николаев, где с 1958 года и до конца своих дней в разных школах города преподаёт русский язык и литературу, а также всеобщую историю.

Александр Шеин писал стихи, но не публиковался. Во время поездок к своим друзьям и знакомым в Одессу, Москву, Полтаву, Новгород выступал с чтением своих стихов, обладая незаурядным талантом чтеца-декламатора. Однако, в начале 70-х годов по доносу осведомителя был вызван на беседу в УКГБ области, где ему показали рецензии на его стихи, которые, якобы, были безыдейными, антинародными и... белогвардейскими. Запретили печататься. Но А. Шеин продолжал писать «в стол». Читал новые стихи только своим близким и друзьям. И до конца жизни оставался поэтом. После него осталось десять сборников неизданных стихотворений.

Спустя семь лет после смерти поэта, в 2002 году, его друзья издали небольшой сборник избранных стихотворений А.Шейна «Окоём».



Во рту –
трупики трубных слов.
Путь Млечный шумит,
как сибирский лес.

26.03.66 г.

ЮРОДИВЫЙ

Меж бровей
наклеить
вот это –

Московская
особая водка
40%
Влад.лик.вод.завод
Цена 1 руб.40 коп. без стоимости посуды –
и ходить меринном –
по материкам – Европам, Азиям,
Америкам,
головойю –
с наклейкой меж бровей –
мотать.

А они чтоб тюкали:
– Пошёл!
Пошёл прочь,
русский!

Рук не протягивали к голове,
не поглаживали...
Глаза отводили б в сторону,
как детей,
когда собаки совокупаются.

Пляжи б
очищались,
города –
ключи от сортиров
предлагали.

А я шёл бы,
и шёл,
не запыхавшись, –
по материкам,
камни слезой растопляя.
И наклейка бы жухла,
изнашивалась,
как рубашка ситцевая.
И у моря –
далёкого,
синего –
упала б
в волны.

04.01.68 г.



ПЕТУХ

Солнце падало,
цеплялось лучами за небо,
упиралось лучами в землю.
Словно муха осенняя злая,
щипала лучами глаза.

На балконе оплывшего дома —
под надзором оконных стёкол —
баба резала петуха,
долго торжественно резала,
будто жертву приносила.
Он кричал,
звал на помощь солнце.

май, 1968 г.

СРОК

Пот смертный
вопящих строк,
как будто в меня сток
всей тоски и злобы равнинной.
Как ветхий еврей ждал раввина,
жду смены.

Пот смертный
вопящих строк.
Поэзия — пожизненный срок.
Апелляций — не принимают,
объяснениям — не внимают.

05.07.68 г.

ВЕТЕР

Всего с час назад —
текло.
А сейчас —
за стеклом,
исполосованным дождём,
дерево хочет стать —
монгольским натянутым луком,
голые ветви,
будто стрелы,
выставляет навстречу ветру —
он —
словно рыцарь северный, —
скачет по рябим испуганным лужам.

25.04.69 г.

БУТЫЛКИ

В те времена
бутылки из-под иностранных вин
не принимали
пункты «Стеклотары».
Бутылки
длинные
накапливались

во всех углах,
под шкафом,
под кроватью.
И по ночам
он их подкидывал
к чужим подъездам,
или расставлял в шеренгу на асфальте.
Мальчишки утром —
с криком —
чур, на одного! —
их находили,
и разбивали —
радостно,
без злобы,
как готы статуи
пурпурных римлян, —
тонкие стеклянные тела.
А он —
уже сидел за новой бутылкой —
писал,
читал,
а к вечеру
шёл на работу.

21.09.69 г.

УТОПЛЕННИК

По загробным инстанциям
мечусь.
Мне —
мне — поверьте!
Я мог вынырнуть! —
два метра оставалось до поверхности.
А я —
рассматривал
танцующих
медуз.

17.11.69 г.

9 ИЮЛЯ 1974 ГОДА

Умирают во мне,
умирают — ритмы, образы, звуки.
А во сне — слово — гуммиарабик
протягивает клейкие руки.

Не нужно мне это слово.
Мне звенят другие слова.
Но льют мне в глотку олово,
а на плечи села сова.

Я — нерв дрожащий от ритмов.
Хватит! Я устал!
В ушах — речи Рима.
В глазах — Христа
уста.

09.07.74 г.

«ЛИТМУЗЕЙ»

ВАЛЕНТИНА СИЛАНТЬЕВА

ОДЕССКИЙ ХУДОЖНИК ПЁТР НИЛУС В КОНТЕКСТЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА БУНИНА И ЧЕХОВА

Посвящение

Мы познакомились с Ниной Евгеньевной в конце 70-х. Однажды она приехала в Одессу в качестве оппонента. Я – лаборант кафедры русской литературы Одесского университета – должна была встретить и сопроводить гостью в отель. Признаюсь: мне, только что пришедшей на кафедру и доселе работавшей в «отдалённых от центров местах», это поручение показалось и ответственным, и неподъёмным. Вечно комплексующая и буквально погибающая от претензий к собственной особе, я прожила дни и часы до момента нашей встречи с одним ощущением: «Мне нечего сказать Богам». Нина Евгеньевна приехала, и в течение очень небольшого отрезка времени я окончательно попала под её обаяние. Мы подружились, и уже навсегда, после моей защиты в Институте литературы АН Украины. Смеею сказать, что многие последующие годы мы были интересны друг другу. Я, излишне эмоциональная южанка, выламывая руки собственной застенчивости, буквально вытряхивала перед ней свой «чеховский багаж», а она... Боже мой, и слушала, и поправляла, и не соглашалась, и поощряла. А если учесть, что всю свою научную жизнь я шла странной, но своей дорогой, то какими же надо было обладать чисто профессиональными и человеческими талантами, чтобы вслушиваться в этот лепет, сопереживать ему и никогда не дать почувствовать, что собеседник, может быть, устал. Теперь, из своего возрастного «далеко», я благодарю Нину Евгеньевну и по-прежнему вижу в ней ту непостижимость высокого горизонта, к которому всегда тянулась душа.

Именно она, Нина Евгеньевна Крутикова, наверное, и не подозревая этого, сыграла решающую роль в моей «докторской» судьбе. Я выстрадала и написала книгу о «переходных» формах искусства. В 90-е годы сама формулировка темы казалась странной и попросту невозможной. Признавшись, что не могла не написать об этом уже потому, что монография – плод моих бесконечных бдений над наследием Чехова и творчеством «околочеховских талантов», я заявила, что не стану писать диссертации. Спустя несколько месяцев, услышала: «Вы должны это сделать». А когда, уже работая над докторской и понимая, что ей уготована нелёгкая судьба, попросила Нину Евгеньевну стать моим научным консультантом, то услышала и такое: «Вы должны это сделать сами...». Признаюсь: спустя многие дни, я поняла её – зная мой характер, она давала мне шанс не сломаться, не пойти на попятную, прислушавшись к чужому мнению. И как же она радовалась в день моей защиты...

Я люблю Вас, Нина Евгеньевна. Вы оказались самым светлым, чистым, красивым человеком в моей жизни. Я многому у Вас научилась и хочу учиться ещё...

Эти имена – Нилус, Бунин, Чехов – объединяет родство авторского мироощущения и стилистики. Они прошли сходный путь в искусстве конца XIX – начала XX вв., только первый из них был художником, который, эмигрировав, так и не успел войти в широкий искусствоведческий обиход; а Чехов и Бунин – теми писателями, чьи высокие художественные достижения были признаны, и чья художественно-эстетическая близость уже не нуждается в доказательствах. Тема, избранная нами, помогает ввести в научный обиход Петра Александровича Нилуса, так и оставшегося малоизвестным художником, и показать связь его творчества с традицией лиризованного эпоса, первые и самые неожиданные варианты которого предложили Чехов и Бунин.

Как явление неординарное и, безусловно, талантливое, Нилус привлекал к себе исследователей-современников. Но, преимущественно, только как наследник официально признанных передвижников¹. Он был интересен краеведам², о нём вспоминали мемуаристы³, его выставки комментировались в местной одесской прессе⁴. Иногда к его творчеству обращались литературоведы⁵, и самым ярким

исследованием произведений Нилуса в контексте художественных поисков Бунина до сих пор остаётся работа И.Д. Бажинова, опубликованная в 84-ом томе «Литературного наследства»⁶.

Дворянин по происхождению, Пётр Александрович Нилус родился в 1869, умер в 1943 г. Большой частью жизни он связан с южной окраиной России (Балтский уезд, Одесса). Учился в реальном училище города; в 6-ом классе, по предложению своего учителя Г. Ладыженского, который только что закончил Петербургскую Академию художеств, Нилус поступает в Одесскую рисовальную школу. Здесь его учителем становится Костанди, а другом – Буковецкий.

Большое дарование художника заставляет преподавателей уже рисовальной школы направить его на продолжение учебы. В 1889 г. Нилус поступает в Петербургскую Академию художеств в класс Репина. Именно он рекомендовал молодому художнику побыстрее начать выставочную деятельность, и так как в Одессе мощно заявило о себе Товарищество Южно-русских художников, посоветовал вернуться в родной город. Здесь Нилус прожил более двадцати пяти лет, отсюда эмигрировал в 1919 году. С 1891 г. он принимает участие в выставках Товарищества, а с середины 90-х годов, будучи секретарём названной организации художников, многое делает для роста её популярности (организуются передвижные выставки, иллюстрированные каталоги, налаживаются связи с художниками Москвы, Петербурга, Киева).

В период эмиграции Нилус выставлялся в Софий, Белграде, Загребе, Вене, Париже. Он увлекался новыми течениями в искусстве, его картины удивляли свежестью колористических решений, нацеленностью на обновление традиции. Он умер в оккупированном фашистами Париже 23 мая 1943 года. Некрологом на его смерть отозвался Бунин.

Если говорить об эстетической ориентации Нилуса, о его контактах и устремлениях, то отметим следующее: творчество художника формировалось под влиянием демократической традиции русской реалистической живописи, ориентированной на современность и идейности передвижников. Он дружил с писателями Буниным, Куприным, Горьким, Маминим-Сибиряком. Переписывался с Репиным, о нём очень приязненно писал известный критик-искусствовед Стасов. Совершенно очевидна переключка жанровых картин Нилуса 90-х гг. с жанристикой Маковского, Ярошенко и всех тех, чья художественная мысль совмещалась с духом народничества и просветительства. Но при всей общности позиций Нилус привносил в свою живопись стихию воздуха и света. Эта его особенность на сегодняшний день прокомментирована так: «...сама южная природа подсказывала более яркую палитру, интенсивность света и цвета в живописи. Поиски южнорусских художников были связаны с решением пленэрных заданий и больше приближали их к барбизонцам, чем к передвижникам»⁷.

Соглашаясь с общим содержанием высказывания, дополним его следующим образом: дело не столько в праздничной солнченности одесских видов (тем более, что Нилус почти не писал «чистых» пейзажей), сколько в том, что «палитра настроения» в 90-е гг. начинает заявлять о себе в русской живописи всё настойчивее. Речь идёт о переосмыслении французского импрессионизма и формировании оригинальных черт импрессионизма отечественного. Напомним, что «русский вариант» импрессионизма уже заявлял о себе в картинах молодых Левитана, Серова, Коровина, ему был подвержен и Нестеров. Если обратиться к литературе, то настроение, а не событие всё чаще определяло собой сюжетность чеховских и бунинских рассказов-новелл.

В творчестве Нилуса это движение осуществлялось внешне неприметно. Только что был создан «Лакей» (1892), «проникнутый сочувствием к бесцветной жизни «маленького человека»⁸. Как дань федотовской традиции воспринимается картина «По знакомым» (1892). На ней изображена пожилая чиновница, которая, надоедая просьбами «о сочувствии», стучится в двери богатых домов. Её облик и выражение лица вызывают двойственное к ней отношение. Суть его хорошо сформулировал Стасов, сказав: «Для меня это княгиня Друбечка из «Войны и мира», только не княгиня, а мецанка, оставшая, заплещенная чиновница ...; упрямство приставания ... и вымоленных денег, местечек – одни и те же»⁹. Жанровые сцены «Белешвейная мастерская» (1890), «В трактире» (1894), «Босьяк» (1895) обращают нас к традиции Перова, к психологическим портретам Репина и др.

Но почти одновременно было написано и такое произведение, как «Осень» (1893), немного позднее – «Купальни» (1899), «На мостиках (Летом)» (1898), «Перед вечером» (1902), «В мастерской художника» (1903). Здесь преобладал уже не психологический анализ и не обличительный настрой, а стремление автора передать эмоциональное впечатление от увиденного. Ещё можно назвать традиционным жанром то, что изображено в картине «Осень». Две молодые, просто, но элегантно одетые женщины сидят на высокому берегу моря, у ног – небольшая белесая собачка. Пейзаж-фон картины составляют скудная прибрежная растительность и «кусочек моря». Женские фигуры существуют как бы для того, чтобы соединить эти две стихии. Но, попытавшись сказать, что картина посвящена воскресному отдыху, так и не одарившему ощущением праздника, мы ошибёмся. Мягкий серо-коричневый тон, который объединяет цвет последней листвы, морскую даль и девушек, сидящих на берегу, рождает настроение поэтической тихой грусти. Метафорой молодости уходит лето, свет умирания коснулся всего живого. Девушки, помещённые не в центре картины, а чуть сбоку, воспринимаются как часть (эпизод) общей композиции, в которой равнозначными женским фигурам предстают тоненькое деревце-подросток, собачка, морская даль и чахлая растительность. Картина «Осень», как «Скольники» Левитана, как «Девушки...» Серова, как «Хористка» Коровина таит в себе поэзию мгновенного и подкупает не сюжетом, а настроением, разлитым в полотно. Этот подход к изображаемому, в первую очередь, и роднит Нилуса с Чеховым и Буниным – авторами лиризованной прозы.



«Школой» и постоянным ориентиром для только что названных авторов, безусловно, была реалистическая традиция классиков XIX в., но идеи, художественная манера передвижников и писателей-психологов ими неизменно корректировались. Направление поисков Нилуса удачно обозначил одесский критик Генис (Лоренцо). Посетив юбилейную выставку художника в 1915 г., он выделил в творчестве Нилуса три периода: а) 90-е гг., которые «характеризуются знаменитым влиянием «передвижников»; б) первое десятилетие нового века как время, когда Нилус «бросает «идейную живопись» и «в художнике начинает заявлять свои права живописец, жаждущий красок, поклоняющийся форме»; в) последние несколько лет, отмеченные «пристрастием к ретроспективной живописи» и причастностью к характерному для новой живописи образу – у Нилуса появилась «стройная, с остроконечной мордой, нервная, всегда словно приплясывающая левретка»¹⁰.

Если сравнивать творческие поиски Нилуса и писателя Чехова, то нужно отметить, что во многом эти два автора двигались параллельно. Чехов (как и Нилус) пришёл в литературу с темой «маленького» и «среднего» человека. Он показал комедию бытового сознания и драму бездуховности. Смелся над «рабьей кровью» обывателя, но умел понять и простить тех, кто не хотел принять психологию мешанина как единственно возможную. «Маленькие люди» в его произведениях могли быть ничтожными и по-настоящему «большими», боль и неустроенность последних вызывали сострадание. Важнейшую роль в рассказе играла интонация. Лирическое могло ужиться с насмешкой, на пересечении этих двух стихий рождалось неоднозначное чеховское настроение. Тематически, да и стилистически, такие чеховские произведения, как «Тоска», «Горе», «Агафья» и другие, восходящие к гоголевской, тургеневской, толстовской традиции, объясняют общий тон и тип героев ранних картин Нилуса, таких как «Лакей», «Посыльный», «Белошвейная мастерская», «Босяк», «В тракторе» и др. Примером, иллюстрирующим данный тезис, может быть избран «Посыльный» (1902).

Здесь Нилусом изображён уже немолодой человек, похожий на гоголевского Акакиевича Башмачкина. Выполняя заказ, он принёс в богатый дом букет, позвонил и ожидает у двери. Конечно, в первую очередь, бросается в глаза «пристойная бедность», которая соблюдена в одежде персонажа, и его скромно-просительная поза, соответствующая социальному статусу. И всё-таки полотно привлекает не этим. В нём есть та тихая и безграничная скорбь, которая присутствует и в рассказе Чехова «Тоска». Душевное состояние обоих героев – посыльного Нилуса и извозчика Чехова – полностью отражает ту бесконечную печаль, которая, реализованная строкой фольклорно-религиозного Плача Иосифа Прекрасного «Кому повем печаль мою?», была вынесена Чеховым в эпиграф его рассказа. Не сам персонаж, а беспросветность его горестной судьбы стала сюжетом обоих произведений.

«Бунинское» в творчестве Нилуса проявляется в тот момент, когда речь заходит о полутонально-сти, о «переходности» эмоциональных движений, запечатлённых у него, о ритмической организации его композиций. В.Н. Муромцева-Бунина отмечала, что Нилус тонко чувствовал музыкальный ритм, хорошо пел: «Пётр Александрович мог насвистывать целые симфонии»; «Нилус с Куровским (смотрителем Одесского художественного музея) часто пели дуэтом.., у обоих были приятные голоса»¹¹. В свете сказанного вполне объясним тот факт, что именно Нилус, которого с Буниным связывали многие годы дружбы и взаимной переписки, решился написать и огласить статью «Бунин и его творчество» на литературном вечере в Одесском артистическом клубе (17 января 1913 г.), а, комментируя «Деревню», отметить: «... главное – дух земли, крепкий, настоящий»¹². «Смена акцентов» Бунина и Нилуса начала XX века была связана «с мечтами о вечном», с созерцательностью и с той «мудрой детскостью» восприятия мгновения¹³, которыми наполнялись их новые произведения. И если имена Метерлинка, Брехта, Гауптмана, Пристли ставили рядом с именем Чехова только в связи с его драматургией, то эстетизм «новой волны» в творчестве Нилуса констатировали довольно рано. Многим казалось, что движение этого художника к модернистам неминуемо. Основания для этого были. Истоки модернизма заметны в композиции, в художественном решении шедевра Нилуса – его картины «На лестницах» (1901). В ней присутствует характерный для модернистов приём асимметризма, в расположении парадных пролётов и фигур угадывается любимая ими линия «плывущей водоросли». Парадные одежды женщин несут на себе отпечаток дамского наряда, не соответствующего «сегодняшнему дню». Отсюда – чувство декоративности, культурологической интертекстуальности, присутствующих в картине. Кажется, еще шаг, и Нилус должен примкнуть к неоромантикам и неоклассикам. В перспективе – выработка новой художественной программы и, обязательно, в русле нереалистических течений.

Подобный отход Нилуса от традиции, как и в вариантах Чехова и Бунина, критики-современники художника воспринимали с недоумением или просто отрицательно. Типичный пример – гневная статья Чуковского о недостатках творческой палитры Нилуса, опубликованная им на страницах «Одесских новостей» в 1904 г. Чуковский хорошо знал Нилуса, неоднократно видел его работы, следил за развитием этого незаурядного дарования, восхищался им. Но в этой своей статье он высказался очень резко: «... у нас есть два П.А. Нилуса – один настоящий, другой ненастоящий». «Настоящим» для критика остался тот художник, у которого «великолепное мастерство рисунка», «ясные краски», «законченная манера». «Ненастоящим» – автор, который позволил привнести в собственные произведения «модные» напевы и настроения. В обозначенных Чуковским недостатках Нилуса присутствуют узнаваемые в ту пору приметы «декадентства» – это «тонкие, хрупкие деревья, жалобно тянущиеся к стилизованным тучам», это «сооружённое (то есть искусственно созданное, не имеющее отношения к реальности) настроение», это «символические позы женщин» и «модернизированные» складки их одежды¹⁴.

Итак, предпочтение настроения действию (факту, событию), свойственное импрессионизму, явное тяготение к поэтике модернизма (в варианте русских «мирискусников»), которое оказалось очень характерным для Нилуса 1900 – 1910-х годов, заставляло думать о его последовательном движении к новым течениям в искусстве XX века. Этого не случилось даже на Западе. Эмигрировав, Нилус как будто оказался в близкой для себя атмосфере модернистских поисков. Отзывы на первые европейские его выставки содержали определения, характерные для лексики новых течений («эстетизм», «тонкое чувство цвета»). Но его акварельный «Концерт» (1920 – 1921?) свидетельствовал о приверженности автора неоромантизму, который был свойствен «мирискусникам», предварявшим русский модерн. О хорошем знании Бенуа, а потом и позднего Коровина, говорят «Нарциссы у зеркала» (1931). Картины «Улица Парижа» (1934), «Уголок порта» (1936), «Улица Парижа после дождя» (1939) могут рассматриваться в русле раннего европейского постимпрессионизма. К тому же, главным у Нилуса оказались не «живопись пятном», не «пуантилизм», перечеркнувшие контур и объём, а всё та же «лирика настроения», поэтизация мгновения, «вписанные» в них. Декоративность Нилуса, сопоставимая с приёмом «остранения», свойственным позднему Чехову, будет отмечена в Париже. Его назовут «русским Сезанном», но главным в словосочетании нужно считать первое слово – «умирание природы», её искажённые формы, затирающая контрастность цветовых решений, столь свойственные французскому мэтру, были Нилусу категорически чужды. Он остался «русским» – художником, занявшим нишу между реалистами XIX и модернистами XX вв. Он экспериментировал новым, не став его поклонником. Ощущение талантливого и многовариантного эклектизма всегда сопровождает зрителя и знатока картин этого художника. Сказанное вновь обращает нас к Чехову и Бунину, которых долгое время хотели видеть «своими» и реалисты, и модернисты конца XIX – начала XX вв. «Бунинское» и «чеховское» так и осталось главными показателями творчества Нилуса – он навсегда остался верен тому, с чего начинал в России свой XX век.

В уже цитированной нами статье И.Д. Бажинова «Бунин и Нилус» есть наблюдение, безупречность которого не вызывает сомнения. Отметив близость лирического настроения, объединившего произведения двух авторов, и обратившись к работе Нилуса, он подчеркнул: «По своему настроению эта картина, где на фоне осеннего пейзажа изображена женщина, одиноко сидящая на берегу моря, очень созвучна и поэзии, и лирической прозе Бунина той поры»¹⁵. Исследователь сравнил два «Одиночества», начало которого в бунинском поэтическом варианте звучит следующим образом: «Худая компаньонка, иностранка, // Купалась в море вечером холодным. . .»¹⁶. А дальше следует рассказ о том, как эта девушка, мечтавшая, что «кто-нибудь увидит» её, выходящей на берег из морского приюта; что «кто-нибудь» оценит её статью, подчеркнутую «полосатым трико», «сидела на песке и ела сливы». Её изысканность должны были подчеркнуть продуманные детали пляжного антуража – «широкий балахон», в который она куталась; крупный пёс, который с «гремящим лаем» носился за мячиком. За её спиной, на высоком берегу обрыва, появится долгожданный зритель. Это «писатель, пообедавший в гостях». Но ожидаемого эффекта не получилось – покуривая сигару, он подумал плотски-цинично: «Полосатое трико // Её на зебру делает похожей»¹⁷.

Своим названием – «Одиночество» – стихотворение обязано не только ситуации (вечером, в одиночестве, купается худая девушка-иностранка), но и только что процитированной фразе, перечеркнувшей возможность знакомства; но и множеству деталей, подчеркнувших холод и заброшенность. Это сырой песок, холодный глянec воды, упоминание о сливах, которые, кутаясь в халат, ест героиня и, наконец, это одинокая скамья, которая чернеет в полосе уходящего дня. Благодаря им пляжная сценка обретает вполне прогнозируемое настроение холода, неустроенности, горечи разочарования, и это эмоциональное переживание приобретает значение сюжетного фактора. Всё так, и кажется, что, подтвердив наблюдение исследователя-предшественника, можно бы остановиться. Но нет, в этом стихотворении присутствует и чеховская аллюзия. Она сопряжена с концептуальным восприятием творчества писателя, говорившего о пошлости мещанского сознания; а также с ассоциативным рядом, восходящим, как минимум, к двум его произведениям: к «Даме с собачкой» с репликой, так ударившей Гурова («осетрина с душком»), и к рассказу «Дочь Альбиона», в котором, в своём не соответствующем ни месту, ни занятию наряде, несчастливая, унижаемая мисс Тфайс удила рыбу. И казалось, что во всём пространстве этой огромной страны нет места ни счастью, ни простой радости. И если художник Нилус почувствовал и концентрированно воспроизвел это ощущение в своём полотне, – значит, чеховско-бунинское мироощущение должно было стать одной из важнейших составляющих его творчества.

Литература:

1. Афанасьев В. П.О. Нилус. – К.: Мистецтво, 1963.
2. Смирнов В., Грабовский А. Баранова, 27. – Одесса: ТПП «Хайтех», 1993. Товарищество южнорусских художников. Биб. указ./Сост. Барковская О.М. – Одесса: ОГНБ им. М. Горького, 1997.
3. Муромцева-Булнина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. – М.: Сов. писатель, 1989.
4. Одесский листок. – 1892. – №286. – 6 ноября; Одесские новости. – 1904. – №6441. – 8 окт.; Одесские новости. – 1907. – №7343. – 30 сент.; Одесские новости. – 1915. – №9736. – 13 июня. Тарасенко О. О современном искусстве Одессы // Худож. выст. «Слава и современность Одессы». 25-летие дружбы городов-побратимов Йокогамы и Одессы: [Альбом]. – Йокогама, 1991. – С. 11-20.



5. Силантьева В.І. Чехов і Нілус: спорідненість імен та позицій в мистецтві кінця ХІХ-початку ХХ ст. // Четвертий міжнародний конгрес українців (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.): Доповіді та повідомлення. – Т. Південь України. – Одеса: Астропринт, 1999. – С. 372-381; Силантьева В.І. Художественное мышление переходного времени (русская литература и живопись конца ХІХ-начала ХХ столетий) // Дис. . . докт. – Киев: НАН України, 2002. – С. 355-372.
6. Бажинов И.Д. Бунин и Нилус // Литературное наследство. – Т. 84. – И.А. Бунин.- Кн.1, 2. – М.: Наука, 1973.
7. Товарищество южнорусских художников. Биб. указ./Сост. Барковская О.М. – Одесса: ОГНБ им. М. Горького, 1997. – С. 3.
8. Тарасенко О. О современном искусстве Одессы // Худож. выст. «Слава и современность Одессы». 25-летие дружбы городов-побратимов Йокогама и Одессы: [Альбом]. – Йокогама, 1991. – С. 20.
9. Стасов. В.В. На выставках в Академии и у передвижников //Стасов В.В. Избр. соч.: В 3-х т. – Т. 3. – М.: Искусство, 1952. – С. 127.
10. Одесские новости. – 1915. – №9736. – 13 июня.
11. Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. – М.: Сов. писатель, 1989. – С. 177, 206.
12. Бажинов И.Д. Бунин и Нилус // Литературное наследство. – Т. 84. – И.А. Бунин.- Кн.1, 2. – М.: Наука, 1973. – С. 427.
13. Бажинов И.Д. Бунин и Нилус // Литературное наследство. – Т. 84. – И.А. Бунин. – Кн.1, 2. – М.: Наука, 1973. – С. 432.
14. Одесские новости. – 1904. – №6441. – 8 окт.
15. Бажинов И.Д. Бунин и Нилус // Литературное наследство. – Т. 84. – И.А. Бунин. – Кн.1, 2. – М.: Наука, 1973. – С. 426.
16. Бунин И.А. Соч.: В 3-х тт. – Т.1. – М.: Худож. лит., 1982. – С. 88.
17. Бунин И.А. Соч.: В 3-х тт. – Т.1. – М.: Худож. лит., 1982. – С. 89.

ГАЛИНА МЕЩЕРЯКОВА

ПРИРОДА ВЕЩЕЙ очерк

Вещь, остановившая наше внимание, рождает идею. Так же, как идея рождает вещь. Мир идей – и мир вещей. Переход от одного к другому осуществляется через энергию Творения. Вещи, которыми окружает себя человек, несут информацию о культуре и обществе. О нормах поведения и отношениях между людьми. О ценностях, которые для них значимы. Творить красоту – создавать информацию – увеличивать разнообразие мира. А когда мы сталкиваемся с сотворённой красотой, рождается идея открыть её для мира.

Красота соединяет. Красота облагораживает. Красота поднимает дух.

Что-то подобное произошло и со мной, когда я, казалось бы, совершенно случайно, натолкнулась на предметы из мастерской художника Петра Нилуса. А именно – его мольберт и хрустальные бокалы, шесть штук шершавых бокалов русского старинного хрусталя. Пили из них – сам Нилус, Евгений Буковецкий, Иван Бунин, Алексей Толстой и, наконец, Валентин Катаев.

Легенда? Возможно, в какой-то части, но подлинно то, что эти вещи действительно из мастерской П. Нилуса. Их бережно хранила семья художника Зайченко, который двадцать лет проработал в его мастерской.

У меня дух захватило, когда я их увидела. Сработала энергия мёртвой культуры, так часто мощно действующей на живое, будя воображение. «Материя есть возможность, форма же – энтелехия», то есть воздействие. Это определение ввёл ещё Аристотель. И что же делать? Как быть? Это только вещи-реликвии. А деньги? Когда столько всяких «нужно». Очень долго я привыкала к мысли, что не удержусь, куплю. Меня в этой трате никто не одобрял, ни знакомые, ни близкие.

И вот, приехала из Киева искусствовед Наталья Романова. Я ей всё рассказала – о мольберте самого Нилуса! И о бокалах с их шершавинами тоже. Её ответ был однозначен: «Со шершавинами? Брать обязательно».

Это всё решило. Прочувствованная синхронность восприятия вещей, скорее – идей. Человек с чуткой интуицией всегда чувствует напряжённость информационного поля. Вещи в поле нашего зрения стимулируют воображение. «Вещи – тени идей», по Платону. И если идея совпадает с нашим творческим устремлением, то это уже процесс сотворчества. В какой-то момент мы соединяем себя с тем, что попало в поле нашего зрения, вернее, восприятия. Это уже коллективная идея творения.

Давно замечена синхронность в совершении открытий. Напряжение мысли рождает определённую идею – образ. Он живёт, часто созданный способом независимого коллективного творчества. И тогда начинают происходить «чудеса». Со всех сторон на вас идёт информация об идее, возникшей в вашем воображении.

Так было и с появлением этих предметов: мольберта и бокалов. Следом пришли два альбома — «Пётр Нилус», составленный искусствоведом одесского Художественного музея Людмилой Анатолиевной Ерёминой и «Письма из эмиграции» Петра Нилуса (составители — Л.А. Ерёмина, В.А. Абрамов и Н.С. Полищук). Всё это одновременно. Вот так — материализовалось из пространства. Ведь существовало оно уже, а пришло только сейчас. И, объединившись, дало идею воскрешения памяти этих многих, ушедших славных людей. Они жили и творили в нашем городе. Их работы представлены в Художественном музее: Нилус, Буковецкий.

Фигуру одесского художника Евгения Иосифовича Буковецкого (1886-1948) можно с полным правом назвать одной из ключевых для культурной жизни Одессы конца XIX — начала XX вв. Его дом, где сначала по четвергам, а затем по воскресеньям в течение многих лет собирался цвет местной интеллигенции, был одним из самых значительных «культурных гнёзд» города.

Мы как-то были в Ереване. Это единственный город, где на центральной площади располагаются правительственные здания и рядом, такой же громадой, музей. Где чтится память ушедших людей творчества — их мастерские превращаются в мемориалы. Доступ посетителей свободный в определённые часы и дни. Более того, опять-таки в определённое время, вы можете посетить мастерскую художника, чьё творчество вас заинтересовало. У нас, в Одессе — дома художников: Буковецкого на Княжеской да Степанова на Лидерсовском бульваре вполне могли бы быть такими мемориалами. Но нет в нашем городе ни одной мемориальной мастерской. Литературный музей сохраняет в своей экспозиции кое-какие вещи из дома Буковецкого. И это всё, что напоминает нам о жизни и творчестве этих художников.

Вот оттуда, из тех далёких времён пришли ко мне вещи: мольберт и бокалы, и потянули за собой альбом Л.А.Ерёминой, и ещё книгу «Письма из эмиграции». Случайностей не бывает. Поток ментальной информации в каждое мгновение многократно пронизывает пространство. «Мир есть текст. Мы живём внутри грандиозного текста». Уловить этот текст не просто. Но, вот иногда, в силу каких обстоятельств — непонятно, он сам собой раскрывается нам, и уже к первой информации подтягивается и всё остальное, дополняя, расцветывая и осмысливая. Откуда-то пришло и стало нашим.

Бунин творчески тесно связан с художниками Южно-Русского общества. Он жил в доме у Буковецкого. Общался с Нилусом и, думаю, пил из тех бокалов, что пришли из мастерской Нилуса. Из статьи В. Нетребского: «В 1918 году в альманахе “Творчество”, №2, был напечатан один из самых загадочных рассказов И.Бунина “Сны Чанга”: “. . . Возвращаясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина — снова на вышку, на чердак, но тёплый, благоухающий сигарой, устланный ковром, уставленный старинной мебелью”. Такие чердаки случаются только в Одессе и только на Княжеской, тем более что третьим хозяином Чанга был проживающий на верхотуре в особняке Буковецкого, художник Пётр Нилус, создавший полотна “Лакей”, “На скачках”, “Пикник” и др. Но остановимся на “Пикнике”. Мог ли я, любясь картиной в музее, полагать, что буду сидеть на нилусовском чердаке и пить вино из бокалов самого Нилуса, ставших собственностью замечательного художника В.А. Зайченко, ученика Мучника и Шовкуненко. “Инventарь” Нилуса, так же, как и сама мастерская, достались художнику от Союза художников Одесского отделения».

Бокалы и мольберт перешли сейчас уже ко мне от дочери художника В.А. Зайченко, Натальи Зайченко. На одном из натюрмортов «Интерьер квартиры художника» эти бокалы изображены Нилусом. На белой скатерти, среди столовых приборов — бокалы. Тогда они были ещё без щербинок. А в своё время их принесла директору Художественного музея женщина, представившаяся горничной Буковецкого и убиравшая мастерскую. Она передала бокалы с надеждой, что они попали в добрые руки и будут сохранены. Вот такой драгоценный подарок.

«. . . Темнеет, камин полон раскалёнными, сумрачно-альхими грудями жара, новый хозяин Чанга сидит в кресле. Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы. . . ». Это из рассказа Ивана Бунина «Сны Чанга». Мастерская Петра Нилуса.

Вспоминая Нилуса, Бунин говорит о нём как о «богато одарённом и прекрасном человеке». Как «о поэте в живописи». А вот впечатление искусствоведа Абрамова:

«И вдруг в доме Папудовой, у знакомого, ставшего затем близким приятелем, писателя Александра Суконника — большая сине-чёрная загадочная картина. Она втягивала, завораживала, опьяняла таинством ночи, по-врубелевски нервной и по-сомовски эротичной.

— Кто это? — спросил я, предполагая, что услышу имя кого-либо из петербургских мирикусников.
— Конечно, Нилус.

. . . В один из вечеров нас, одесситов, принимал крупнейший японский коллекционер. Достаточно сказать, что в его коллекции Роден и Майоль, Матисс и Пикассо. . . Не говоря уже о мастерах Востока — Японии, старого Кигая. Я брал у него интервью и, естественно, спросил об одесской выставке.

— Экселенс. Превосходно.

— А если бы у вас была возможность приобрести, обменять какую-либо картину для своей коллекции, что бы вы предпочли: Кандинского, Костанди, Кузнецова?..

— “Ночь” Нилуса. Я думаю, она созвучна японской душе.

Я улыбнулся. Дело в том, что я был уверен, что она созвучна душе Одессы».

Воспоминания, воспоминания, впечатления. . .

Вот как далеко может завести нас столкновение с вещами, принадлежащими временам давно ушедшим... Эта же ностальгия звучит в стихотворении Ив. Бунина:

*Открыты окна в белой мастерской
Следы отъезда: сор, клочки конверта.
В углу стоит прямой скелет мольберта.
Из окон тянет свежестью морской.*

*Дни всё светлей, всё тише, золотистей –
И ни полям, ни морю нет конца.
С корявой, старой груши у крыльца
Спадают розовые листья.*

И здесь мольберт... Возможно, тот же самый!

ПИСЬМА П.А. НИЛУСА – Е.О. БУКОВЕЦКОМУ

*Е.О. Буковецкому
12 октября 1924 г.
Париж Paris (XVI) 1, rue Jacque Offenbach*

Дорогой Евгений,

Вот уж подлинно испоганились люди, директор «Жорж Пти» дал мне слово предоставить новую галерею в ноябре, т. е. в разгар парижского сезона, изменил, и я получаю помещение для выставки только во 2-ую половину января 25 г. Ты себе представить не можешь, до чего это тягостно для меня – нужно всё бросить и заняться продажей через знакомых, т. к. денег нет. Конечно, может оказаться всё к лучшему, но пока что холод уже опускается в кишечник. К лучшему я говорю в том смысле, что будь выставка в ноябре, я бы бросил «печатать» акварели, а так придётся ещё работать упорно 3 месяца, и если меня не покинет энергия, кое-что сделаю; хоть дни и коротки, но можно работать и при электричестве. А я уже строил себе такой план, сперва отдохнуть, где-нибудь за городом, в санатории, потом порисовать где-нибудь в академии – это должно очень освежить – общение с молодёжью чего стоит! Вообще нужно тебе сказать, что реальное искусство мне весьма надоело и ценным кажется только то, что отражает не реальный мир, а мир художника со всеми его уклонами, шатаниями, манерностью даже, вплоть до астигматизма Сезанна¹. Спора нет, что жизнь прекрасней всех сезаннов, но теперь можно сказать уже с полной достоверностью, что этой жизни передать нельзя (краски, краски как меняются! Импрессионисты все потускнели), и что все фотографические потуги тысяч художников, даже даровитых, это всё же искажение природы самое смехотворное, и можно сказать с уверенностью, что какой-нибудь Жан Поль Лоранс², быть может, даёт большую карикатуру на жизнь, чем сам Сезанн. Но вот, ты скажешь, старые мастера, между ними действительное есть немало реалистов и ещё больше в совершенстве владеющих академической формой (в хорошем смысле этого слова), и от того их живопись не теряет, но для того, чтобы быть так выразительными, как они, нужно иметь их грубую чувственную силу, а нынешнее поколение её не имеет. Было и есть много мастеров (современных), которые владели и владеют формой не хуже стариков – а той силы нет, не таланта, а силы, т. е. внутреннего содержания формы, незримой. Если я прав, то лучше и не тягаться с ними в этом направлении, а искать в себе выразительности с другой стороны, хоть в бессилии; справиться с натурой более доступно из себя, тогда это и будет лучшим выражением эпохи. Передать себя, свою душу – эта задача не менее почтенна, чем быть беспристрастным наблюдателем жизни, наполняя её своим духом, мощью, которых нет в нашем поколении, нет красной крови, а есть какая-то блевотина. Тысячи всяких кубистов, беспредметников это отлично выражают. Летом я как-то встретился с Линским, он мне говорит: пойдите посмотрите выставку жены Боннара³ (неоимпрессионист). Arsène Alexandre⁴ написал о ней восторженную статью, а я такой плохой выставки никогда ещё не видал. Я видел эту выставку. Конечно, Линский – Самарканд⁵, провинциал; мне же выставка очень понравилась, это как раз то, что нужно – это непосредственное детское отношение к искусству; конечно, эта дама всё знает, умудрена опытом, стоит, несомненно, на самом высоком уровне понимания того, что нужно делать, но при всём том, умудрилась, поняла, как можно выразить, не впадая в детскость, свои впечатления, подражая их методу; вот только одно – у неё нет большого таланта, а когда появится человек с большим талантом в этой области, то тогда все поймут, в чём дело. Он должен быть вроде Сезанна, потому что Сезанн открыл невольно, что есть в природе искусства прелесть помимо так называемой природы, а своя, художнику, индивидуалисту, присущая и, быть может, единая, без неё никакая форма ничего не стоит.

Ты спрашиваешь, как у меня дело с языками: плохо, конечно, нет времени заниматься. Иван [Бунин] всё сидит на юге, приезжает только в ноябре. Павел [Михайлов] сделался обжорой, а равно и Семён [Юшкевич]. Павел недавно съел на пари целую утку, холодную — ведь это можно подохнуть.

Написал я большую картину «антракт» (в дачном театре), со множеством фигур, с «выражением на лицах», такой большой ещё не писал, что это такое, сам не знаю; то кажется очень противной, то нравится⁶. Видел её Олесевиц, говорит: красивая вещь...

Ты получишь из Москвы акварель и кое-какие вещи для Прасковьи Осиповны, которую поцелуй за меня. Узнай, пожалуйста, про Татьяну Михайловну (Садовая 5, кв.6), побывай у неё и расскажи обо мне всё, исключая женитьбу, которая, по выражению Семёна: «на крейдочку», т. к. мы не венчаны. Будь здоров, целую крепко, П. Нилус

[Приписки на полях]: Кто же из друзей изменился? Неужели Христианыч [Заузе]? Не может быть. Передай ему поклон и скажи ему, что я обращаюсь к жене на его языке: «Берта, плюнь мне чайку...».

Будь добр, дай Алекс[андру] Абрамовичу [Кипену] мои фотографии борзых собак и др., и медную [неразб.], если они уцелели. Кланяйся ему, а также Алекс[андру] Михайловичу [Де-Рибасу], Розенблату, Стилиануди.

Р. S. Берта Соломоновна просит, чтобы ты прислал какой-нибудь мой портрет твоей работы⁷.

1. Сезанн Поль (1839-1906) — французский художник

2. Лоранс Жан Поль (1838-1921) — французский художник, искусствовед.

3. Боннар Пьер (1867-1937) — французский художник. Его жена — натурщица Мария Бурсен (Maria Boursin), известная под именем Марта (Marthe Bonnard) (18?? — 1942), — брала уроки рисования у Луизы Эрвье, художницы и писательницы, близкой кругу Боннара.

4. Александр Арсен (1859-1937) — французский художественный критик, искусствовед.

5. «Самарканд» — провинциальность, глушь, отсталость.

6. Картина «Антракт» экспонировалась на выставке Нилуса в галерее Шарпантье в январе 1925 г.

7. Судя по записке от 20 марта 1925 г., посланной Б. Голубовской Е. Буковецкому, последний отправил в Париж один из выполненных им портретов Нилуса.

Е. О. Буковецкому

28 сентября 1925 г., Париж

Дорогой Евгений,

Здесь была большая сенсация — распродажа в «Hotel Drouot» 160 картин Ренуара¹, последнего периода, принадлежащих одному любителю. Выручено 11 миллионов франков. Но не это интересно, а любопытно то, что последний период Ренуара — это полное отречение от природы, и этот период вся критика превознесла, прославила, называет его лучшим его периодом и т. д. Я позволю себе совершенно не согласиться с этим, по-моему, всё это не только не хорошо, но попросту старчески скверно. Почти все его картины (сильней самые небольшие и маленькие) до крайности однообразны, что-то вроде набросков, без начала и конца один и тот же мотив приблизительно² так размечены цельными красками, но тускло. Часто попадают одни и те же головы: розовые пузыри с бликом, и опять тот же фон, как на наброске. Лучше у него натюрморты, их много, самые простые, тоже серенькие: несколько орешков, очень неживописные овощи — несколько картофелинок, луковицы и всё. Было с десяток голов, так противно розовых, пухленьких, однообразных, с бликами на выпуклостях, с тем же фоном «из бесформенных деревьев», контурами из разноцветных штрихов. Хотя мне всё это не нравится (я никогда не любил Ренуара — это самый слабый из импрессионистов), но особая художественность, прелесть языка скрывается за этими нехитрыми (ну, прямо) виньетками, особенно в мёртвой натуре. Для меня эта выставка была в высокой степени поучительной, она блистательно доказывает, что настоящий художник воплощает что угодно, как угодно, без всякой природы, формы и красок, вне всяких канонов и объяснений, считаясь только со своим вкусом. Собственно говоря, на этом построенная вся живопись модернистов, с той разницей, что модернисты противны, а Ренуар со своей мазнёй приятен, а кто его любит, его вкус, для того он может быть и недостижимым, и великим, в чём я сомневаюсь.

Но почему модернисты так отвратны, почему эта отвратность — принадлежность нового вкуса? Вот моё последнее «изыскание» на этот счёт. Несколько жёсткое, но я убеждаюсь в том, что я прав. Во-первых, люди теперь пошли противные, а как же противный человек может рассказать, написать красками, нотами что-либо пленяющее. И любители этой новой живописи, музыки и литературы одного поля ягода со своими художниками и музыкантами. Поколения последних 25-ти лет все неврастеники, сифилитики, опиумоеды, кокаиинисты, [...] всех видов — вот им и нравятся, должно быть, искренно, все эти вывернутые, выгнутые ноги и руки. Нет здоровья в современном искусстве. И если вспомнить Тэна³, который доказывает, что искусство отражает эпоху, то в данном случае отразило в лучшем виде то, что есть противного у европейских модников и снобов всяких направлений. И как нельзя лучше доказывает то, что они, при всех недостатках, неприятные люди своим нутром, своим обществом, своими поступка-



ми. Я себе не могу иначе объяснить колоссального влияния Достоевского (в Европе). В этом великом таланте совместились именно свойства больших людей нашего века, вся гнусность и мерзость – и это нравится и, конечно, раздражает, и, конечно, вызывает тысячи подражаний.

8 февраля выставлю у Бернгейма; если не случится чего-либо мешающего тому, думаю ещё устроить выставку акварелей к выходу «Illustration'a», т. е. в начале декабря, но пока не могу найти подходящего места. Написал несколько портретов с живописными фонами (пейзажами). Это ново, поэтому нравится. Сами же головы, с точки зрения Ленбаха⁴, конечно, слабы; с точки же зрения Ренуара, может быть, и хороши... Впрочем, что же? Если я себе разрешаю коверкать фигуры, деревья и всё прочее в пейзаже, почему мне не проделывать того же с портретами? Это я делаю лучше всего с натуры, а вот теперь я пишу одну большую штуку с фотографии – работа идёт мучительно трудно, мешаются два стиля, нужно найти какое-то равновесие – а тут застывшая фотография лезет отовсюду, а куража не хватило отнестись небрежно-легко и к точной фотографии. Впрочем, в эскизе (большом) это удалось. Мне позируют 40, 30 минут – одна мука; но нужно привыкать. [неразб.] Дела мои по-прежнему отвратительны...

На этом слове я отложил письмо для некоторых замечаний и объяснений; но пришёл Форбс (из быв. «АРО»⁵, у него есть твой этюд и другой товар) и купил по поручению сестры картинку, и пообещал привести своего друга – может быть, что-нибудь клонет покрупнее, а пока что квартира на следующий месяц обеспечена, поэтому всякие ламензации откладываются. Ох, если бы на дольше отошли важные заботы о нужных людях, об искусственных встречах, подогревании к себе внимания, интереса – а без этого никак не проживёшь.

Хотя как будто и работаю, но ничего не сделал мало-мальски значительного. Правда, много времени отняли заказы и портреты, но всё же как-то слишком мало сделал. Очевидно, для работы (по моему характеру) нужно полное уединение. Вот в прошлом году жил я в гостинице, а жена – с девочкой (в гарсоньерке), и наработал я чрезвычайно много, только потому, что ничего не отвлекало. (Да не подумай, что здесь причиной Б. [ерта] С. [оломоновна], будь ангел на её месте, было бы то же.) То же было в позапрошлую зиму в Рагузе и в 1920-21 годах в Бадене и Вене. Единственный только раз (это было в Эмсе, в позапрошлом лето) я кое-что сделал, и то только потому, что жил в исключительно благоприятных условиях. Там у меня была даже мастерская. Тогда Семён [Юшкевич] с братом⁶ и мы занимали, т. е. десять человек, целый отель в чудном парке (этот лучший отель в Эмсе оттяпали немцы у французов для учреждения «дома отдыха для учёных и художников», но так как Эмс для немцев был тогда открытой французской зоной, то поэтому мы оказались единственными хозяевами отеля, в котором до войны останавливались только богачи, а в своё время Александр II). Это было время крайнего упадка марки и возвеличения валюты, индекс пансиона менялся каждую минуту и была одна такая неделя, что пришлось нам заплатить по доллару с носа, т. е. 2 руб. за полный пансион! Пограбили тогда иностранцы Германию! За гроши покупались дома; но теперь вышел коварный закон, и новоиспечённым домовладельцам залили горячего сала за шкуру.

Очень я скучаю за своими иконами; как я тебе писал, они находятся в Болгарии, и как я ни хлопочу, чтобы их как-нибудь доставить сюда – ничего не выходит. Да, кстати, умер Н.П. Кондаков (в Праге) и его место занял бездарный Окунев⁷. Жаль старика.

У нас почти не было лета, теперь наступила холодная осень, какова-то будет зима?

Будь здоров, целую крепко, поцелуй сестру.

Б.С. шлёт приветы. Твой П. Нилус

P.S. С баклажанами ничего не вышло, здесь они безвкусные. Вот ещё просьба к Людмиле: как делать мидии по-гречески? Здесь эта роскошь очень дешева. Вообще жизнь в Париже при своей кухне недорога, но стоит только сунуть нос в приличный ресторан, «как грозный счёт невидимо растёт...»

1. Ренуар Опост (1841 – 1919) – французский художник. Распродажа в отеле Дрюо состоялась 24-25 июня 1925 г.

2. Здесь в тексте следует небольшой набросок Нилуса с работы Ренуара.

3. Тэн Ипполит (1828 – 1893) – французский искусствовед.

4. Ленбах Франц фон (1836 – 1904) – немецкий живописец-портретист.

5. «АРО» – издательство в Париже.

6. Брат С.С. Юшкевича – Михаил Соломонович. О жизни в Эмсе см.: Нилус П. Краткая повесть.

7. Окунев Николай Львович (1886 – 1949) – историк искусства, профессор. В Одессе работал с 1917 г., преподавал историю искусства в Новороссийском университете, входил в образованное в 1917 г. Одесское общество любителей старины. В 1919-м назначен заведующим отделом охраны памятников искусства. В 1921 г. – профессор университета в Скопле (Королевство СХС), затем в Праге. В связи с выставкой русского искусства, устроенной Окуневым в 1935 г. в Праге, А. Бенуа уважительно отзываясь о нём как о квалифицированном специалисте (Бенуа А. Художественные письма. М., 1997. С. 206).

« П Л А Х А »

ДАРА МЕЛЬНИК

ГИДРОЛОГИЯ РАССКАЗЫВАНИЯ

I. Художник и рассказчик

Мне бы хотелось приобщиться в этом эссе к рассказыванию. Его воплощённые функции мы пытаемся усматривать в литературном дискурсе, но формула «литература – это искусство рассказывать истории» уже давно взялась сетью трещин. Появились ли эти трещины, проявились ли – это уже совсем другой вопрос. Поверхность привычки, которая позволяла нам снова и снова повторять тезис об априорной литературности мастерства рассказывать истории, истончилась, и сквозь неё можно разглядеть несовпадение между литератором и рассказчиком. Несовпадения эти, однако, не предусматривают взаимного исключения.

Вальтер Беньямин, то ли с грустью, то ли со спокойным приятием, писал о том, что фигура рассказчика оставляет нас, и мы остаёмся наедине с романом – формой, которая впервые в истории литературы пришла из книг и для книг. «Всё реже случаются люди, способные рассказать что-то просто, без выкрутасов», – пишет Беньямин. Так ли это? Ведь рассказчики и до сих пор вплетаются в писательские ряды, и, частично, этими рядами являются.

Однако мы не можем сказать, что писатель – это всегда рассказчик, так же как рассказчик не слишком нуждается в том, чтобы быть писателем. И шире, рассказчик не всегда является художником (здесь мы обращаемся к высокому смыслу этого слова, который выплёскивает его наполнение далеко за пределы живописи и графики в другие искусства), тогда как писателю быть художником крайне необходимо. Можно представить, что рассказчик имеет дело с реками, то есть тем, что течёт и имеет направление, тогда как художник направлен на извечные озера.

Художник днём и ночью, независимо от наличия наблюдателей, парит над необозримым озером веками отстоявшихся в неосознанном смысле в поисках отблесков метафизического. «Метафизика – это умереть за невиданное», – говорил Левинас, и часто именно так и случается: найдя невиданное, художник уже не может жить дальше. Озеро настолько спокойно (пока не нырнёшь в него с головой), что можно спутать его с зеркалом и заболеть нарциссизмом или заплутать в отражениях, или даже спутать зеркало с озером и утонуть в нём... Для художника вообще характерная определённая неуравновешенность,

чтобы легче было взлетать при необходимости. Эта неуравновешенность позволяет проваливаться в дыры, которые ведут из реальности в нереальность и наоборот.

В конечном итоге, в надозёрных туманах можно высмотреть что угодно, тогда как душе нужно совсем поникнуть, чтобы в действительности обмануться речными миражами. Рассказчик должен крепко, хладнокровно держаться земли, потому что говорит о движущемся. Его черты чёткие и ясные, взвешенно однозначные. Он (об этом также вспоминал Беньямин) ориентирован на практические интересы, его задача – протянуть слушателей вслед за линией своего опыта, чтобы им стало легче в их собственных эпических путешествиях, которые хотя и осуществляются в одиночестве, однако никогда не вслепую; так или иначе, дать совет¹. Здесь нас и в самом деле пронизывает грусть, когда мы осознаём, насколько расшатался ритуал советничества. С другой стороны, способность этого дара (как и дара задавать вопросы) до сих пор встречается среди людей не так и редко. К тому же, этот талант из тех, которые можно призвать; он приходит к нам из глубин родового опыта едва не в преддверие путешествия за линию горизонта привычного бытия.

Сартр говорил, что художник всегда возвращается туда, где его свобода. А рассказчик? Рассказчик идёт туда, где свобода Другого. Родители рассказывают детям истории на ночь для того, чтобы пролагать последний путь к своей свободе. Рассказчик в этом смысле, как и вода хороших рек, должен быть абсолютно прозрачным, отдавать себя, ясного и распростёртого, как карту, Другому, чтобы обеспечить его свободным движением².

II. Потамология³ историй

Несомненно, в каждом литературном произведении рассказывается какая-то история. «История», о которой идёт речь, лежит, конечно, в иной плоскости, чем история как «наука, которая изучает прошлое человечества». В англоязычных текстах существует удобное разграничение: story и history. Story – это история-сказ. History – это история как следы укоренённости человека в мире, «прошлое». Следовательно, нужно определённое углубление не в этимологию, а в определение пределов понятия.



Обратимся к нарратологическим наработкам Мике Баль, нидерландской исследовательницы. Она говорит об истории так: история – это по-особенному представленная фабула⁴, а следовательно – определённый порядок представления событий, космос сказа. Что превращает фабулу в историю? Для Баль эти «аспекты» метаморфоз следующие: актуализация личного отношения рассказчика к событиям, превращение действующих лиц в персонажей, выстраивание между персонажами, событиями и местами отношений второго порядка, например, символических. Таким образом, история – это определённая антропоморфизация событий, прокладка русла чистого смысла среди поля неизбежной наружности (по отношению к вечно укоренённой в месте средоточия привычного для человека). Именно этот аспект антропоморфизации истории отмежевывает её от холодного, в целом, понятия «сюжет».

Возьмём, к примеру, сюжет о Золушке. Есть целый ряд редакций – от братьев Гримм и Шарля Перро к The Walt Disney Company. Всех их объединяет одна призма отношения рассказчика к истории: добрая и нежная Золушка, которая заслуживает руку и сердце принца, и кичливых, надменных старших сестёр, которые только милостью своей сестры-красавицы, в некоторых версиях сказки, находят свою вторую половину.

Однако есть и другие истории, связанные с мотивом Золушки, другие истории, взрощенные на том же сюжете. Мне особенно нравится short story английской писательницы Джоан Гарис (Joanne Harris), которая называется «Отвратительная сестра» (The Ugly Sister). Вот какова её история:

«О, да, она была красивой, в болезненном ключе. Худенькая крашеная блондинка; настолько же бледная и хрупкая, насколько мы были массивными. Она делала это умышленно; не ела ничего, кроме сырой еды; всегда наряжалась в чёрное; была одержимой физическими упражнениями. Вы никогда не видели такой чистой пол (скорее всего, подметание сжигает четыреста калорий за час, а полирование пятьсот). Она почти не разговаривала с нами, но восторженно прислушивалась к менестрелям, которые приходили со своими романтическими песнями, и никогда не пропускала платных представлений воскресными утрами на сельской площади».

Несмотря на схожесть сюжета (у нас есть две старших сестры и хорошая, или же «хорошая» Золушка; последняя выходит замуж на принца) это две абсолютно разных истории, потому что отношение к тем же событиям, их рецепция, отличается.

В Африке (да и не только) можно встретить природное явление «блуждающей реки» с нестабильным руслом. На картах такие реки помечают штрих-пунктиром. Истории Гарис и Перро – разные? Или они просто призраки друг друга?

Откуда текут истории? Стивен Кинг в книге «On Writing» писал: «Давайте выясним это раз и навсегда. Нет никакого Идеохранилища или Центра Историй». Работа рассказчика заключается вовсе не в том, чтобы найти историю. Нет, ему нужно узнать её, когда она появится. И не схо-

дить с точки, из которой удобно отслеживать её течение.

В человеческом опыте, который передаётся из уст в уста, есть зацепки потенциальных историй. В каждой вещи есть скрытые пружины историй, и только рассказчик, настоящий, тот, который приближается по своему душевному состоянию к статусу проповедника историй, может их разглядеть.

Истории берут своё начало из источников на взгорьях, движутся самой удобной дорогой (на пути, если нужно, точат камень стереотипов, разочарования или пустых надежд, образуют самые что ни на есть причудливейшие меандры, заводы – символический уровень сказа: тонкое кружево незамеченных даже самим рассказчиком историй плетётся кое-где само собой между слов текста) и выпадают в море или озеро, в ту общую метаисторию, над которой и парит художник.

Конечно, бывают истории, которые попадают в болота или пески, а бывают и такие, которые исчезают или появляются каждый раз в другом месте. Бывают равнинные истории, чьё течение широкое, а воды полны тихой, жухлой и таинной жизни.

Для быстрых вод характерна высокая моральность очищения – мы чувствуем себя лучшими после того, как вошли в прозрачную воду светлых горных историй, получаем настоящий катарсис, катарсис как победу возможного над действительным (= невозможным), катарсис, как глубокое превращение бессознательного в осознание причастности ко всеобщему, потому что, когда мы в конце истории выпадем в океан, то чувствуем, что наше прошлое теперь носит знак неповторимого пути, но наше будущее, будущее человека-как-истории, всегда принадлежит всеобщему.

Как говорил мой хороший знакомый А. Торхов, сознание того, кто слушает – это бумажный кораблик, который преодолевает ту же реку, в верховье которой стоит рассказчик, повествуя, преодолевает вместе с ним опасности. Слушатель отдаёт своё время, заменяя его на время истории, исчезает со своего места, переносится туда, куда ведёт его рассказчик. Река – амбивалентный символ, который сочетает в себе разрушение и питание окружающего. Потоку истории недалеко до Леты, которая может спровоцировать забвение. Бывает так, что за услышанными историями мы забываем свою. Не говоря уже о том, какую тесную связь вслушивание в историю имеет с побегом, а последняя – с той же рекой. Одним легко вытечь туда, где течение быстро, другим – где оно такое медленное, что почти стоит, и этим вызывает доверие.

Перейти реку вброд – это притронуться к тексту в произвольном месте, выхватить фрагмент и больше никогда не возвращаться. Если переходишь вброд одну реку, не идёшь ли всегда тогда к другой?

Мы предпочитаем бродить вдоль знакомых рек, если имеем возможность выбора. И каждый из нас, слушателей, каждый из тех, кто вслушивался хотя бы один раз по-настоящему, имеет свою одну-единственную реку-историю, около которой



хотел бы поселиться, из которой черпал бы силы для жизни. Умберто Эко в «Шести прогулках литературными лесами» выводит категорию «образцового читателя». Образцовый читатель — тот, кто может читать произведение постоянно, странствуя неутомимо между уровнями смыслов, вплоть до сердцевины. Образцовый слушатель — тот, кто может, поселившись около истории, укоренившись в неё, стать и сам её рассказчиком.

В конце концов, вся наша жизнь — это совокупность историй, которые мы рассказываем, которые рассказывают нам. Мы будто стоим под дождём (одной вертикальной рекой, способной растворять мир, перенося его в мир наш личный, неразделённый ни с кем) и слушаем этот всеобъемлющий шёпот историй.

¹ Совет, по Беньямину — это не столько ответ на вопрос, сколько суждение о продолжении той истории, которая ещё происходит. С другой стороны, любовью вопрос — это тоже предложение рассказчика рассказывать за него.

² «Его дар заключается в том, чтобы рассказывать о своей жизни, достоинстве, — в том, чтобы рассказать о нём всё» (В. Беньямин).

³ Потамология — наука о реках; её предмет сосредоточен в основном на вопросах речной динамики.

⁴ Далее Баль продолжает ряд дефиниций следующим образом: фабула является серией логически и хронологически увязанных событий, вызванных или пережитых актёрами. Событие является переходом от одного состояния к другому. Актёры являются агентами, которые действуют. Действовать означает...

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ ДАРЫ МЕЛЬНИК

Виктория Колтунова (г. Одесса, Украина):

«Итак, эссе о природе литературы. Написано легко и «литературно». Читать — одно удовольствие. Но разберём две частности: первая предполагает, что источник историй рассказчика исчерпаем. А именно, цитирую: «Откуда текут истории? Стивен Кинг в книге «On Writing» писал: «Давайте выясним это раз и навсегда. Нет никакого Идеохранилища или Центра Историй». И здесь: *«Работа рассказчика заключается вовсе не в том, чтобы найти историю. Нет, ему нужно узнать её, когда она появится. И не сходить с точки, из которой удобно отслеживать её течение»*.

Однако, теория литературы, с которой трудно не согласиться, предполагает, что мы имеем всего лишь тридцать шесть сюжетов, выйти за рамки которых не можем. Интересно, что эта цифра приобретает магический оттенок, если вспомнить, что Шекспир написал всего лишь тридцать шесть пьес. Всё остальное есть сочетание тех мотивов, что заложены в этих тридцати шести сюжетах. И действительно, о чём мы пишем? О себе, любимых, то есть, о людях. Даже если мы пишем о листиках деревьев и сидящих на них мурашках, то всё равно мы пишем опять-таки о себе любимых, о людях, вкладывая в менталитет

и поведение мурашек наши человеческие качества и прослеживая, как данные сюжетные коллизии влияют на их судьбу. Либо прослеживаем, как влияют на человека наблюдения над мурашками и т.д.

То есть, тридцать шесть сюжетов складываются из набора стереотипов поведения и отношений людей между собой и предполагается, что человек за рамки этого набора не выходит. Более того, в работах многих литературоведов, таких как Жорж Польти, а вслед за ним, в работах К. Гоцци, Ф. Шиллера и А. Луначарского приводится чёткий список из тридцати шести пунктов, куда они вкладывают все имеющиеся в мировой литературе сюжеты. Таким образом, эти наборы и есть то самое ИДЕХРАНИЛИЩЕ, которое Стивен Кинг, а вслед за ним Дара Мельник отрицают. Я высказываюсь в данном случае только, как «человек со стороны», не настаивая на мнении вышеприведённых почтенных исследователей, потому что у меня самой этот постулат вызывает сомнения. Эти сомнения проистекают оттого, что жизнь человечества на протяжении многих веков меняется и, возможно, появляются такие новации в жизни человека, которые могут изменить паутину отношений людей между собой.

Вторая частности: Д. Мельник отличает в своём эссе писателя от рассказчика. Однако существует ещё один вид рассказчика, о котором здесь не говорится, хотя он занимает отдельное место в литературе и является предтечей её героев. Я имею в виду рассказчика устного, гусяра, акына и т.д. — у каждого народа свой. Его творчество отличается от рассказчика письменного и писателя тем, что оно требует мастерства актёра и воспринимается слушателем совершенно отлично от письменного рассказа. У него другой темпоритм, в других местах ставятся смысловые ударения и т.д. Есть тексты, которые в устах автора звучат ярко и убедительно, а читаемые в книге производят впечатление. Например, тексты Жванецкого, которые непременно надо слушать, а не читать, и только в его исполнении. Хотя актёром его не назовешь, он именно чтец, и чтец только своих юморесок.

Большое значение имеет ещё то, что письменный текст позволяет читателю вполне распоряжаться своим временем, можно не торопиться и вернуться к прочитанному, зацепившему фрагменту ещё раз. Устный рассказ этого не позволяет, и то, что рассказывается устно, воспринимается раза в полтора длиннее, чем написанное, что следует учитывать автору, чьи истории рассчитаны на чтение со сцены. Однако, и это главное, в истории, рассказываемой устно, присутствует личность рассказчика, не важно — является ли он автором данного текста или его исполнителем. Личность устного рассказчика окрашивает текст новыми, неповторимыми красками и пронизывает рассказ насквозь. А потому зачастую довлеет над качеством восприятия текста. На мой взгляд, лучше простое исполнение текста автором, чем его же исполнение профессиональным чтецом, в чьих устах рассказ теряет лёгкость и пронзительность произведения, сотворяемого автором-ис-



полнителем всякий раз заново, в присутствии благодарного слушателя».

Снежана Малышева (г. Киев, Украина):

«Это эссе может служить примером не самой плохой современной литературы, написано весьма художественно, если использовать терминологию самого автора, есть несколько сюжетных линий **т** (по аналогии самого же автора) линий рассказа аля блуждающие африканские реки, есть хорошие цитаты, есть даже попытка осмысления метафизических прорывов в современной литературе, но в силу отсутствия метафизического опыта автору кажется, что это озёра, тогда как мир не зависимо от того физический ли он или метафизический – это прежде всего движения, значит уход от рассказа, сюжета начинается там, где попросту автор не способен видеть, но пытается...»

“Работа рассказчика заключается вовсе не в том, чтобы найти историю. Нет, ему нужно узнать её, когда она появится. И не сходить с точки, из которой удобно отслеживать её течение”.

Это осмысление рассказчика характерно для старой литературной школы. Множественность точек зрения, заключённых в одном произведении, характерна для современной литературы. Герменевтика позволяет с научной точки зрения отследить этот процесс.

“... между уровнями смыслов, вплоть до сердцевины” – говорит Умберто Эко, характеризуя образцового читателя, я бы добавила: и до сердцевины (во множественном числе), ибо у каждой плоскости свой центр, более того, я считаю, что хорошее современное произведение литературного искусства должно нести не только несколько слоёв смыслов, сюжетов, точек зрения, но и давать почву читателю для рождения новых слов, точек зрения, не обозначенных в книге».

Александр Раткевич (г. Полоцк, Беларусь):

«Честно говоря, вся жизнь человека проходит в рассказывании: с начала овладения речью и до смерти. И более того, человек не теряет эту способность во сне. Недаром некоторые писатели признаются, что рассказ им приснился во сне. Здесь уместно привести слова великого польского поэта Станислава Ежи Леця: “Как воздух, которым мы дышим, рассказывание историй является составной частью нашего существования, мы принимаем это как само собой разумеющееся, но не умеем распознать силу, которое имеет это искусство над нами и над окружающими. В самом деле, хорошо рассказанная история может быть забавной, обезоруживающей, поучительной, дающей мотивацию; она может помочь вам достичь цели, приобрести друга, заключить сделку”. Не умеют распознавать силу искусства рассказывания не писатели. Им это не нужно – они рассказали и забыли. А вот писателю, тому, для кого писательство есть профессия, искусство рассказывания непременно составная часть жизни и работы. И он должен владеть этим мастерством по меньшей мере хорошо. Помните о Пушкине, великолепном к

тому же рассказчике: “С лица урод, а как откроет рот, то льётся мёд”. Впрочем, не будем забывать и другую истину, что рассказывать умеют многие, оформить рассказывание в рассказ (повесть и т.д.) дано единицам, осенённым даром божьим».

Сергей Игнатов (г. Киев, Украина):

«Я с жадностью набросился на рассказ Дары о *пидрології нарративного*, о потамологии литературного дискурса, о дефинициях и рецепциях фабул в идеохранилищах Беньямина, Мике Баль, Левинаса, Умберто Эко, Сартра и Кинга на примере short story by Joanne Harris (сплошные иностранные, а? нет пророка в своём отечестве), думая уяснить себе нечто новое об искусстве, художничестве и рассказывании. Ведь каким бы признанным и награждённым ни был художественный рассказчик и рассказывающий художник (а я был, и не раз, и гламурные рецензии ещё свежи в моей этой, как её... перцептивной импрессии), он всегда мучительно чувствует свой потолок и ищет пути его преодоления, пробования, дефлорации, пенетрации (говоря тем же ученым языком) и выхода в открытый космос.

Но тут сразу наткнулся на фразу про *“поверхность привычки, которая позволяла нам снова и снова повторять тезис об априорной литературности мастерства рассказывать истории”*. Перечитал трижды, ничего не понял, потух и скукожился. Утратил веру в собственную рецепцию и апрекенцию.

А тут ещё вдруг *“актуализация личного отношения рассказчика”*. Может, я тут один такой недалёкий, но я не в силах понять, как, зачем и куда актуализируется отношение, и лишь беспомощно вопрошаю “кто на ком стоял?”. Или вот ещё *“обращаемся к... смыслу этого слова, который выплёскивает его наполнение далеко за...”* Выплёскивает наполнение? Смысл выплёскивает наполнение?.. Приходится поневоле согласиться с иностранцем – *“всё реже случаются люди, способные рассказать что-то просто, без выкрутасов”*.

В мобильном жаргоне на подобную потамологию обычно отвечают **ur2yz4m** – you are too wise for me. Родная мне русская классика даёт более развёрнутое определение: *“они хотят свою образованность показать и всегда говорят об непонятном”*.

Я на жизнь зарабатываю как английский переводчик, и потому такие места мне обычно напоминают плохой перевод. По той же причине у меня давняя аллергия на безбожно перевираемую иностранщину, вставляемую там и сям для красоты. Она только темнит и пятнает наш язык, мешая нам понимать друг друга. Вот и этот текст местами подпорчен ею и иным словесным буреломом, а местами пестрит метафорами, аллегориями (нередко яркими и удачными, хотя и заимствованными, видимо), броскими эффектами и абстракциями, а то вдруг нагоняет скуку школьными пояснениями (о разнице между history и story), а то вновь ослепляет блёстками поэзии, красот и афоризмов. Есть в нём *самые что ни на есть причудливейшие меандры и заводи, есть река*



как амбивалентный символ, есть источники на взгорьях, есть вся наша жизнь — это совокупность историй, есть метафизика — это умереть за невиданное, есть всеобъемлющий шёпот историй, есть текучие реки как сфера действия рассказчика и извечные озера как цель художника (невольно представляю их в виде рыб или неких земноводных бородавочников).

Красиво, приятно! Как будто благовония текут по бороде — это уже моя цитата из одного иностранца. И всё это, повторяюсь, местами певуче и поэтично, местами загадочно и интригующе, местами невнятно и абстрактно — ну а в целом отдаёт избытком внешней красоты, если рассматривать и судить это произведение как поэтический текст, собранный по принципу горсти самоцветов. (Попутно замечу, что нигде в мире не “ложат” столько макияжа на лицо, столько сахара в варенье и столько приторности в фирменную малороссийскую сентиментальность, как на Украине — что-то мне подсказывает, что автор отсюда родом).

Но проблема в том, что каждый эффектный самоцвет в её тексте светит сам по себе, и вся эта пестрота и красивость не годится для реального применения в литературном труде. Много красивых слов, науженных там и сям, но не объединённых ни общей идеей, ни какими-то логическими связками. Иностранцы опять же эти навязчивые — и среди них почему-то Торхов один как перст, как обязательный Ленин советских диссертаций. А мне было бы интересней узнать, что полезного сказали по этой теме прямо или косвенно мои родные русские классики. Пусть для нового украинского “нащпот” поколения они давно “чужбынці”, но лично мне пара слов из писем Чехова или один абзац гениального Бажова даёт куда больше в понимании искусства рассказа, чем многие талмуды околелитературных трудов.

И потому для художественного и писательского творчества, для его практических ориентиров этот текст, на мой взгляд, бессодержателен и бесполезен, увы. Сооружение красивое, но пустое внутри (как нынешняя искусственная ёлка на киевском майдане), со многими смысловыми прорехами и пёстрыми заплатками снаружи. И потому в целом впечатление от него... противоречивое — по усам текло, а в рот не попало».

Нина Большакова (г. Нью-Йорк, США):

«Внимательно прочитала статью Дары Мельник “Гидрология рассказывания”. Дело в том, что я рассказчик. Пишу рассказы, короткие и подлиннее, многие опубликованы в разных изданиях, бумажных в том числе. “Рассказать просто, без выкрутасов” — задача вполне художественная, и рассказчик, безусловно — и художник, и писатель. Что романов не пишем? ну, можем ещё и написать! а только зачем? Плохих романов (и романов) сколько угодно, а хороших рассказчиков раз, два и обчёлся.

Дара видит процесс рассказывания как бесконечный дождь, “всеобъемлющий шёпот историй”, бьющий о землю, не дающий рассказчику

взлететь в метафизические высоты. Для нее “улёт” в метафизику является необходимым признаком художественности и возможен только в объёме романа; а рассказ же вещь настолько приземлённая, какая же там метафизика? Так ли это?

Не берусь судить, как пишут другие, скажу о себе: я должна историю увидеть, детально, в красках, затем появляется звук, запах; я начинаю писать, не имея законченного представления о сюжете, картины идут наплывами, история складывается по мере написания, и останавливается как бы на полуслове. Для меня совершенно ясно, что всё, история закончена, а читатели требуют продолжения. Они как бы встают из-за моего литературного стола полутолодными; мне это нравится.

Дара говорит: “Истории берут своё начало из источников на взгорьях, движутся самой удобной дорогой”, то есть для неё истории идут от земли, от опыта и движутся по земле. Этские глиняные воины. А на самом деле истории плавают в воздухе, переливаются, как мыльные пузыри, приходят к нам во сне...

Если “писатель — не всегда рассказчик”, то писатель ли это?»

Валерия Богуславская (г. Киев, Украина):

«Увы, мне нечего сказать по поводу спора остроугольников с тупоугольниками. То есть я не вижу предмета дискуссии. Могу лишь повторить за классиком: все жанры хороши, кроме скучного».

Марина Матвеева (г. Симферополь, Украина):

«Начну с цитаты: “Слушатель отдаёт своё время, заменяя его на время истории, исчезает со своего места, переносится туда, куда ведёт его рассказчик. Река — амбивалентный символ, который сочетает в себе разрушение и питание окружающего. Потоку истории недалеко до Леты, которая может спровоцировать забвение. Бывает так, что за услышанными историями мы забываем свою. Не говоря уже о том, какую тесную связь вслушивание в историю имеет с побегом, а последняя — с той же рекой”.

Именно такими историями, помогающими нам убить время, забыть и забыться, является такая гонимая всея интеллигенцией массовая литература — “иронические детективы” и тому подобное. Эти вещи для того и пишутся, авторы не претендуют на большее, они не мнят себя художниками. И свою функцию такая литература выполняет на 5+ — те люди, для которых она пишется, читая её, отдыхают — именно благодаря забвению себя и своей жизни в процессе следования за рассказчиком и его историей — нередко крайне интересной и захватывающе-неотпускающей. Вопрос: почему же так называемая интеллигенция так “гонит” на подобную литературу? Застать кого-то из “нас” с детективом или любовным романом — всё равно что уличить в постыдном извращении. Или мы настолько все “творцы”, что потреблять (читать) “готовое” (а эти истории вполне себе готовы, они не требуют “сотворчества”, “переосмысления”, “интерпрети-



рования” и тому подобного филологического мата) и простое (ага – это детективные-то истории простые!) нам типа стыдно. Типа если твой мозг не напрягается постоянно, то ты уже не интеллигент. А отдыхать когда? А когда и как, и чем спастись от реальности? Или такое спасение нам тоже стыдно? Думаю, что оно нужно. Хотя бы иногда. Для того и существуют такие истории: лёгкое чтиво, анекдоты, да хоть поэзия – подходящая тоже бывает. А кому всё это “стыдно”, тот идёт к друзьям и под пиво говорит о бабах, или под чаёк – о мужиках. Всё отвлечение, всё истории, всё спасение. А Спасение – оно как раз в простоте. И преподнесли в своё время нам его готовым – не нужны были никакие переосмысления и интерпретации, более того, они были даже вредны – и этот вред заметно исказил нашу жизнь и историю цивилизации.

Да и в так называемых “умных” книгах один видит в персонаже “символ недопересурдадаистического модернизма и трансцендентно-мультихреннического пост-твоюматизма”, а другой – просто героя с интересной судьбой. И второй подход мне лично ближе и интереснее. А тем юным и не очень филологиням и психологиням, которые пытаются моих любимых героев разбирать по Фрейдю или Апофигейду, советую необременительную прогулку с пикантным уклоном. Тоже история!)).

Андрей Пустогаров (г. Москва, Россия):

«Чем “история” отличается от “не-истории”? Наличием смысла. Чем отличается произведение искусства? Наличием нового смысла: новым решением художественной задачи или решением новой художественной задачи. Большинство произведений современной литературы (не только на русском языке) – бессмысленны. И лишены потребительской ценности – читать их можно, только если вас успокаивает или отвлекает от тягот поездки в общественном транспорте сам процесс чтения. Ну, или либо вы ничего не слышали про историю Ромео и Джульетты и впервые читаете её тысячный стандартный пересказ – тогда для вас он имеет смысл. Вообще говоря, ничего кроме истории человек и поведать не может – так устроено его сознание: “причина – следствие”, “время – пространство”, ну и т.д. Выход человека в “метафизику” – это прекращение “истории”, но и речи вообще, поскольку, как правильно отмечал В.И. Ленин, фраза “Иван есть человек” – это уже “история”. Поэтому называть метафизикой невнятное бормотание или описание узоров на обоях не стоит. “Метафизика” – это интуитивные реакции, по определению – невербальные. Рассказ же о том, как человек подходит вплотную к “метафизике” – это, естественно, “история”.

Замечу ещё, что цель любой коммуникации – оказать влияние на её адресата. Поскольку ничего, кроме “истории”, адресат воспринять не может, то первая задача рассказчика сделать так, чтобы адресат дослушал его до конца. Художественные приёмы, опять же по определению, – это средство. Новый художественный приём при-

влекает большее внимание читателя, но если в него не “упакован” новый смысл, то внимание быстро рассеется. Кстати, “дыр бул щир убещур” – это история о том, как человек убрал из “слов” смысл, оставив одно звучание, и что из этого получилось. “Рассказом” второй раз этой “истории” внимание читателя уже не привлечь.

В литературе на украинском языке концепция “рассказывания”, “бая” изложена в романе Тараса Прохасько “Непрості”.

НепрОсты – “это боги земли... самый главный – байщик, баян. Сильнее всего действует заговор, разговор, бай. Бай – это не слово, бай – это ряд слов, бай – это история. Для всего случившегося есть свой бай. Бай – это сюжет, бай – повествование – повествование истории, сюжет. Случившееся тоже сюжет. А чтобы найти на него бай, нужно о случившемся рассказать. Бай формирует, направляет случившееся. Связь эта идёт в прошлое от случившегося к случившемуся, направляет причины. Значит, повествование – это и есть всё действие, а всё действие – повествование. Среди непростых главный – баян. Его врождённые знания-черты – как рассказывать (произношение, тембр, интонация, ритм и темп) – называют на себя знания добытые – что рассказывать... Лучший способ обладать чем-то – рассказать о нём. Кто повествует – обладает всем. Непросты владеют миром. Приходят, когда кто-то рождается и придумывают ему жизнь, рассказывают сюжет. Жизнь становится следствием рассказа и причиной нового повествования. Без повествования нет жизни, ведь жизнь – это повествование. Сюжеты не кончаются, говорил Франциск, сюжеты скрываются и возникают снова. Истории, как зараза, вызывают горячку, разносятся, передаются, скрываются, выходят наружу, вызывают горячку. Собирают сюжеты, комбинируют сюжеты, отдавать сюжеты – таков метод непростых. Бай – незримое лекарство, то, что можно взять на тот свет, что нужно и на том свете, ведь там лишь голоса, вечность и восхищение. Всю свою вечность своим голосом свой бай о своём восхищении”. (Перевод А. Пустогарова)

Евгения Красноярова (г. Одесса, Украина):

«Рассказчик имеет дело с реками, то есть тем, что течёт и имеет направление, тогда как художник направлен на извечные озёра», – пишет Дара Мельник. И тут хотелось бы – с метафорой – поспорить. Если рассказчик имеет дело с тем, что течёт, то художник – с тем, что изменяется. Рассказывают все всем всё, повторяясь – руслом, паводком, половодьем. Рассказывание как повторение – толчение в ступе воды – более похоже на озеро. Художник умеет иметь дело с тем, что течёт – он отлично держится на воде, но при этом он осознаёт, что *нельзя дважды войти в одну и ту же воду*. Он ищет в себе сил и в материале формы именно для того, чтобы подчеркнуть это нельзя. Рассказчик же – за *дважды*. Обе ипостаси вполне могут соединиться в одном сознании – всё вода. Только в разных геологических условиях она принимает разные формы».

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Обложка – Полина Тараненко.

На 3 стр. обложки:

фото №1 – П.А. Нилус в своём кабинете (Париж, 1926 г.),
фото №2 – П.А. Нилус (в центре),
фото №3 – Бокалы П.А. Нилуса (Одесса, 2011 г.),
фото №4 – Члены Южно-русского товарищества художников на маёвке
(Одесса, 16-я ст. Большого Фонтана, 1911 г.),
слева направо: П. Нилус, К. Костанди, А. Рубец и др.

Підписано до друку 24.02.2012 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,2.
Зам. 2772. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17